
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

*Нижегородский альманах
Выпуск двадцать первый*

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2016

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43
353

Редактор-издатель *О. А. Рябов*
Составители *А. И. Иудин, О. А. Рябов*
Редактор *А. И. Иудин*

Общественная редколлегия:
Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин,
В. И. Седов, А. М. Цирульников, Г. В. Щеглов, Е. Р. Эрастов

Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова,
24/2, издательство «Книги». Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Авторы благодарят за помощь в издании альманаха
ГК «Нижегородский масло-жировой комбинат»

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск двадцать первый. Сост. А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород: издательство «Книги», 2016. – 464 с.

В альманахе представлено творчество нижегородских писателей – как признанных мастеров пера, так и тех, кто только начинает выходить к широкой читательской аудитории. Их произведения достойно соседствуют с публикациями других талантливых литераторов России и зарубежья. Тематический и жанровый диапазон авторов сборника весьма широк – от грозных событий прошлого до проблем современного общества, от жесткого реализма и исторической прозы до фантастики и сказки.

Отдельные публикации посвящены Году кино (к 120-летию появления кинематографа на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем 1896 года), актеру Евгению Евстигнееву, творчеству знаменитого нашего поэта-земляка Федора Сухова, воспоминаниям о недавно ушедшем поэте Валентине Устинове.

Читателю предлагаются публицистические размышления на исторические темы, материалы по краеведению. В особой рубрике «Детские странички», предназначенной для совместного семейного чтения, объемно представлены произведения для детей младшего и среднего возраста.

СОДЕРЖАНИЕ

Лирический портрет

Александр ФИГАРЕВ	
ГОРОД-КЛЮЧ	6

Нижегородский почерк

Юрий НЕМЦОВ	
ШЕРПЫ	15
Елена КРЮКОВА	
КОЛЫБЕЛЬНАЯ	28
ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ	39
Марина МАРЕНИНА	
РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ	55
Олег МАКОША	
МЫ С ПРОСПЕРО	65
ПОБЕГ.	68
ПУПОВИНА.	71
С ДОБРЫМ УТРОМ	74
ОДИНОЧЕСТВО НА СКАМЕЙКЕ ДЛЯ ЖИМА ЛЕЖА	76
ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК	79
Владимир СЕДОВ	
СТЕПАН.	82
Наталья РЕЗАНОВА	
УТКА ПУАССОНА.	87
Андрей ПРИПИСНОВ	
ПОСЫЛКА ИЗ ДЕТСТВА	108
Юлия АЛАФИЭЛЬ	
СЧЕТА НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ	111

Лирический портрет

Геннадий ЁМКИН	
МЕНЯ КАЗНИТЬ ПРИДУТ СЛОВА.... .	121

Из свежей прозы

Евгений ОБУХОВ	
ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.	127
УГРЮМ-РЕКА	131
КОНЕЦ ФАНТАСТИКИ.	135
Галина ЩЕКИНА	
ЧАЙ С КОНЬЯКОМ	138
УЛИЦА ГОБЕЛЕНОВ.	164

Любовь СИДОРОВА	
ОШИБКА ОХОТНИКА	175
Владимир НИКИТИН	
ЭТЮД	179
Георгий ГЕРЦОВСКИЙ	
СОБАЧЬЯ ФИЛОСОФИЯ	194
Денис ШУЛЕПОВ	
ХОДИТЬ ПО ВОДЕ	202

Лирический портрет

Владимир ВИНИЧЕНКО	
ВСЕ СТИХИ НАЧИНАЮТСЯ С МУЗЫКИ...	206

Из будущих книг

Владимир ТИТОВ	
МОРОЗНЫЙ ЗВОН	213
Игорь ЛЕВИН	
РАЗОМКНУТАЯ ЧЕРТА. Отрывок из романа	252

Лирический портрет

Эльвира КУКЛИНА	
МЕЖ НАЧАЛОМ И КОНЦОМ – ПРОЧЕРК...	272

Русский вопрос

Дмитрий ФАМИНСКИЙ	
РОССИЯ: ПРАВО НА СВОЙ ПУТЬ	279

Лирический портрет

Эдуард КОРКОТЯН	
ПРОРЕЗАЛАСЬ ДУША, А С НЕЮ ДУХОТА...	298

Вехи памяти

Вячеслав ФЕДОРОВ	
«КТО КУДА? А МЫ К ОМОНУ!..»	306
Николай ПАВЛОВ	
<i>Из цикла «ПЕРЕЛИЦОВКА НИЖНЕГО»</i>	
УЛИЦА ПИСКУНОВА (МАЛАЯ ПЕЧЕРСКАЯ, ОСЫПНАЯ). . .	318
Ярослав КАУРОВ	
«Я РЕДКОСТНО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК...»	328

Земляки-21

Имена

Федор СУХОВ	
МНЕ ИНАЯ ОТКРЫЛАСЬ ДОРОГА...	336

Далькое – близкое

Николай МОРОХИН	
ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ.	342
Галина МИНЕВИЧ	
РОДИВШИЙСЯ В РУБАШКЕ.	346
Марк ФУРМАН	
ЗАПИСКИ КОНВОИРА.	350
Петр РОДИН	
ГАРМОНИСТ.	364
Эдуард КУЗНЕЦОВ	
ПРОСТО ГЕНИЙ.	373
Сергей УТКИН	
ПРОЗАИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ.	385

Стихи по кругу

Сергей СКУРАТОВСКИЙ	389
Александр ПОПОВ	392
Мария ЮРЧЕНКО	395
Ярослав КАУРОВ	397
Владимир УГРЮМОВ	401
Сергей Уткин	402
Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА	404
Владимир ЛЕБЕДЕВ	405

Детские странички

Галина ЗЕЛЕНКИНА	
ДОБРАЯ КУКЛА МАША.	410
ОТШЕЛЬНИК, ОПОЗДАВШИЙ НА СМЕРТЬ.	415
ДВЕСТИ ТАКТОВ ТИШИНЫ.	421
ЯНЕК И БАСЯ.	426
СОЛНЫШКО В ЛАДОШКЕ.	433
КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ.	440
ЗАЯЦ И ЗМЕЯ.	443
Александра ВЛАСОВА	
ТАЙНА ХВОСТИКА.	446
Олег КОРНИЕНКО	
ШАГИ ЗА ДВЕРЬЮ.	457
Юрий ПОЛЯКОВ, Стихи.	460

Лирический портрет

Александр ФИГАРЕВ

ГОРОД-КЛЮЧ

Между Керженцем и Узолой

Здесь деревни мои и сёла –
Я былины и песни сын.
Между Керженцем и Узолой
Раскудрявый брожу один.

Здесь поют о любви частушки
Соловьи для всех соловьих.
И рассказывают старушки
О годах молодых своих,

И печалются в тихой песне.
Подпою им, хотя опять
В каждом месте есть по невесте,
И на гульбинах мне гулять.

Многоцветием слова встретят
Гостя, если заходишь в дом.
Аввакумовы письма светят
У божниц бунтарским огнём.

Любоваться бы словом чистым
Здесьних мест, где покой царит.
Я здесь свой, и колодец чистый
Речи керженской мне открыт.

На красивое я не зарюсь
В слове, росписи и лице.
Жаль, конечно, что я состарюсь
И умру где-то там... в конце.

... Кони звякают стремями,
Космос спутники бороздят.
Я как мост между временами,
Всё хочу назвать именами,
Сохранить, что ушло назад.

* * *

Рассвет над окоёмом брезжится.
Средь звёзд таинственных вдали,
Как челноки, скользят по Керженцу
Космические корабли.

Они зеркально отражаются
В глубоких тёмных омутах.
Уже кукушка сокрушается
О грешном прошлом и мечтах.

Да ива – старица прибрежная –
О чём-то плачет и поёт.
Здесь Русь нетронутая, прежняя
Единой верою живёт.

* * *

Ока уже молчит, а Волга все не спит.
Качаются огни у пристани зеленой.
Сиятельная ночь над городом стоит,
И лунный ковш звенит водой незамутненной.

Как хорошо читать над Стрелкою стихи,
Струятся строки их, почти впадая в русло.
Где борский окоём, средь Волги и Оки,
Я видел лебедей, средь звезд летящих грузно.

Ветрами древних лет пахнуло на меня,
Как будто крылья их – собрания сказаний,
Над башнями кремля, что, как ларцы, хранят
Сокровища души своих воспоминаний.

Богатыри

Где кремля алеют стены –
Среди утренней зари
На Откосе косят сено
Косари-богатыри.

Как ступают осторожно,
А движенья – танца страсть!
Нипочём, что сверху можно
На Зеленский съезд упасть.

Здесь скорее альпинистом
Надо быть – вот в чём вопрос,
Чтоб сноровисто и чисто
Целый выкосить Откос.

И не справиться машиной,
Лишь косою пиши-твори.
Как из древности былинной
Ходят цепью косари.

В полдень от такой работы
Рать у стен кремлёвских спит.
Вон кольчугу сбросил кто-то,
В синем небе щит блестит.

Почайна

Река царевной в подземелье тёмном
Заключена, где плачет и поёт.
Как скатный жемчуг на уборе скромном,
Во мгле сверкают слёзы у неё.

Как ей хотелось вырваться на волю,
Но, в трубы заточённую сперва,
Смиряли страхом, пытками и болью,
Чтобы она училась грязь смывать.

Уже рабыней в праздники и будни
Работает, не видя белый день.
Остановись – и станут хуже люди,
Погрязнув в нечистотах и вражде.

Опять Почайне вспомнится о чём-то,
Когда она забудется на миг,
Как в юности весёлою речонкой
Она бежала к Волге напрямик.

Владимир Даль
на Нижегородской ярмарке

Лошадь украли у мужика,
Он обыскал всю округу и город.
А полицейские за бока
Взяли скоро его, как вора.

Но самого себя обокрасть
Не удалось никому на свете.
Конь не иголка, а смог пропасть,
Будто унёс его буйный ветер.

Горе на ярмарке Даль увидел,
Дело уладил, помог с деньгами.
И уже мужик зашагал
В город Семёнов своими ногами.

Шёл – удивлялся, хоть был сердит:
«Вроде бы бар таких не бывает.
Как по-мужицки он говорит,
И, как отец, меня понимает».

Даль помахал семёновцу вслед.
Был он задумчив и так печален:
Мало кто знал, что у Даля дед –
Старообрядец, русский датчанин.

Нижегородский кремль

Там, где кремль величав и могуч
Встал, как в пламени перед веками,
Начинается наш город-ключ,
Щит Отчизны родной, город-камень!

У речных самых главных дорог
Кремль стоит, над водою возвысясь,
Словно ключ, открывая Восток,
Охраняя Отчизну, как витязь.

Выше стен башни древние в ряд,
Словно воины с мужеством предков,
Молчаливо, по-русски стоят:
Неприступно, приземисто, крепко.

Каждой башне название есть,
Есть своя биография даже,
Охраняя свободу и честь,
Безотлучно столетья на страже.

Городецкая резьба

Здесь дерево – как золото,
Работа – словно песенка.
Резец, стамеска, долото
Горят в руках кудесника.

Эх, молоток и ножичек,
Играя, чуть касаются.
Стучит в окошко дождичек,
Зовёт и забавляется.

Узоры деревянные
Сияют на наличнике,
Цветы восходят странные,
Все звери необычные.

Львы добрые, лукавые
Смеются над русалками.
Какие окна славные,
Как бабы с полушалками.

У каждого окошечка –
Характер и повадочка.
Подправит мастер крошечку,
И явью станет сказочка.

Здесь днём и даже полночью
Пылает солнце с радугой.
В такой избе жить солнечно,
Всегда счастливо, радостно.

Яблоневый посох

Памяти Ф.Г. Сухова

Жил поэт, чтобы его стихами
Говорила тишина полей;
И ветра под окнами вздыхали,
И весенний плакал соловей.

И дожди, как путники, нередко
Шли к нему со всех концов Руси.
Не свирель свою, а посох – ветку
Яблони – поэт с собой носил.

Осенью, зимой, весной и летом,
Сочиняя, прикрывал глаза.
Посох распускался белым цветом,
Сухов о любви стихи писал.

И в его глазах была отвага,
А когда сильней сгушалась мгла –
Ветка становилась меткой шпагой
Против всякой нечисти и зла.

А теперь над суховской могилой
Расцветает яблоневый сад.
По-над Волгой, родиною милой,
Соловьи то плачут, то свистят.

Осень Дмитрия Арсенина

Искусство – от беды спасенье,
Художника творящий взгляд.
Но почему любил Арсенин
Писать осенний листопад?

Не весён радостные краски,
А всю печаль родной страны,
И даже пушкинские сказки
Полны глубокой тишины.

Похожи оба: он и Пушкин –
Одна широкая душа.
...Пером Поэта на опушке
В картину лист упал, шурша.

* * *

*Екатерине Ивановне Адриановой –
матери поэта Юрия Адрианова*

Над письмом ещё всплакнув немножко,
Женщина бойцу поклоны шлёт:
«Обвела Юрашину ладошку,
Вдруг она от смерти сбережёт».

...Утром получила похоронку,
И надежды оборвалась нить.
Не успела та ладонь ребёнка
Воина от пули заслонить.

Последняя песня

В рубахе белой под иконами
Мой дед лежал и ждал конца.
Пришли прощаться все знакомые,
Толпясь печально у крыльца.

Когда старухи сердобольные
Творили горестный обряд,
Торжественные, недовольные
Отец и дядя стали в ряд.

А дед в минуту эту грустную
Вдруг поднял голову слегка:
«Хочу услышать песню русскую,
Где степь да степь, – про ямщика.

Возьмите по такому случаю
Гармонь, мне больше не играть,
И пойте все, а я послушаю,
Мне легче будет умирать!»

И вот застольная, домашняя
Над дедом песня поднялась,
Как колыбельная протяжная –
Она качалась и лилась.

А дед лежал с улыбкой. Кажется,
Ещё родней передо мной.
Не каждый с песнею отважится
Уйти в последний путь земной!

Березовые зори

Небеса набухают грозами,
Что несутся издалека.
Над Узолою, над берёзами
Распускаются облака.

Ветерки пронесутся беглые,
В звонкой роще найдут приют,
Там берёзы – свирели белые –
Тихой музыки молча ждут.

За работами и заботами
Мы забыли про белый свет,
А берёзы, как свитки с нотами,
Ожидают от нас ответ.

Счастье нового возвращения,
Всё пустое отходит в тень.
От свеченья берёз священного
Возгорается новый день.

Поезд

Рельсов лестница. В сумрак всё выше
Из глубинки заволжской, вперёд
Трассер поезда гулко и слышно
Бьёт, поёт и уже не ползёт.

Все колёса стучат с укоризной,
Светит поезд, сгущается мгла:
«Моск-ви-чи, вы-ру-чай-те От-чиз-ну,
Вас Рос-сия всег-да бе-рег-ла!»

И с морзянкою той невесёлой
Среди мёртвой летит тишины
Сквозь заснувшие веси и села,
Сквозь заросшие нивы страны.

Нижегородский почерк

Юрий НЕМЦОВ

ШЕРПЫ

Посвящается шерпе Акиму

Шерпы дошли до края лысого отрога, сняли поклажу и разулись, то есть просто скинули вьетнамки, и стали один за другим исчезать за краем обрыва. Соннам взялся за лямки моего рюкзака. В рюкзаке – камера. В этот раз Марк раскошелился на портативную «соньку», она влезает в рюкзак вместе с сумкой. Меня с камерой надо спустить в первую очередь – оператор должен всех обгонять, пропускать, потом снова обгонять, иначе в кадре будут одни уходящие спины. В первый же день похода, поглядев на мою беготню, Тенцинг приставил ко мне оруженосца. Вдвоем мы уходили далеко вперед, не спеша выбирали точку, выставляли кадр и ждали, когда появится Молостов: он всегда впереди всех.

Соннам – значит «счастливый». Я учу его петь русские песни. У него хороший слух, он быстро схватывает мелодию: вот– ктойта – зго – рацки – спустий-ца! – разносится над долиной Мягди-Кола.

Соннам не шерпа, он – раи. Тибетцы, лимбу, гурунги, раи, таманги – все эти невысокие, поджарые, скуластые дети гор, не меняясь в лице, не задыхаясь, не потев, не переставая улыбаться, с раннего детства носят тяжести

по крутым гималайским тропам. Но только у шерпов имя народа стало названием профессии.

Я уже третий раз в Гималаях. В Катманду слетать проще, чем в Париж. Праздник начинается сразу, в аэропорту. Смуглые руки вешают тебе на шею венок из живых цветов, мягко пакуют тебя в микроавтобус, переносят вместе с вещами в гостиницу, и вот уже льется из термоса в чашки непальский чай с молоком, десять лет слетают вместе с тяжестью рюкзака, ты гуляешь по узким улочкам Тамели в пестрой толпе таких же счастливых иностранцев... Через пару дней снова рюкзак, старая «тойота» катит выше и выше, по краю обрыва над рекой, по дороге через ущелья до конца асфальта: дальше висячий мост и то, о чем ты мечтал с прошлогодней весны – тропа Гималаев.

Солнце стоит высоко, все портеры уже на месте, и Соннам, и Кок – высокий худощавый человек в очках, с которым Марк, оказывается, в прошлом году ходил в Сикким.

– Кок у нас хороший, – говорит Марк, – готовит отлично, по-английски говорит свободно. Но меня интересует, где наш гид по имени Тенцинг.

– Не Норгей, случайно? – спрашивает Молостов не без ехидства.

Молостов раздражен: он устал ждать. Его нога в огромном ботинке трогает перевязанные толстой лямкой драйбэги:

– Спорим на ящик пива, что донесу ваши мешки до первого привала?

Марк успокаивает:

– Не заводись, здесь сорок килограммов.

Соннам подходит с вопросительной улыбкой. Молостов подставляет могучую спину:

– Запрягай!

Шерпы носят груз на длинном ремне с утолщением, в которое упираются лбом. Молостов уперся. Его большое тело напряглось, на шее вздулись вены, глаза страшно выкатились. Ладонями за спиной поддерживая мешки, он делает шаг, другой, третий...

А задержался Тенцинг потому, что решил заехать домой, в деревню, взять с собой младшую дочь. Старшая осталась в Покхаре, ухаживать за матерью, а младшая, Пасанг, скучала без дела. Всю скотину они продали, огород посадить не успели, школу в их деревне закрыли на карантин. Пусть дочка немного заработает, решил Тенцинг.

– Ну, наконец-то! – обрадовался Марк, увидев немолодого человека с лицом учителя. – Опаздываете, однако. Наш друг уже без вас пошел на Белую Гору.

Он показал на Молостова, который никуда не пошел – скинув мешки, разминал себе шею и тер посиневший лоб.

– Прошу прощения, – сказал гид. – Это Пасанг, моя дочь.

Тенцинг, как и мы, был в шортах и майке, в горных ботинках и черных очках, но девочка на радость оператору оделась, как по заказу: теплая клетчатая юбка, кашемировая безрукавка, узорчатые гетры, вязаная непальская шапочка.

У шерпов принято давать имена в честь дня недели. Дава – понедельник, Мингма – вторник. Младшая дочь нашего гида родилась в пятницу, поэтому ее зовут Пасанг. Ей шестнадцать. У нее глаза веселого ребенка. Или доброй собаки. Ей поручили нести рюкзак Молостова. На второй день пути прошел дождь, она поскользнулась на мокрых камнях и упала прямо мне под ноги. Я помог ей встать, снять рюкзак. Вид у нее виноватый, испуганный, шерстяная юбка испачкана. Я протянул ей свой легкий рюкзак с камерой:

– Change, Пацан?

Она обрадовалась:

– Change!

И ускакала вверх по крутому склону. А я взвалил на спину молостовский рюкзак.

Марк ждал наверху:

– Новый Робинзон?

– Она упала.

– Понятно. Она может еще раз упасть. И если разобьет камеру, у нас не будет фильма. А ты сорвешь спину. Давай так: ты снимаешь кино, шерпы тащат наши рюкзаки,

Соннам – твой штатив. Пусть каждый занимается своим делом.

...Соннам со штативом и камерой ушел вниз. Я встал на колени, нащупывая ногой опору. Шерпы выстроились цепочкой, чтобы подставить руки. Их широкие лица улыбались как всегда, легко и спокойно. За мной, согнувшись под рюкзаком, сползла Пасанг, за ней остальные. Сгрузив нас на нижней террасе, шерпы вернулись наверх – забрать поклажу. И снова стали спускаться – так быстро, что камера едва успевала догонять босые ступни, ставшие мягче ладоней.

Шерпы – чистюли. Зубы они дряют неторопливо и вдумчиво. Лица у них гладкие, чистые. И ноги чистые, хоть и грязные, потому что идут практически босиком. Марк уверяет, что шерпы даже по снегу ходят в сланцах:

– У них другая физиология. Они и дышат по-другому.

– Дышат как все – кислородом. Не сомневайся, у них в легких сейчас те же пятьдесят процентов, что и у нас.

– Ага, только мы это чувствуем, а они нет. И горняшка им не грозит, потому что организм вырабатывает двойную дозу окиси азота. Генетическая мутация.

– Какая еще мутация? Просто всю жизнь – вверх-вниз, босиком, с лямкой на лбу.

Так они всегда спорят, Марк и Молостов.

Интересно: на Французский перевал шерпы тоже пойдут в шлепанцах?

Перед сном мы обсуждаем новости астрофизики. Молостов говорит, что с Большим взрывом все ясно, осталось разобраться с первой секундой, точнее, с первой долей первой секунды, которая по отношению к самой этой секунде меньше, чем секунда меньше всей жизни Вселенной.

Молостов мог бы стать серьезным ученым, если бы однажды прожиточный минимум не поднялся выше его зарплаты. Тогда он ушел из университета и сделал частное телевидение. Еще он играет в футбол. Раз в неделю, ночью, ходит со своей компанией в какой-то спортзал. И раз в год с Марком – в Гималаи.

Идти нашим темпом Молостов не способен. Могучие икры сами несут его по тропе. Однажды, в самом начале похода, он обогнал нашу кухню.

Повара уходят раньше всех, чтобы до темноты поставить палатки и приготовить ужин. Молостов их обогнал, долетел до какой-то деревни, выпил бутылку «туборга», посидел, подождал и в том же темпе двинулся дальше. Переход в этот день был длинный, уже смеркалось, когда мы дошли до наших палаток. Молостова в лагере не было. Тенцинг спросил у Кока, обгонял ли их большой человек на быстрых ногах. Обгонял, сказал Кок, но это было днем. Гид подошел к Марку:

– Ваш большой товарищ мог уйти далеко?

– Запросто, – сказал Марк. – Наш большой товарищ мог уйти очень далеко. Но я надеюсь, он уже возвращается.

Тенцинг посмотрел на вершины гор, подкрашенные закатом, на часы и побежал вверх, откуда текла Мягди-Кола. Через полчаса он, увидев идущего навстречу человека, снял с головы фонарик, помахал вправо-влево мигающим светом, сел на камни и закрыл глаза. Рядом шумела река. В темнеющем небе прошелестели крылья орла, заходящего на новый круг. Конечно, с этим человеком, все время забегающим вперед, ничего не могло случиться. Здесь нет другой тропы, кроме русла Мягди. Но в сердце жила тревога.

С тех пор, как заболела жена, он потерял ровное, светлое состояние духа, которое пришло к нему давно, может быть, в тот день, когда отец отвел его в монастырь и на него надели тричивару. Или в ту Ночь Полной Луны, когда он в первый раз зажигал светильники не в деревенском доме своих родителей, а во дворе гомпы, вместе с такими же бритыми наголо мальчиками празднуя рождение Будды Шакьямуни.

И даже когда его вернули домой, потому что умер отец и нужно было помогать матери, он ни о чем не тревожился, зная, что тропа судьбы ведет его вверх, и шел по ней не топаясь. Но и не останавливаясь.

Он полюбил девушку, умную девушку из племени раи, от которой узнал все, чему ее научили в университете, и когда его молодая жена сама стала учительницей, устроился

в ту же школу столяром. Он ремонтировал эту школу, строил свой дом, скотный двор, он мог все делать своими руками, только лечить не умел.

Ему сказали, что в Долпо живет врач, который снимает руками любую болезнь. Они поехали в этот затерянный мир, где статные, властные женщины смотрят на мужчин голодными глазами. Тенцинг не замечал этих глаз, в сердце его было только одно желание, одна надежда, но она растаяла сразу, как только Тенцинг увидел врача, его грязное жилище, грязные недобрые руки и мутный взгляд. Он не дал прикоснуться к чистому телу своей жены. Он повез ее в Покхару, чтобы она немного пожила в настоящем раю, и через месяц у него кончились деньги. Он просто забыл, что нужно зарабатывать деньги. Что в этом мире есть что-то еще, кроме любимых гаснущих глаз.

В молодости он подрабатывал носильщиком на восхождениях, но никогда не поднимался на самый верх, помня с детства, как ламы ругали короля за то, что тот разрешает иностранцам топтать вершины богов. Они говорили: будет нам кара и сверху, и снизу, белая и черная.

Когда на базаре ему встретился старый друг Мингма Лобсанг, которого европейцы звали просто Кок, он понял: нужно идти в горы.

Уже появились первые звезды, когда они вернулись. Мы увидели, как сверху, вдоль реки, к нам спускаются два фонарика, один на целую голову выше другого. В тот вечер Кок сделал яблочный пирог по-непальски. Сам принес и встал у выхода из палатки, блестя очками. Мы усадили его за стол, он сразу согласился. И от рома не отказался. Скоро на его впалых небритых щеках проступил румянец. Разговорились. Оказывается, он был в той злополучной экспедиции на Белой Горе, когда погибли пять шерпов из семи, сопровождавших Ника Саймона к вершине. Саймон – миллионер, любитель-одиночка, толстяк, гипертоник, неврастеник с поганым характером, как я понял из рассказа захмелевшего Кока:

– В штурмовом лагере у него подскочило давление. Он не мог идти сам и требовал, чтобы его несли на руках.

Только не вниз, а вверх. Мы отказались. Рядом сошла лавина, и мы сказали, что нужно срочно спускаться. Тогда с ним случился припадок бешенства. Вдобавок у него кончился кофе, он потребовал, чтобы ему принесли снизу кофе в термосе. Я спустился в лагерь к русским и сказал, что Саймон сошел с ума. Они подняли вертолет, но было поздно.

– Есть же такие козлы, – сказал Молостов.

– Я слышал эту историю, – сказал Марк. – Их накрыла лавина. Двое спаслись, откопали Саймона и спустили вниз, русские отвезли его на вертолете в Катманду. Но я не знал, что там был Кок.

В небе светло от звезд. Горизонт по всему основанию купола изрезан ломаной линией гор. В одном месте вырез сделан в виде шлема, это восьмимысячник, Белая Гора, ночью черная на фоне звезд. Днем она похожа на ступу Боднахт, потому что у нее тоже есть глаза. Только ступа смотрит равнодушно, а Гора все время следит за нами. И мы ей очень не нравимся. Ночью глаз не видно, но взгляд все равно чувствуешь. От нее, как из черной дыры, дует холодом. А ветра нет. И реки не слышно. Звякает алюминиевая посуда, пытит примус, кто-то кашляет в освещенной палатке, оттуда доносится голос Марка, но слов не разобрать.

Молостов показывает звезды: Вега, Денеб, Альтаир – Большой летний треугольник.

– Жаль, ты не девушка, – вздыхает Молостов. – Без девушек звезды нужны только астрономам.

– Еще морякам.

В море с тяжестями нет проблем. Всех несет на себе корабль.

Из палатки вытек наружу свет, фонарик на лбу Марка поплыл в нашу сторону. Чем мы по большому счету отличаемся от Саймона? Ходим в горы налегке. Французский перевал выше Эльбруса, но мы на него скоро залезем, потому что в этих горах живут люди, привыкшие за копейки носить на лбу чужой груз.

– Саймон – это мания величия, – возразил Марк. – На вершину – любой ценой. Он у себя в Лондоне так же ходит по головам, не сомневаясь.

- Ты считаешь, они получают нормальные деньги?
- Кто?
- Шерпы. Можешь представить, чтобы кто-то из русских взялся за такую работу?
- Бурлаки.
- Это когда было!
- Я в молодости арбузы разгружал, – сказал Марк. – С Молостовым на пару. Спроси у него, он тебе расскажет, что значит разгрузить баржу. Копейки получали. Правда, на стереоколонки хватило.
- Арбуз и рюкзак – разные вещи.
- В чем разница?
- Я не мог объяснить разницу.
- Помнится, ни в Ладакхе, ни в Тибете тебя это не смущало.
- В Тибете были яки, в Ладакхе ослы и лошади.
- Чем скотина хуже человека?
- Ничем. Просто она – скотина.
- А помнишь, под Эверестом ты брал интервью у русского, который за большие деньги поднимает олигархов на вершину? Все просто: горы – это бизнес.

Выход из ущелья перегородила серая туша ледника. Как будто дракон, навалившись в грязной щепенке, во сне пустил ручеек. Через несколько километров ручей станет речкой, потом чистой рекой. На леднике шерпы надели ботинки.

Мы ползли по хребту чудовища. Солнце пригревало, под каменной чешуей таял лед, ноги расползались. К полудню пришли в базовый лагерь. Теперь Белая Гора смотрела на нас в упор. Сильный ветер шлифовал заснеженное плато, на краю которого, задрав к небу хвост, лежал опрокинутый вертолет. Второй стоял на взлетной площадке. Кроме летчиков, в лагере оставались только австрийцы, другие группы сидели выше, дожидаясь погоды. С австрийцами были шерпы. Наш Дава, сбегавший в гости, принес новость: у соседей – Белый Портер. Конечно, пошли знакомиться. По дороге Тенцинг объяснил: лет пять назад в Непале появился носильщик-амери-

канец. Сначала он подряжался на трекинги для старых леди, потом его стали замечать на восхождениях. Гиды, с ним ходившие, в один голос твердили, что американец ни в чем не уступает туземцам. В прошлом году он с поляками поднялся на Эверест – опять же как носильщик. Да, это тема.

Корзина появилась раньше колеса, человек – первое выючное животное на земле. Тяжесть на голове заставляет держать позвоночник вертикально, это известно. Когда у тебя лямка на лбу, ты наклоняешься вперед, вдвое увеличивая нагрузку на позвоночный столб. Поэтому рюкзак удобнее во всех отношениях. Но мне хотелось быть как они, и я надел лямку. Первое время все болело – мышцы, суставы, сухожилия, боль невыносимая, от пяток до макушки. Через полгода тело привыкло, теперь мне уже неловко с рюкзаком.

– Босиком не пробовали?

– Пробовал. Но не смог.

– Зачем вы этим занимаетесь?

– Это моя работа.

– А кем вы работали раньше?

– Не важно. Это было давно. Теперь у меня новая жизнь.

– И новое имя: Белый Портер. Согласитесь, это странно.

– Что именно?

– Американец с лямкой на лбу.

– Почему же? Мы ничем не отличаемся от них. Такие же люди.

– Шерпы носят тяжести с детства.

– Мне иногда кажется, что я этим занимаюсь всю жизнь.

– Когда заканчивается сезон, вы возвращаетесь в Штаты?

– В этом году останусь. Может быть, со временем построю дом в горах. Есть тут одно местечко.

Длинный, худой, в огромных черных очках, он казался муравьем на фоне Белой Горы. Попросить, чтобы снял очки?

– Вы прежде бывали в Непале? До того, как решили... сменить работу?

На этом закончилось интервью. Он молча повернулся и пошел прочь, будто нас тут и не было.

– Мы что-то не так сделали, – сказал Марк.

Австрийцы удивились другому:

– Он никогда не давал интервью, никому. Эн-би-си предлагала большие деньги. Странно, что он с вами разговаривал.

Когда мы вернулись к своим палаткам, Тенцинг попросил показать запись Коку. Оператор откинул экран, включил прослушку. Кок, сутулясь, уткнулся в светящееся окошечко. Потом разогнулся, отошел, что-то сказал Тенцингу.

Когда мы после ужина залезли в спальники, Молостов достал бутылку рома:

– Выпьем за Белого Портера, дай ему бог здоровья! Жаль, конечно, что спугнули, но в этом тоже что-то есть, какая-то интрига. Ты снял, как он уходит?

– Конечно.

– Загоним запись энбисишникам! А что Кок сказал Тенцингу, слышал?

– Нет, не разобрал.

Поговорили на тему тяжестей. Молостов, как и Марк, считает, что я напрасно комплексую. Даже Иисусу помогали нести крест. Несущий да обрящет.

– Обрящет ищущий. Осилит идущий. А несущий...

– Несущий – сущий. Самый главный. Надежда и опора.

– Так забери у Пацана свой рюкзак.

– Нет, это ее работа. За это мы ей деньги платим. Или пусть папочка тащит её рюкзак.

– Твой рюкзак.

– Нет, теперь это её рюкзак. До самого Джомсома.

День за днем мы набирали высоту, приближаясь к пяти тысячам. В шесть утра нас будили шерпы, ставили перед входом в палатку две горячие кружки – кофе, чай – и две миски с теплой водой – умываться. Маленький народ маленьких людей сделал высоту и тяжесть своей работой. Они несут передо мной мой дом, чтобы я налегке снимал водопад, чтобы прошел через ущелье и влез на спину ледника, чтобы, засыпая в теплом мешке, слушал невнятный

грохот далеких лавин. Но разве только они? Разве только шерпы носят на лбу чужие тяжести?

К перевалу я ушел раньше всех. Хотел снять Гору на прощанье. Беспокоило облако, быстро растущее за спиной: закроет солнце, погасит картинку. Сделал общий план, пару отъездов, оглянулся на облако, ставшее тучей, и в этот момент порыв ветра опрокинул штатив. Я тупо смотрел, как прыгает по камням новая, купленная специально для этой экспедиции «сонька». С каждым такое бывает: вначале кажется – нет никого несчастнее на свете, потом – да ничего особенного, еле заметная щербинка на кольце объектива. Еще не веря в чудо, включил камеру на запись: пошла!

Ну и все, и хватит. «Соньку» в сумку, штатив в чехол. Французский перевал? Да кто его только не снимал, кто тут только не ходил. И кому это все нужно – Марку, Молостову? Вот они обогнали меня, разговаривают на ходу, о чем-то спорят. Соннам подошел, посмотрел внимательно, забрал камеру и штатив, а у самого на спине – все наши столы и стулья. Другие несут драйбэги, палатки, посуду, газовый баллон, примус, продукты. Только Пасанг идет налегке: у отца за плечами – её рюкзак.

Дышать тяжело, голова раскалывается. Надо идти своим темпом. Пусть за спиной растет Белая Гора, пусть торчит меж лопаток ее каменный взгляд – не оборачиваться. Думать о чем-то постороннем. Например, о старухе в темно-синем халате, которую мы встретили перед Марфой. Она сидела на краю тропы, прислонившись к теплой скале. Отдыхала. Увидев камеру, встала, подняла себе на голову корзину, огромную, как три бельевых, и, не качнувшись, двинулась вверх по каменным ступеням – прямая, статная, с тонкой, как у девушки, талией, туго стянутой кашемировым платком.

Бабушка моя, Мария Васильевна, в девичестве Добронравова, долго оставалась красавицей с нежной впалостью щек. Я еще застал ее черные брови, ясно распахнутые глаза, благородный почерк движений.

Жили мы в Больничном городке, в казенном доме с печкой, без горячей воды. Белье отдавали стирать в прачечную

под горой, куда вела крутая железная лестница. Мама мне наказала быть в три часа у прачечной, чтобы бабушке не тащиться вверх по лестнице. А я опоздал и встретил бабушку уже наверху, с двумя бельевыми корзинами, из которых, как тесто, лезло мокрое белье. Она задыхалась, ее уже в те годы мучила астма. Сгорая от стыда, я ухватился за плетеную ручку корзины, но в это время женская рука, молодая и сильная, потянула корзину к себе, и я увидел мамино лицо:

– Иди уж, гуляй себе.

Потом было много разных корзин. И рук, и спин, и плеч. Я не отказывался, со временем даже привык ходить налегке.

А тот, кто оставляет тяжесть другим, он ведь сутулится, вы замечали? Что-то давит ему на плечи.

Почему Дава смотрит с неба? Источник света расположен у него в переносице. Из этой точки лучи радиально расходятся по всему лицу. У каждого шерпы лицо так устроено, потому что у них не было фонариков. Марк, почему надо мной его глаза? Имей в виду: камера упала, но живая, я проверял.

– Лежи-лежи, – сказал Марк. – Это горняшка.

До вершины Французского перевала оператор не дошел, его отнес Дава. Как муравей гусеницу. Тенцинг уже разбил всех на пары, чтобы передавать больного с рук на руки.

– Да я бы тебя один стащил, ты легкий, – сказал Молостов.

В Джомсоне мы просидели два дня, дожидаясь погоды. Самолет прилетел неожиданно, Тенцинг чудом пропихнул нас раньше всех. Я думал, что увижу прощальный взгляд Белой Горы, но за стеклами – только скалы: едва взлетев, маленький самолет сразу втянулся в ущелье. Молостов открыл бутылку «туборга». Ближе ко мне сидел Марк. Я спросил его:

– Ты слышал, что сказал Кок?

– Когда?

- Когда посмотрел интервью с Белым Портером.
- Кажется, он сказал: Саймон.

P.S. «25 апреля 2015 г. Непал содрогнулся от сильнейшего землетрясения силой в 7,8 баллов по шкале Рихтера. Всего от удара стихии погибли более 8 тысяч человек, травмированы более 14 тысяч. В Непале оказались полностью разрушенными десятки тысяч домов. Селевые потоки накрыли и так немногочисленные плодородные земли гористого Непала. Кроме того, землетрясение нанесло удар по одному из самых главных источников дохода Непала – туризму. Стихия уничтожила или сильно повредила многие архитектурные памятники, которые привлекали туристов, и уничтожила горные маршруты. В том числе и один из самых известных – подъем на Эверест по южному склону, под которым в снежной лавине погибло 24 человека...»

Елена КРЮКОВА

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Его привезли на рассвете. Доктор Ян Борисович Готфрид сухо выронил на бегу: суицид банальный, – и дальше бежал, не оглядываясь, только белая шапочка на затылке тряслась. Доктора Готфрида так и называли: Стайер. «Наш Стайер побежал, – шептали санитары, – ну точно тяжелый груз нам сегодня забросили».

Наш Стайер побежал, повторяла и Анна Ивановна сухими сморщенными, чуть ли не замшелыми губами, глядя долгим взглядом вслед врачу, и сухарь ее лица жалобно ломался. Ей всегда всех больных было жалко. Особенно здесь, в психушке.

Когда ее спрашивали: как оно на пенсии-то, Анна Ивановна? – она горделиво улыбалась беззубыми деснами: я работаю в сумасшедшем доме.

Тишина прерывалась яркими вспышками солнечных пятен. Пятна кричали. Солнце вопило. Потом солнце улыбалось и засыпало. Оживала тряпка. Тряпка, поганая и лохматая, старая проститутка, униженно ползала по полу, залитому странной блестящей смесью, застывшей навек: стекло не стекло, мрамор не мрамор, клей не клей. Акулья кожа. Лакированный асфальт.

Мыть удобно. Ходить страшно.

На этом черном пластмассовом льду скользили врачи в модельной обуви, балансировали, балагурия, санитары, волоча смиренные рубахи, подворачивали бутылочные ножки в ажурных колготках медсестры и беспощад-

но падали больные. Одному больному казалось: это озеро замерзло, а он пришел на рыбалку, позабыл дома снасти, пальцы коченеют, ветер северный, и он сам сейчас околет – без коньяка во фляге, без жениного бутерброда, без горячего чая в битом китайском термосе.

И Анна Ивановна больному, что ежился в зимнюю ночь на льду закованного в броню смерти лесного озера, сердобольно приносила бутерброд с копченой колбаской, и спелую хурму, и апельсиновый сок, и втихаря, чтобы Стайер не заругался, кормила его из рук, как голодного зверя: лучше жены, добрее дочери, бережней и ласковее матери.

По возрасту Анна Ивановна всем тут в матери годилась, а то и в бабушки. Молодым санитарам и медбратьям запаadlo было подрабатывать мытьем полов: не царское это дело – женское! На все буйное отделение городской психбольницы № 1 – три санитарки: две молодухи, одна старуха. Старуху все время уволить хотели. Да Стайер не давал. Он к ней благоволил. Говорил, как мурлыкал: «Анна Ивановна, дорогая, как вы сегодня прекрасно выглядите. Как розочка». Она не замечала иронии, не верила насмешке; неуклюже кокетничая, заправляла седые космы под туго стянутый на затылке белый платок.

Когда она пришла сюда работать, она не помнила: так давно, что ей лень было вспоминать. Вымыв полы, она садилась в коридоре на кожаную длинную кушетку, вынимала из необъятного кармана халата вязанье, и стучали друг об дружку спицы, и тяжело, с присвистом и хрипом, дышала вязальщица. Застарелая астма, в другом кармане всегда с собой ингалятор: начнет задыхаться – сунет ко рту спасительную трубочку.

Тогда, давно, она еще не была старухой, а больным и врачам казалось – Анна Ивановна была старухой всегда. Каталась по коридорам и палатам румяным помятым ко лобком. Ведро носила легко, чуть ли не на мизинце. На швабре играла, как на арфе. Не страшась, садилась на койку к буйному, что опасно дергался, связанный по рукам и ногам, подпрыгивал, гремя панцирной сеткой на весь этаж; трогала крепкие завязки на черной, до пят несчастному,

пыточной рубаше, ладонями вытирала у него со щек и висков вонючий пот и приговаривала: «Ах ты милый, ах ты хороший, не печалься, все пройдет, пройдет и это!»

Все пройдет. Пройдет и это.

А может, ничего и никогда не пройдет.

Его привезли на рассвете, и диагноз был у него простой и жуткий – попытка самоубийства, и понятно, что она не удалась. Положили его в двенадцатой палате, для буйных – мест в суицидных палатах не было ни одного. Завалены телами или дровами? На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве...

Он хотел зарубить себя топором. Рубанул по шее. Неудачный он оказался сам себе палач. Рубил дрова на зиму. Заказал машину дров, привезли хорошие, березовые. Пять тысяч заплатил: дешево, по знакомству. Кто его довел до ручки? Что толкнуло ближе к последней крови? Горькая любовь? Предательство? Долги?

Никто не знал. Сестры шептались: у него недавно умерла мать, а больше никого у него и нет, один живет.

Больница как тюрьма: привозят – и за решетку кроватной спинки, в карцер бокса или в СИЗО перенаселенной палаты, где буйные тоскливо кричат и тонко плачут, кусают санитаров за ляжки и пальцы. Чтобы буйные не расцарапывали себе лица, санитары привязывали им руки к ножкам койки, заливали подушечки пальцев клеем: на всех смирительных рубах не хватало.

Женщина вопила, железно-сгорбленная; с натугой наружу выходил голос; волосы свешивались до полу. Мужчина катал голову по серой плоской подушке с черным тараканом казенной печати, бормотал жалобно: «Пустите! Пустите! Я больше не буду! Никогда не буду!» Анна Ивановна деловито совала швабру под кровати. Там бегали настоящие тараканы. А потом они, голодные, ощупывая усами тела, вещи и ткани, нет ли где съестного, не завалялись ли где, в тумбочках и под подушками, крошки и кусочки, уставали ползать в видимом мире и заползали людям в раскроенные криками головы.

Мальчик крепко вжимал посинелые пальцы в голые плечи. Почему на нем не было рубашки? Или халата? Или больничной полосатой пижамы? Никто не знал. Сидел на краю койки, голый по пояс, дрожал и вонзал грязные ногти в плечи, в ключицы. Трясся. Потом вскидывался и невнятно вскрикивал:

– Гады!... гады... Отбили, гады, все печенки... все... нет больше печенок... нет!...

Анна Ивановна сорвала с койки одеяло и набросила мальчишке на плечи.

– Грейся, пескареноч...

Косматая женщина перегнулась, будто на палубе через релинг, и странно медленно, тестом оседая, упала на пол. Не упала – плавно легла; протянула по полу руки, слабо пошевеливала пальцами: ее пальцы дышали, как жабры. А грудь не поднималась.

– Эх ты, эх ты... – негромко сказала Анна Ивановна. – Поди ж ты... я сейчас...

Подхватила косматую под мышки. Кряхтя, взгромодила на койку. Пружины лязгнули. Анна Ивановна, как бревна, обхватила ноги больной и втащила их вслед за торсом на матрац. Косматая стала вибрировать всем телом. Крупно, долго дышать. Щеки бледнели, а шея дико, пугающе розовела, краснела, пока не стала цвета мертвого флага убитой страны.

Анна Ивановна вытерла руки о халат, надавила косматой толстыми пальцами на виски.

– Говорят, здесь какие-то такие точки... обезболивают... и легчает...

Косматая затихла, вытянулась, лежала недвижно.

И Анна Ивановна повернула короткую толстую шею к нему.

К тому, что сам себя зарубил.

Он лежал спокойно, мирно. Плечо, шея и голова обмотаны толсто, щедро, густо многими бинтами. И даже сквозь эти толстенные слои мертвящей белизны пробилась, просочилась кровь. Алый кружок расплывался на подталом снегу повязки. Анна Ивановна, как заколдованная, глядела, глядела на эту красную сургучную печать.

Самоубийца открыл глаза. Увидел над собой потолок.

«Ах ты, батюшки... Ему под общим наркозом шею-то зашивали или под местным?»

Зажмурился. Анна Ивановна зажмурилась тоже. Они открыли глаза одновременно. Больной смотрел на санитарку. Тяжко, липко, жалко, просяще ошупывал глазами, черными ямами радужек, остриями зрачков круглолицую старуху в сером мышинном халате, со шваброй в пухлых сардельках-руках.

– Ма-ма...

– Я не мама, – Анна Ивановна сделала шаг к его койке, ее рука протянулась и глубже надвинула на лоб, на брови белый платок, – я нянечка...

– Ма... ма!.. Ты...

Отвернул голову. Анна Ивановна следила, как медленно выкатывается, течет из угла глаза по виску слеза, ее впитывают бинты, мотки стерильного, посмертного, лютого мороза.

Еще шаг к чужой кровати. Сердце Анны Ивановны внезапно перевернулось в ней и затрепыхалось – так отчаянно, так больно оно не билось с тех пор, как...

Старуха упала на колени перед койкой. Ее руки сами ухватили, уцепили голову самоубийцы. Она прижимала его к груди, держа на широких, как лопаты, руках, будто он маленький был совсем, маленький и орущий, кричащий комок – не молчащий в ледяном гроте марли и бинтов бедный больной. Кроха, ребенок, сынок! Почему ты здесь! Зачем ты не захотел жить! Наложил на себя руки! Зачем ты тут, и отчего ты меня нашел!

Она все вспомнила. Она все теперь вспомнила.

Полудурочка, она подтирала тут полы, она забыла, кто она такая, как она сюда попала; а тут вдруг вспомнила, и память оказалась такой болью, что ее не снести было.

Она ловила воздух ртом. Сердце выламывало ребра. Она стояла перед открытым окном, и резкий, сильный, бешеный ветер гнул обледенелые ветки, они стучали друг об дружку, и легкий нездешний звон доносился до ее еще живого слуха. Еще видеть. Еще слышать. Но лучше не видеть

и не слышать ничего. На столе записка. Такой корявый, смешной, танцующий детский почерк. Ты всегда так криво писал, сынок. Ты не умел писать прописи. Ты карябал слова, и твоя ручонка кособоко бежала, скользила с тетрадки на стол, на газету, к невымытым тарелкам и коробку спичек – так торопливо, смешно бежит кривоногий краб по сырому песку. На тарелке выведено синим, небесным: ОБЩЕПИТ. Все питаются сообща. Все вместе. Все общее. За окном накренилось древко алого, как кровь, флага. Седьмое ноября. Красный день календаря.

Красный... день...

Еще помня себя, еще держа внутри себя, как птицу в кулаке, живую память, она подбрела к окну и осторожно выглянула на улицу. Выглянула и зажмурилась. Она не хотела смотреть. Она знала, что она увидит; и на это глядеть было нельзя. Она заставила себя: распахни глаза и гляди! вниз! да, да, вниз! вот так! так, хорошо! – и шея сгибалась, и лицо наклонялось над черной снежной бездной, и глаза смотрели, а голова не думала, ей так хорошо было не думать. Не думать. Никогда не знать. Не чуют того, что случилось сейчас. Или еще только случится?

Или, может, это все случилось давным-давно, и совсем не с ней? А с кем же?

Как звали ее... ее... ну, ее...

Широко распахнутые мертвые глаза смотрели на маленькое распластанное тельце там, внизу. Ребенок лежал странно – скрюченный, как в утробе матери, а ручки раскинуты, будто удивился и руками развел: да что вы! Разве это я! Это же не я! Я вам только кажусь!

По наледи растекались алые ручьи. Флаг бился над подъездом. Она сегодня приготовила к великому революционному празднику холодец, пирог с капустой и плюшки, посыпанные сахаром, испекла в духовке, он так плюшечки любит.

Любит. Любил. Будет любить. Не будет ничего.

Запах сладких плюшек вылетал в настежь раскрытое окно вместе с ее жизнью и с ее разумом. Она медленно, медленно встала перед подоконником на колени. Подняла круглое бледное лицо к серому рваному небу. И завывала.

Она выла волчицей. Хохотала ведьмой. Разевала зубастую драконью пасть. Плевалась огнем. Из ее глаз сначала летели слезы, потом огненные стрелы, потом черная пустота. И вместо глаз у нее стали ямы; вместо волос – костер; вместо живого лица – вскопанная жгучей, жуткой железной лопатой, мерзлая, переслоенная белым снегом черная земля.

Она не видела, как, завывая подобно ее глотке, к дому подрулила «скорая»; как бежали к ребенку санитары и укладывали, плача, на холщовые носилки то, что еще недавно было ее ребенком – кровавое тесто, красную лепешку; пирог развалился на части, на куски, его собирали по частям, складывали на противень и все никак не могли собрать. Она стояла на коленях, пальцы вцепились в подоконник намертво – не оторвать, а горло вопило, а вместо сердца бился на промозглом ветру красный ошметок, багряный лоскут. Жизнь. Жить. Кто там живет? Это она живет?! Она земля, в ее могилах воет ветер, ее холмы и ложбины укрывает, ласкает метель. Все вы ляжете в меня! Все! Все! Всех пригрею! Всех возьму!

И его. И его! Моего родного! Единственного! Вам – не отдам!

Соседи пытались подступиться к ней. Только подходили – она стреляла в них адским, горячим криком. Визжала. Билась головой о стены, об пол. Каталась по полу. Тянула на себя со стола скатерть вместе с посудой, и разбивался в осколки дулевский фарфор и кузнецовский фаянс, звенели о паркет ложки и вилки, и скакал и прыгал по полу холодец, странно живой, как кусок дышащего, под ножом хирурга, студенистого легкого; и она заталкивала скатерть с белыми мохнатыми кистями себе в рот, пытаясь забить крик снегом, запеленать его длинным, бесконечным бинтом, умереть вместе с криком, вытолкнуть его из себя навсегда, как роженицы выталкивают в холод жизни красного орущего младенца. Обматывала голову скатертью, потом сорванным со стены ковром, потом бросала в окно, в стены, в двери и притолоки, била посуду, и сбросила тапочки, и шла босиком по стеклам и ножам, по изморози и воздуху, по ветру и облакам.

Задыхалась. Воздух кончался. И она кончалась вместе с воздухом, с последним ветром.

Соседка дрожащими руками набрала номер психиатрической больницы. Психбригада приехала через полчаса. Санитары схватили ее в тот миг, когда она перегнулась через подоконник, разглядывая не глазами – уже летящей, вольно парящей душой красное, отпечатком любимого тельца, пятно на снегу; а далеко, за мостом, за серой холодной рекой, за заберегом и шугой, гремела праздничная музыка, доносились веселые крики, мотались на ветру красные знамена, красные воздушные шары и красные флажки в руках краснолицых от мороза и ветра детей, и все это были не ее дети, чужие дети, и это была чужая страна, чужая демонстрация, чужой праздник и чужая жизнь.

– Ма... ма... ты... я...

Она держала его на руках. Его. Наконец-то.

Не могла в свое счастье поверить.

– Сынок... Милый ты мой... Как же ты все эти годы... один... без меня...

Он ее не слышал. Видел, как шевелятся ее губы. Оглох от боли, ополоумел от того, что тонул в своей смерти, а вынырнул в чужую радость.

– Я... нет...

– Да, да...

Им было все равно, что говорить. Лепетать, утешать друг друга. Успокаивать: вот и кончена жизнь, а вот она началась, другая, и здесь, видишь, тоже хорошо, а в той ведь было плохо, плохо. Пусть будет так, как случилось! Ведь все вернулось! А где же мы были с тобой? А кто его знает! Поменялся цвет флага. Я больше не пеку плюшки. Мне нельзя сладкое. У меня диабет. Я хочу рассказать тебе, как я жила все это время. А я тебе, как я жил. Да я и не жил! Так, притворялся! Думал, что живу! Я так скучал по тебе! А я... ты даже не представляешь, как...

Анна Ивановна все ближе клонилась к нему. Вот ее морщинистая щека вздрогнула, дернулась, опала, опять задрожала: она приближала лицо к его лицу, забинтованному

годами и веками без него, замотанному одинокими ее волчьими ночами, белыми стерильными, больничными одинаковыми днями, когда надо мыть и драить, а потом получать за это деньги, а потом трястись в битком набитом трамвае домой. Домой? Или опять в больницу? Сынок, как же ты не понял до сих пор?! Я же живу в больнице! Это мой дом! И я тут Анна Ивановна, и никто же не знает, что я твоя мама!

– Ма... ма...

Она, кургузая и грузная, коротышка, старый колобок, на удивление легко, воздушно подняла его с койки. Ребенок. Это же ее ребенок. И он такой легкий. Такой светлый. Такой любимый. Смотрите, он совсем не в крови. Он такой чистенький и беленький. Он только что родился, и его так аккуратно перепеленали. Дай расцелую тебя! У меня больше не будет болеть сердце. Я никогда не задохнусь. Я буду хранить все-все, что ты будешь любить. Все твои игрушки. Зубные щеточки. Курточки и штанишки. Пуговка оторвется – пришью.

Я больше никогда, никогда не буду так страшно кричать. Никогда. Потому что ты вернулся. Ты со мной. Ты пришел. Я так тебя ждала. Я все время тебя ждала.

Анна Ивановна тяжело несла больного к окну. Поближе к свету. Босые ноги его волочились по полу. Он неотрывно глядел в мокрое лицо, в соленые глаза старухи санитарки. Хватался за ее толстые плечи под серым халатом.

Она стояла у окна и держала самоубийцу на руках, и болели мышцы, колотилось сердце, не выдерживая веса лет и зимнего огня, но закрыто было наглухо ледяное грязное окно, зарешечено плотно и мощно, головой не разобьешь, на волю не прорвешься, не улетишь туда, где облака, ветер и праздник. Веселые крики. И красные флаги.

В дверях палаты толпились дюжие санитары и угрюмые медбратья, и оглядывались, и ждали; и стучали по коридору торопливые шаги – это бежал тот, кто здесь топал и бегал все время, как метеор носился; и растолкал всех Стайер, и издали глядел на Анну Ивановну.

Раскинул руки. Растопырил пальцы. Сделал знак: тише, тише. Не мешайте. Не подходите. Она нашла, что искала.

Руки Анны Ивановны утрачивали радость. Теряли силу. Сила иссякала в них, утекала талым снегом. Голые ветки били о карниз, о тюремную или больничную, какая разница, решетку. Мы не на воле. Мы в клетке. Но мы поем. От радости или от горя – тоже все равно.

Не каждый день мать находит сына.

Ноги подкосились. Она медленно, медленно опустилась, с сыном на руках, на намытый ею самой, сумасшедше гладкий пол. Они оба отразились в черном мертвом льду лесного застывшего озера: молодая мать, счастливая, довольная, и маленький ребеночек у ее налитой теплым молоком груди.

И по слогам она, как колыбельную песню, повторяла молитву всей своей забытой жизни – ту, что мальчик, выбросившийся из окна, написал ей, коряво и торопливо, в глупой предсмертной записке:

– Мама, не ругай... не ругай меня... мама, я люблю... я люблю тебя...

Стала задыхаться. Хватала ртом воздух. Это не воздух, а наждак! Он царапает легкие! Почему легкие – легкие, а не тяжелые? Дышать ведь так тяжело!

Стайер провел ладонью ото лба к подбородку. Тихо, нежно подошел к Анне Ивановне. Запустил руку в карман ее халата. Вытащил ингалятор, поднес к ее приоткрытому в плаче беспомощному рту, нажал на кнопку. Лекарство брызнуло. Старуха дышала шумно и страшно. Легкие сипели и хрипели дырявой гармошкой.

Анна Ивановна, я так рад за вас! А я уж как рада, Ян Борисович. Анна Ивановна, вы сегодня такая счастливая. И вас это очень красит. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом... вся советская... земля... Давайте мы запеленаем вашего ребеночка? Он такой хорошенький! Вылитый вы! Мы все сделаем аккуратно, леге артис. Не беспокойтесь. Врачи ведь мастера своего дела. Ну, давайте, так, вот так.

Больной закатил глаза. По знаку Стайера два мрачных санитаров осторожно вынули его из рук Анны Ивановны.

Врач опустился на колени рядом с санитаркой и медленно, медленно вытер ладонями соленые, счастливые ручьи с ее круглых, дрожащих, сморщенных щек.

У себя в кабинете Стайер подошел к стеклянному шкафу и достал оттуда пузырек.

– Спиритус вини, – пробормотал. Налил в мензурку и быстро выпил.

Задышал трудно. Запил глотком холодного чая из щербатой чашки.

Время сбилось в комок. Снова стать ребенком. Потерять мать. Пришли ночью и увели. Слезы и крики матери в ушах, под черепом, поперек горла. Плакать в подушку. Побежать на берег реки. Взбежать на мост. Чугунное кружево перил. Каменные быки. Серая страшная вода. Прыгнуть вниз. Сорок метров высота. Тебя вытащат. Ты ничего об этом не знаешь. Тонешь. Вода льется в легкие. Это очень больно. Орать: я не хочу жить, не хочу! Лежать в больнице. Жрать, давясь, манную кашу. Видеть глаза врачей. Шептать неслышно: я тоже стану врачом. Я буду жизни спасать.

А свою жизнь слабо спасти? Ни жены. Ни детей. Все были и медленно сплыли. С психами и сам станешь психом.

Стайер быстро выкурил дешевую сигарету, ежась у открытой форточки.

Вышел в коридор. Нашел Анну Ивановну. Она сидела на кушетке около сестринской. Улыбалась, как всегда.

– Анна Ивановна, – сказал Стайер тусклым, как старое зеркало, голосом, в котором отразилось сразу много жизней, – идемте ко мне жить? Вы мне за маму будете.

Анна Ивановна спокойно сидела, опустив натруженные, венозные руки на колени, и молча, беззубо улыбалась.

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ

Москва надвигалась, наплывала каменными волнами. Среди камня там и сям вспыхивали и гасли огни. Я чувствовала себя поездом, разрезающим надвое каменный пирог. По обе стороны состава – враги. Они тоже каменные. По левую руку дом, по правую – мост. А там метро, и в нем можно утонуть. Оно без берегов и без дна. Бездна.

Москва вбирала, всасывала меня, крутила, маленькую людскую щепку. Нет жизни без Москвы, наивно думала я, ведь здесь средоточие всего. Чего – всего? Трудно плыть в людском море, а каждую ночь оно превращается в каменные валы. Валы вздымаются, молча и безжалостно. Москва слезам не верит, беззвучно повторяла я, но и улыбка она тоже не верит. Она не верит ничему. Зачем Москве нищая поэтка?

Я молча и одиноко сидела в ресторане Дома литераторов за столиком, и мой обед – вот он, кофе и булочка. Как в старом анекдоте про Расула Гамзатова: адын кофе и адын булочка. Круглая маленькая булочка за пятак. А народ тут роскошно заказывает лангеты, жульены, черную икру в странных гнутых вазочках. А еще тарталетки. С паштетом и красной икрой. Тарталья, каналья!

Взгляд на часы. На последнюю электричку с Курского вокзала еще успею.

Куда успею? В Железнодорожный. А проще, в Железку. Железка, в девятнадцатом веке – станция Обираловка, именно там Анна Каренина бросилась под поезд. Вот где я живу. Однокомнатная квартирешка моей родни. Платить только за коммунальные услуги, свет-газ-воду-площадь. Это роскошно, это божеская милость. Народ в Москве

квартиры снимает за черт знает сколько долларов в месяц. А я! Обираловская девка!

Пьяный поэт за соседним столиком качнулся ко мне. Куда вы, прекрасное создание? Домой. О! Возьмите меня с собой. Перебьетесь. Да я шас... да я тут всю посуду! Из-за тебя! Перебью!

Я бежала вон из орехового старинного зала, где на каждом столе горела настольная лампа с оранжевым абажуром, где писатели ели и пили, богатые и знаменитые прозаики, а бедные поэты присаживались к ним за столики и угощались на дармовщинку. Москва, вечный бег, и ты никогда и ничего не успеваешь. А завтра тебе на работу. Ты тут одинока. Но в другом городе у тебя старая мать и маленький сын. Цены растут, а живых надо кормить. Мама! Коля! Не переживайте. Я же устроилась работать. В отличный журнал, называется «Арт-панорама». Там надо писать статьи про художников. Мама, твой муж и мой отец, он же был художником, прекрасным художником, а я так хорошо знаю историю живописи, и в современной разбираюсь, мне сам Бог велел в таком журнале работать! Ты не бойся, я много денег заработаю!

Я маме не говорила, что я еще, кроме журнала, работаю дворником. И по вечерам убираю грязь и мусор после ярмарки в Столешниковом переулке. Ящики, бумаги, газеты, окурки. Я сама немного курила. Я сама швыряла окурки в грязь.

«Я стояла коленями в шоколадной грязи... Я была поколением, что лишь: Боже, спаси...» – твердила я холодными губами, на ветру, под сырым снегом, под ледяным дождем. Что это: январь? Ноябрь? Февраль? В Москве всегда зима. Москва и зима – почти рифма. Еще немного, и рифма. Но мы и без нее, проклятой, обойдемся.

Одиночество – с чем оно рифмуется? Совсем недавно я рассталась с человеком, что выжал меня, как тряпку, и кинул в снег, как окуроч. Три года ужаса и ожидания. Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство? Ой, нет! Нет-нет! Быть женщиной, думала я, летя как молния на Курский вокзал под светом диких фонарей, это повинность, оброк, обряд, а женщина – живой ясак, живая дань.

Приходит владыка, мужчина, и властно дань собирает. А потом сжирает, что можно сожрать, обсасывает косточки, плюет их наземь, себе под ноги, раздавливает грязным сапогом и уходит.

Так и я жила, и главное тут было – не роптать. Чуть возропщешь – и все, кранты. Отчаяние загрызало, перерезало зубами глотку, и чудилось, по щекам не слезы текут, а кровь. А с виду, с виду-то как хороша! В платке с розами и метельными кистями однажды бежала проходным двором. Голос услышала, пущенный в спину, как крепкий снежок: «Эх, а девка-то какая красивая!» Кому эта чертова красота нужна, злобно думала я. Да никому. И мне – в первую очередь.

Вот и Курский, и электричка на путях. Еще стоит. Скорей! Поехала. Мне двери раскрыл, отжал крепкий парень. Сам впрыгнул за мной. Я – от него бежать по вагонам, а они пустые; а кто знает, что у парня на уме? «Да стой, куда ты! Поговорить хочу!» Сажусь. Он – напротив. Говорим. Сейчас уж не помню, о чем.

И под черной тоской, под полночною мглой... говорят, говорят, говорят – всей душой...

Так я училась не бояться людей. Хотя, видимо, мне просто везло. В последних электричках и убивали, и насиловали.

А вот и Железкин вокзал, ну пока, попутчик! Слава богу, он не здесь выходит, он до Купавны. Великий путь «Москва – Петушки», и бессмертный Веничка Ерофеев на губах, на языке: «Серп и Молот – Карачарово. И немедленно выпил...». Двенадцать ночи! Беги, несчастный нищий кролик! Беги изо всех сил! Милиции нет. Спит она в столь поздний час. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Финдлей... Ступай домой! Все спят у нас! Не все, сказал... Финдлей...

Я бежала и читала наизусть все веселые стихи, какие знала. Шарахалась от всякой тени. Вздрагивала на стук в подворотне. Жадно глядела на горящие окна: вот здесь не спят! И здесь не спят! Если нападут – и заору – может, высунутся из окна!

Вот опять окно... где опять не спят... может, пьют вино... может, так сидят... нет, это не надо, это грустное...

Ловлю ртом воздух. Вот и дом. Хрущевская серая пяти-этажка, чудовищная мышь. Пятый этаж. И в подъезде может кто-то страшный стоять. Нет. Здесь уже уютно. Пахнет чьей-то едой из дверей: печеным, жареным. Тушеной капустой. Пирогоми.

Пирогоми... и блинами... и сушеными грибами... как там?... долго, долго крокодил... море синее тушил...

Ключ лязгает в замке. Все. Добежала.

Сбросить сапоги. Скинуть старую шубейку. Размотать теплый шарф. Мама вязала. Поглядеть на руки в мозолях: от лома, от дворницкой лопаты. Они все думают – я поэт! Нет, я дворник. И за мою работу мне платят – деньги! И я – горжусь ею!

Моя нищая квартира. Колченогий диван. Старый стол, укрытый клетчатой клеенкой. Книги на подоконнике. Тумбочка, в ней – белье. Кухня, газовая плита, маленький старый холодильник, не холодит – барахлит. Зимой еду вывешиваю в сетке за форточку. Так, сетку из-за форточки добыть; а что в ней? За день уж забыла. Ага, пельмени. Самые дешевые и самые невкусные.

Вода в кастрюльке кипит. Это музыка. Есть брусок золотого масла. Это живопись. Есть – это танец, это сияющая радость. Кто же ночью ест? А голод не тетка.

Гудит газовая колонка. Принимаю душ. Глажу себя мочалкой по голому мокрому телу. Что такое тело человека? Тебя, тело, никакой душе не понять. Нам никогда не понять, кто мы есть такие. И зачем мы – это мы. Мужчины и женщины. И зачем мы встречаемся и расстаемся.

Сидя в старом застиранном халатишке на диване, слушая пенье ржавых пружин, я думаю о своей никому не нужной жизни.

Мама стареет. Сынок растет. Скоро я их увижу. Скоро весна, и по весне я поеду в родной город. И что? Приеду и уеду. И все закрутится снова. Грязная ярмарка. Писатели и редакции. Последняя электричка. Страх и ужас. И эти слезы уже надоели. И это одиночество уже поперек горла.

Странно, опасно и дико подумалось о том, что вот были поэты, и они, доведенные до отчаянья, не захо-

тели жить. Наложить на себя руки ведь очень просто. Джек Лондон! Рюноске Акутагава! Вирджиния Вулф! Александр Фадеев! Эрнест Хемингуэй! А Гоголь, Николай Васильевич? А Марина Ивановна? Боже мой, Боже. И сколько их! Никаким писателем в стане самоубийц быть не захочешь.

Что ты себе хочешь этим сказать, Лена? А ничего. Ничего не хочу! Я нарочно. Я просто так!

А может, ты с ума сходишь? Здесь, в пустой квартире, одна?

Сама с собой разговариваешь.

Не дай мне бог сойти с ума... нет, легче посох и сума... нет, легче труд и глад...

Труд и глад у меня уже есть. Посох и сума – интересно, надо подумать. За юродивую примут.

Нет, по миру не пойду. Мне и юродивой Москвы хватит. Выше крыши. На всю жизнь наемся.

Итак. Итоги. Нищая. Голодная. Одна. Страна рушится. Ветер гуляет. Зима. Мороз. Ни зги не видно. Фонари погасли. Это два часа ночи. Моя жизнь молодая. Она еще молодая и светлая, а я живу на дне кастрюли. На дне железкиной кастрюльки с тремя тошнотворными пельменями из мяса кошек и собак.

С кухонной стены на меня смотрела фотография хозяйкиной усопшей кошки. Фотография заляпана жиром, нос кошки выпачкан, лоснится: может, несмышленное дитя ее так пыталось посмертно кормить.

Я вышла из кухни в комнату. В окне виднелись ребра балкона. За балконом тускло переливалась Железка. Каменная жизнь, каменные столбы и стелы. Железная арматура, железные рельсы. Дома и люди в них. Тысячи людей. Миллионы. И – ни одного родного. Ни одного – моего.

Слезы, не надо, ну пожалуйста! Не подступайте!

Поздно. Уже все мокрое лицо. В молодости и плачешь горше, и проклинаешь жесточе.

Я вела глазами, сквозь линзы слез, по стенам нищего жилья. Угловое бра. Вышивка, съеденная молью. Градусник. Мещанская мордочка в рамке с виньетками.

Икона. Стоп. Икона.

Богородица Донская.

Я сама ее купила.

Софринская, дешевенькая иконка, да просто бумажная репродукция, аккуратно наклеенная на дощатую плашку. Чуть золотистый фон. Темный гиматий Божией Матери, отороченный яркой зеленой полосой. Красивые краски. Младенец на Ее руках смотрит печально и пронзительно. И вдруг Его глаза остановились на мне.

Впечатались в меня.

Она глядела чуть вбок и вниз, а Он вроде бы, миг назад, глядел на Нее – и Его глаза медленно повернулись в глазницах, и да, Он смотрел на меня. На меня!

Нет, это просто слезы, они мешают глядеть. Зрачки мне врут. Я близорукая! Я не...

«Молись, – медленно произнес нежный голос внутри меня, – молись, это одно тебе остается».

И я медленно, медленно опустила перед иконой Донской Богоматери на колени.

Молитва. Вылепить губами слова. Я не знаю канонических молитв. Значит, вылепить сердцем. Ох, нет, я помню. Я вспомнила. Отче наш. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... Богородице Дево, радуйся!

Я замерзшей, слишком твердой рукой перекрестилась. Рука плохо двигалась, как сломанная. Было больно. Пальцы свело. Губы дрожали.

– Благодатная Марие... Господь с Тобою...

Так же медленно я наклонилась к полу. Ближе, ближе. Лоб пола коснулся. Потом грудь.

Потом я легла на пол. Грудью, животом.

И так лежала. Без движения. Без слов.

Губы снова зашевелились:

– Благословенна Ты в женах! И благословен... плод... чрева Твоего...

Я не боялась забыть. Молитва была слишком короткая. Короткая, как колыбельный стих. Как «я тебя люблю». Как перед смертью: мама!

– Яко Спаса родила... еси душ наших!

И все?

И все.

Нет, не все! Не все!

Лежала на полу. Доски холодили живот под тонким халатом. Пахло пельменями и нафталином. Я понимала: встать сейчас так просто я не могу. И не смогу. И не надо.

Надо – лежать, распростершись. Надо – просить.

Просить! Чего? О чем?

Под ладонями плыл пол. Я лежала на деревянной льдине, и она несла, уносила меня туда, куда я совсем не собиралась плыть. В мое будущее. А может, в мое давнее, забытое прошлое. И оно наплывало, и я устремлялась, летела. Утлая квартирешка летела вместе со мной, несла меня в брюхе, как наивного Иону. Войны, миры! Руины стран! Время бомбит наши дома, и они падают, обваливаются, истончаются, обращаются в пыль и пепел. Но я-то живая! Еще живая! Быстрее, живая, проси! Проси у Богородицы своей сейчас всего, всего! Всего, что сможешь! А Ей что посулить? Ей – жизнь отдать! Посвятить! Подарить...

– Милая Богородица... душенька, голубушка... Пожалуйста, пошли мне... художника!.. такого доброго, светлого... как мой папа... такого же талантливого... Художника!.. и чтобы он полюбил меня. А я полюбила его. И сделала для него все, все, все! Все... Все в жизни... Сделала ему... судьбу... Помогала ему... во всем... За его бы плечом стояла!.. когда он картины будет писать... за мольбертом... И чтобы я его, его понимала, как никто... Чтобы всю свою любовь – ему одному отдала! И чтобы мы прошли по жизни рядом.. вместе... рука в руке... всю жизнь – насквозь... до конца. До конца! Слышишь, моя милая, моя родная! До конца!

Она – слышала.

– Пусть так будет... Пошли мне это счастье! У меня ведь никогда, никогда не было его. Такого счастья. У меня было горе, много горя. Я понимаю, что роптать не надо, я и за горе Тебя благодарю! Но если рядом со мной будет человек... художник... Почему художник? Потому что художник – человек! Именно художник и есть человек! Но

ведь... всякий человек – художник... Я уже запуталась! Но, милая, любимая моя, нежная, вечная! Божия Матерь, чистая, великая! Матушка наша общая! Мать наша! Как это?..

Я вспоминала вслух. Я же пела в церкви. Я же в храм ходила – стыдясь, вставала на колени, на истоптанные каменные плиты, перед иконой; перед Твоей иконой, Богородица.

– Честнейшую Херувим... и славнейшую без сравнения Серафим... без истления Бога Слова рождшую... сущую Богородицу... Тя величаем...

Я лежала на полу и пела «Честнейшую». Пела, как могла. Лицо мокрое. Слезы текли.

Шепот обжигал губы.

Я шептала и шептала, просила и не могла остановиться.

Ночи было мало.

– Возьми мое одиночество! Возьми мою жизнь, мои силы! Буду Тебе служить. Верой и правдой! Я пишу, я чувствую слово... Бога Слова, так ведь?.. Я воспою Тебя. Я дорасту, доживу до этого! Сейчас, милая, я еще не могу. Сейчас... еще душа не готова! Сердце еще... слабое... Но пройдет ведь время! И окрепну... и я тоже... напишу... как они... кто Тебя пел... кто Тебя любил... там, далеко...

Века сгущались и клубились над моим затылком. Я спиной чувствовала их холод, потом их неуголненный жар.

Я шептала, бормотала еще долго. Слова перестали выглядеть словами. Они стали дыханием, рыданием. Одним выдохом. Потом молчанием. Текли и пылали внутри.

Так я лежала на полу еще долго. Пока не замерзла. Пока ноги, руки не застыли.

Из незаклеенной на зиму полосками бумаги балконной двери дуло. Я задремала на полу. Очнулась. Перебралась на диван. Укрылась одеялом. Корчилась. Стучала зубами. Сжимала руки в кулаки. Поверх одеяла лежала старая, может, еще тридцатых годов, шуба; из дырявой подкладки вылезали клочья ваты. Я накидывала ее поверх одеяла, для тепла.

Под одеялом и шубенкой я согрелась и уже уснула по-настоящему.

В шесть утра прозвенел будильник.

Вот мое утро и вот редакция «Арт-панорамы». Редакция – это мастерская художника Игоря Снегура на Старом Арбате. Этот журнал придумал он сам и издавал его сам, на деньги от продажи работ. У Игоря работы покупали в посольствах и за границей. У него жена Таня моложе его на сорок лет. У него на столе ликеры, коньяки, блинчики с ветчиной, виноград: так отмечается начало рабочего дня. Редакция – это Игорь, Танечка и я. И мы сначала едим и пьем, а потом готовим новый номер.

– Леночка, а что ты такая печальная? Не выпалась? И черные круги под глазами. Непорядок! Ночью надо спать. – Танечке подмигнул. – Или – не надо! На выбор. Девочки, девочки! Не забудьте, сегодня выставка в Дворянском собрании! Вы идите, а я не пойду. У меня дела. Леночка, а ты после выставки куда? Ведь поздно закончится. Там фуршет! И вкусный, между прочим. У дворян всегда все вкусное. Может, к нам? А, я и забыл! Тебя везут к Наталье Баженовой в Дом художника, в Химки! Ну валяй, валяй. У всех гениев – для журнала – стоящие материалы собери! Только не упейся там. Ой, что это я! Прости старого дурака. Я все думаю, что ты художник и мужик. На тебе конвертик! Зарплата сегодня! А ты и забыла!

Я взяла из рук Снегура конверт и чуть не заплакала от радости.

Как прошел день, не помню. Помню дымы Москвы, хрусткий снег, черный лед; бегаю, скольжу, на льду чуть не падаю. Метро дышит тепло и вонюче. На ветках нежный иней. Вокруг ног поземка. Да, это февраль. Достать чернил и плакать. А может, смеяться во весь голос.

Сегодня после ярмарки в Столешниковом я попросила поработать вместо меня свою подругу Иру Колчину. Бело-брыся молчаливая Ира, родом из Калуги, кивнула покорно. Она ждала ребенка неизвестно от кого. Ждала и ждала. Срок маленький был, она еще могла держать в руках метлу и лопату.

А вечер? Вот он и вечер. И как хорошо, что я предусмотрительно надела темно-вишневое бархатное платье! И туфельки в сумку засунула. Теперь буду при полном параде в этом Дворянском собрании. Светская жизнь. Лена, ты сегодня не дворничиха, а светская львица! Сплошные художники, сплошные картины. И на столах, наверное, яства и бокалы с шампанским. Красота! Я знаю, в Москве есть люди, которые тщательно и внимательно составляют расписание открытий, вечеров и презентаций, и ходят по ним, чтобы пообедать и поужинать. Потому что на иных торжествах подают не только вина и сладкое, но и горячее: мясо с грибами, бифштексы, куриные ляжки.

Вот он и дом. Метель метет. Колонны сквозь снег перламутром светятся. Дворяне, ваше Собрание! А я тут кто такая? Однако войду и по лестнице мраморной поднимусь. И сделаю вид, что я тут своя в доску. Ого, народу! За народом картин не видно. Вот так картины! Как у меня отец мой, художник, говаривал когда-то, без пол-литра не поймешь. А я уже – понимаю! И даже все рассказать про них могу, про картины. Про современное искусство. Тому, кто не понимает.

Люстры горят! Отяжелели от мощного света, вот-вот упадут! И мне на голову. Живопись – над головами! Знаменами летит! У нас знамя уже не красное. Уже другого цвета. Залы, паркет, огни. Обнаженные шеи и плечи. Все как в прошлом. А может, это и есть прошлое? Нет, лица-то настоящие. Среди красивых человеческих глаз и ярких улыбок нет-нет да и мелькнет свиная харя. А что вы тут делаете, добрые люди?

Свиньи, псы, крокодилы. Они тут тоже есть. Ходят по залам, смотрят поверх очков. Очковые кобры ползут, утянутые в шелк. Я знаю, здесь, на вернисажах, делаются дела: совершаются сделки, заключаются договоры. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет? Здесь деньгами пахнет, а не Русью. Деньгами и счетами.

Благородное лицо! Вот ты. Ты проплыло мимо и улыбнулось мне. Именно мне! И я улыбаюсь в ответ.

Затылки, профили, изящество рук. А вот руки совсем не изящные: короткопалые, хитрые, наглые. Зеркало души – не глаза, а руки. Глаза могут солгать. Руки – никогда.

Танечка Снегур машет мне нежной тонкой рукой через тучи лиц и голов. Леночка, я тут! Я тут, Танечка, тоже! Показывает жестами: я похожу, поброжу. Я жестами в ответ: я тоже осмотрюсь!

И осматриваюсь. И вижу: прямо на меня из блеска шумящего зала плывет пышногрудый корабль, и он обтянут синим бархатом. Маргарита Федорова! Великая пианистка! Московская консерватория! Моя профессорша! Вот чудеса!

– Маргарита Алексеевна!

Машу руками. Протискиваюсь сквозь нарядную толпу.

Маргаритины брови ползут вверх. В мочке уха вспыхивает жемчужина. Верхняя губа с заметными усиками дрожит и вздергивается: так она улыбается.

– А! Елена! Ты тут какими судьбами?

– Да вот, да я... Я сейчас в редакции «Арт-панорамы» работаю!

– Ясно. А музыку – забросила?

Брови свела сурово, по-бетховенски.

– Нет, нет, нет! Ни в коем случае!

– Врешь ты все. Стишками, дура, занялась! Зачем тебе марать бумагу! Музыка – вот высшее из искусств!

Поднимает руки кверху. Она похожа на Иакова, борющегося с Богом на гравюре Гюстава Доре.

Мы обе садимся на кушетку в центре зала. Маргарита в синем бархате, я в вишневом, цвета вина кагора. Сидим. То говорим, то молчим: гул зала перекрывает наши голоса. На груди у Маргариты горит жемчужная слезка. Такие Рембрандт на груди Саскии писал. А брови у нее еще больше утолстились. Такие мощные, густые. Мужские. И кулак маленький, женский, а сжимается слишком крепко, по-мужски.

Так она и играет, так и Бетховена, и Шопена, и Скрябина исполняет: то нежно, то мощно.

Сила и нежность. Воля и милость. Так она нас всегда учила.

Маргарита смотрит беспечно, лукаво.

– Тебе эта живопись нравится?

Презрительно кивает на картины.

– Нравится.

Я стараюсь быть честной.

– Ха! Ха! А вот мне – нет. Я люблю Тициана! Веласкеса! Рембрандта! А этих – нет, увольте.

Так мы сидим и беседуем.

Мимо нас идут люди. На нас смотрят люди.

И я еще не знаю, кто на меня смотрит из-за плеч и голов, из-за холста, из-за угла.

Люстры пылают. Щеки пылают. Художник-гном с ярко-рыжей бородой разносит на подносе бокалы с шампанским и тонкостенные, изящные стаканы с вином. На столах – еда. Снегур не соврал, вкусная. Я всегда стыжусь есть на фуршетах, хотя очень хочу. Хочу быть такой же раскованной и свободной, и грациозной, и чуть презрительной, и смеющейся, и летящей, как все они. И чтобы брильянты на шее сверкали.

Ты правда этого хочешь? Так сильно этого хочешь?

Нет. Я нисколько этого не хочу. Так, придуряюсь.

Маргарита растворяется, как жемчужина в бокале с вином. Я еще иду, еще дышу толпой, ее духами, винным запахом ее губ. Художники пьянеют, их гости тоже. А где же тут дворяне? А тут теперь уже все дворяне. Все благородно улыбаются, благородно подают друг другу руки, благородно хотят танцевать. Поздний час на дворе! А я сегодня в постылую Железку не еду, ура! Меня сегодня везут... везут...

Куда меня везут? Ах да, в Химки!

А где же тут Наталья Баженова? А вдруг тут нет ее?

Кидаюсь к рыжебородому. Он опрокидывает в мохнатую пасть бокал шампанского.

– Скажите, а вы Наталью Баженову не знаете?

– Наташку-то? – Рыжий Пан отнимает бокал ото рта. Утирает ладонью усы. – А вон она, родимая! А рядом с ней Танька Родина! Моя! Я скажу: не надо Раю, дайте Родину мою!

Наталья ниже меня ростом. Она хромает. Она в брюках. Ей кажется, брюки скрывают хромоту. У нее глаза плутовки, они похожи на темные, в разноцветных гало,

глазки на крыльях махаона. У нее французистая челка и зубы как у зайца. Я слышу, как горячо бьется ее сердце. А может, я просто вижу это под ее прозрачной кружевной кофточкой.

– Ага, вы Елена Крюкова из «Арт-панорамы»! Снегура уважаю. Вы тут все ели и пили? Точно все? Если голодны – я вас дома накормлю! Мы для художников три машины заказали!

Вниз по мраморной лестнице, вниз. За мной катится перекати-поле, живой шар, рыжий, черный, седой, бородастый. Художники. Они все – моя родина и моя родня. Я выросла в мастерских, пила пинен, спала на подрамниках и укрывалась холстами. Старая детская шутка. Я ее сама сочинила. Сейчас.

А на улице метель! Забивает нос, рот. Щеки в ожогах снега. Мороз вывездил волосы, ресницы. Я тру мраморный нос варежкой.

– В эту, в эту машину садитесь, да-да, в эту!

Я открываю дверь. В такси человек восемь. Кажется, они сидят друг на друге. И дико, во весь голос, хохочут. Нет, мне не сюда! Из машины вываливается пьяный художник. Нет-нет, вам именно сюда! А я пешком пойду! Обо мне не заботьтесь! Он втискивает меня на сиденье и утрамбовывает ногой, как громоздкий багаж.

– Ой!

– В тесноте, да не в обиде! Ямщик, трогай!

Дверца хлопает. Я сижу, почти раздавленная. Слева вот очень горячо. Кошусь. Человек. Мужчина. Художник. Бородастый. В мохнатой ушанке. В очках. Очки запотели. Он не может их снять и протереть. Тесно. Он улыбается и робко смотрит на меня сквозь слепые запотелые стекла.

Первой спрашиваю я.

– А вы художник?

– Ну.

– Вы тоже к Наташе Баженовой в Химки?

– Ну.

– В Дом художника?

– Ну.

«Ну» вместо «да».

– Вы из Сибири?

– Ну. Из Сибири. Из Красноярска.

– Я тоже жила в Сибири!

– Где?

– В Иркутске.

– Рядом. Счастливая. Байкал там.

– Да. Я ездила на Байкал каждый выходной.

Молчим. Пьяные художники галдят, поют и травят анекдоты. Такси катит по Москве, по ее шоссе и мостам. Летит над ее реками и каналами. Над грохотом, ревом, снегом и тишиной.

У меня чувство, что мы с этим человеком муж и жена. И что мы уже лет двадцать, а может, пятьдесят прожили вместе. Мы старые супруги и мы возвращаемся домой с гулянки. От друзей. От родных. К себе домой.

– А вас как зовут?

– Владимир. А вас?

– Елена.

– Очень приятно.

– Очень.

– Скоро приедем.

– Да, скоро. Уже «Речной вокзал» проехали.

Метель обкручивала нашу железную повозку.

...еще все книги напишутся потом. При тебе. Еще все стихи – потом. При тебе. Еще все ошибки, заблуждения, праздники и отчаяния – при тебе. С тобой.

...еще все картины твои – при мне. Еще все пьянки твои и грандиозные выставки – при мне. Еще вся верность твоя, вся любовь твоя – при мне. Навсегда.

...еще все карнавалы наши, все бархатные береты и шляпы с перьями, все жемчуга и рубины, все танцы-обниманцы в старых захламленных мастерских, все велосипеды и грибы в лесах, все дома, что будем покупать и строить, все чужие реки под чужими ажурными мостами – Сена, Влтава, Эльба, Рона, Луара, Гудзон... все музеи мира и все его трущобы, все пустыни мира и все его пирамиды...

...еще наше венчание в старой деревенской церкви, и мое белое платье из марлевки, и полевые цветы у тебя в загорелых руках...

...еще дети наши...

...приехали! Художнички, кончай ночевать! Станция Березай, кому надо, вылезай!

* * *

— Володя, а что ты чувствовал, когда трясся рядом со мной в том битком набитом такси?

— Все чувствовал. Все, что надо.

— А ты меня первым увидел или я тебя первая?

— Я тебя. Ты и не глядела в мою сторону.

— А это где?

— А на пуфике этом в Дворянском собрании. Ты сидела рядом с такой представительной дамой в синем бархатном платье, с жемчугами в ушах. Вы беседовали. Я глядел жадно и печально. И думал: вот дворянки! Недосыгаемые. Никогда мне до них не достягнуть! Я, простой сибирский мужик, ужурский парень, граница Хакасии и Красноярского края, медленный таежный медведь, а тут дворянки! На пуфике! В жемчугах! Умереть не встать. А только мечтать.

— И ты возмечтал?

— Я? Да. Я хотел всех растолкать и подойти к тебе.

— А что ж не растолкал?

— Постеснялся. А ты меня как узнала? Тогда, в машине, тоже сразу?

— Раньше.

— Как это раньше?

— Я тебя вымолила. У Богородицы.

— Как это вымолила?

— Так. Просто. Молилась, лежа на полу, всю ночь.

— А как ты молилась? Просила: Божья Матерь, дай мне, дай Володю?

— Не скажу.

— Но ведь и я о тебе молился.

— А как?

– А вот так. Поехал я на Столбы. Забрался на столб один, Дед его у нас зовут. И смотрю вниз, на тайгу. И думаю: сигану-ка я вниз, до того устал от одиночества. Хотя и жена была, и другие женщины были. Все было, а родной души не было. Подумал: сброшусь! – и напугался. Грех это, подумал. Толком не знал, что такое грех. Чувствовал. Я тогда некрещеный был.

– Это я тебя потом окрестила.

– Да. Это ты. Все ты. Всегда – ты.

– И ты.

Одиночества нет. Горя нет. Боли нет. Беды нет. Обмана нет. Притворства нет. Тьмы нет.

Есть только свет. Только любовь.

Богородица, Ты сотворила мне все мгновенно. Я и ахнуть не успела. Я на всю жизнь запомню колонны Дворянского собрания и белокошую метель, и визг машинных тормозов, и змеиную поземку, обвивающую мои ноги в стареньких сапогах. Я запомню то старое концертное бархатное платье и насупленные брови Маргариты, и тусклый блеск жемчуга в ее мочке. Мы сидим на кушетке посреди шумного зала, и я еще одна. Я еще без тебя. Тебя еще нет. Ты невидим. Ты, моя судьба, еще смотришь на меня из-за толстого золоченого тяжелого багета, из-за холста, из-за угла. Из-за снегов и метелей. Из-за Енисея и Урала. Через все степи, ледяные реки и ледяные годы. И я тебя еще не вижу. Я тебя слышу. Я тебя предчувствую. Я тебя чувствую. Я тебя знаю. Я тебя люблю.

Марина МАРЕНИНА

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ

Яблочки в саду у Федора Елизарова всегда хороши зреют – нет таких ни у кого во всей Ивановке, ни в окрестных деревнях. Еще Федоров отец привез когда-то с большой Нижегородской ярмарки несколько саженцев, и славно прижились они на богатом ивановском черноземе. Само яблочко невелико, зато какое сладкое, духовитое – словно медком потягивает. А надкусишь, так и брызнет во все стороны – на лицо, на одежду, на руки, – и разнесется вокруг пряный медовый дух. А глянешь на солнце – просветятся сквозь тонкую золотистую кожуру и спелую золотистую мякоть веселые золотистые семечки. И все-то деревцо играет на свету желтыми плодами-фонариками, не дает покоя деревенским ребятишкам.

Но у Федора строго заведено. Собирать яблочки как полагается, на Спас. Хоть и невелики в Ивановке модельщики да и церковь уж сколько годов закрытой стоит, но яблочков до Спаса не едят – грешно оно. Зато как раз к празднику поспевают они, наливаются, и разговляются Федоровыми яблоками все от мала до велика. Хрустят, весело утирая душистую мякоть ладонью, да приговаривают себе: «А знатные у тебя, Елизаров, яблочки-то – райские прямо». А потому, что к празднику – будто святые.

А на то что церкви нынешняя власть позакрывала, на то Федору роптать недосуг. Бог-то – Он в душе у каждого да в делах добрых. А добрые дела для земледельца – в его

умелых руках да в его разумении. Работай, знай, – и всего в доме будет в достатке. Каждый год Елизаров и сам с хлебом, и в кооперацию, сколько причитается, сдает. Еще и по хозяйству, что потребно, на целый год прикупит – мыла, спичек, керосину, соли-сахару и что там еще. Куры, яички, молочко от коровки-кормилицы – свое. И огородик, и сад с яблонями, сливами и смородиной. И даже ульев с десяток на заднем дворе имеется под липовой аллейкой, где каждая – в обхват. Летают-кружатся над ними деловитые пчелки, пожужживают, несут в общий котел тяжелые взятки, и совсем уж скоро будет Федор качать тягучий янтарный мед да утирать с ухмылистой русой бороды клейкие медовые бронзовинки.

И еще Федорова гордость – его лошадки. Табун не табун, а с полдюжины гнеденьких крепких кобылок да жеребчик ладный, хоть и норовистый, «кыргыз». Не раз торговали его у Федора татары из соседних сел, большие деньги сулили, да не купился – изведут под горячую руку скотинку, а у них чуть что – на колбасу. А Федор на свою зверюгу зазря и вожжой не замахнет, не зря и в святых книгах сказано: блажен, иже и скоты милует!

И так все у Федора – с Божьим словом да добром к дому. Отца-матери благословение, образа в серебряных ризах, уставлены в переднем углу под шитым красными крестами рушником. Там же и свечи их с Аннушкой венчальные, чтобы в гроб положить, и вербы и березки, на Лазаря и Троицу кропленные. Всегда на Масляной пекутся у них в доме жирные пшеничные блины с горячим коровьим маслом, в Великий пост – хрустящие «жаворонки» с черничными глазками, а уж к Пасхе, само-собою, – сладкие ватрушки с творогом. И шумно собирается за гостеприимным елизаровским столом вся окрестная, по-нижегородски «окоющая», говорливая родня.

Одного только недостает у Федора – сыновей. Так уж вышло, что все они помирали младенчиками, и годка не прожив. Вздыхали Федор с Аннушкой, вернувшись в другой раз с кладбища, и продолжали жить дальше. Зато девчонок у них – целый пяток! И все бойкие, работающие, за пустым делом никогда не застанешь – то у печи крутятся,

то в огороде, то со скотиной управляются. Звали Федора в коммуны – как уж ты там один со своими девками управляешься, хозяйства много, а руки-то две всего – не пошел. Хоть и в помощники никогда не брал никого. Что же и не работать, коли земля своя. Руки у Федора хваткие, шуруются на солнце искорками-голубинками глаз – что наперво справить, не на потом сгодить. Все может, все умеет – и плуг его рукам послушен, и топорик с рубанком, и шило сапожное, и всю-то мебель любую в доме своем Федор сам смастерил.

А старшие даром, что девчонки, а во всем Федору помощницы. Сено косить-ворочать, снопы жать, огород вскопать, урожай убрать и дров напилить-наколоть – все умеют. А любимица отцова – Дунюшка, Евдокия, и в ночное с лошадами ходит. Слушаются Дуняшу лошади, даже и норовистый «кыргыз». Заартачится, бывало, что не по его, упрется задними ногами, ни за что в узду не дается. Та к нему близенько подойдет и в глаза только пристально посмотрит – тот и засмиреет. Федор ей только:

– Тебя, Дунь, и сам сатана, не то, что жеребец запугает-ся, как ты на него глазами-то!

– А что, если потреба, то и его спугнем!

Все девчушки елизаровские невелички, росточком нерослы, да ловки, волос русый, глаза – точно небо майское. А Дуня среди них – жаворонок. Во всем всегда первая, быстрая, заводила непоседливая. Только что отцу помогала кобылку в телегу впрягать, а глядишь – вперед сестер к реке несется, и мелькают в глазах Федора пять светлых косичек. Смотрит он на них и улыбается в отливающую медью бороду: «Яблочки-то вы мои, райские».

* * *

Дивные дела вокруг творятся. Был Ондрюшка Куроч – «порты вклуч» – последняя в Ивановке босота. Отец в германскую в солдатах сгинул, мать батрачит, сыночка Ондрюшечку – последнюю радость – пестует, а Куроч

водку пьет да по деревне с такими же, как сам, приятелями болтается – Сенькой Косым да Гешкой Щепкой. Едет мужик на подводе – они за ним: «Дай Бог здоровьица». Мужику с этакой рванью и разговаривать недосуг, едет – молчит. Куроч ему сзади по спине – хлоп, вроде, в дружбу, а сам соплю привесит. Мужик отмахивается – ступай, мол, куда шел – и дальше движение продолжает. Сопля на спине болтается, Сенька с Гешкой ржут, а Куроч скалится злобно.

А нынче не Куроч, а Ондрей Трофимович Курочев, председателя коммуны помощник. Выдвинули его как наибеднейший элемент. Доволен Куроч – спину гнуть не надо, зато чужим добром вдоволь распоряжается, благо теперь указ вышел – «повсеобщая коллективизация» называется. Всех кулаков-мироедов в двадцать четыре часа из деревни выпроваживать к едрене фене, а скотину, зерно и пожитки – в общий котел. А раз в закромах что имеется – все тот же кулак, разбираться не станем. Баста, пожировали, теперь курочево время пришло. Правда, путевых-то кулаков в Ивановке давно уж повывели, так и другие найдутся, кто в коммуну, например, не согласен, все своим обиходом обойтись надеется, хоть их сапогом туда пинай. И сидят на жирных ивановских черноземах, и ведь как плохо сидят!

Вот и решает Куроч вместе с закадычными своими Сенькой да Гешкой, как бы их с этих черноземов скочырнуть и кого – в первую очередь. Сидят в избе под образами, накурили – лампадка потухла. Курочиха в углу забила, оттуда:

– Ондрюшечка, чай не чадили б в избе...

– Молчи, мать, мы тут не запросто так государские вопросы порешаем.

Только из зеленой бутылки наливают. Вот ведь Елизаров упрямый – не своротишь. Надо его пощупать...

– Пощупаем, Куроч?

– Че на его смотреть. Не щупать надо, а – «в двадцать четыре часа» заводы строить да глину месить. Избаловались, хозяйственные – лошадей поразвели да девок нарастили. Все принцев ждут, гордые...

– А что, – подзуживают неугомонные приятели, – говорят, в коммуне и бабы должны быть общественные. Так мы и девок его – того, коллективизуем.

Знают, подлецы, что таскался Куроч за Дунькой Елизаровой, да дала она ему от ворот поворот, вот и бесится он, скрипит зубами.

* * *

Одно дело – оборванцем ходить, совсем другое – в сапогах новехоньких, у высланных изъятых, чистых портах и рубахе. Трет Куроч рукавом самоварную медь, смотрит – хорош! Пусть хоть и ростом невысок, да в Ивановке верзил и не было никогда. Зато складненький. Сам чернявый, а кожа белая, руки мягкие – работой ненатруженные. А глаза! Что-то туманное было в них, как в вытертом мочалом августовском небе над Ивановкой. Сколько в них не смотри – ничего не вымотришь, ни о каких Курочевых думах не додумаешься. Только мутно сделается, потому долго никто и не смотрит. Куроч доволен – нечего плялиться, – оскалится и сплюнет смачно. На Куроча-оборванца и девки-то никогда не взглядывали, а на председателя помощника всякая глазом поведет. Вышагивает Куроч по деревне, приценивается, которая повкуснее. Елозят за ним Сенька с Гешкой – во всем готовы услужить ради потехи.

Навстречу – Дуняша. Идет от колодца с полными бадьями. «Верная примета», – суетятся прихвостни. Вода – зубы ломит, а кругом воздух от жары как марево движется, мухи одуревшие на шею липнут, липнет пыль ко лбу, набивается в глаза. Дуня бадьи несет – сама лозиночка, а вода не шелохнется, только солнце в ней поигрывает. Гудит у Куроча в голове:

– Напоила бы водицей, Евдокия Федоровна, а то в глазах от жары стемнелось.

– Это у тебя от новых сапог с чужих-то ног стемнелось. Иди-ко сам почерпни, али силы в порты ушли?

У Куроча от злости аж в горле перехватило:

– А пойдем вечером к реке посидим?

– А Куроч нынче тверезый – поди посиди с березой. Думаешь, нынче командиром стал, так и всем приказывать

можешь? Вон, сопливцам своим приказывай, пусть они от тебя у березы комаров отгоняют.

Это при Сеньке-то да при Гешке!

Развернулся Куроч к приятелям, скрипнул только зубами: «Суки, всех вытрясу!» А Дуня пошла и не обернулась даже.

* * *

Качается, качается жара, движется небо, прибывает к земле одуревших мух, обещает грозу. Ильин день скоро, а там – Спасы, а там и урожай. Будет Куроч по деревне ходить – дань собирать, тянуть в колхоз упористых хозяев – указ! Будут сидеть-гадать с ним в темной избе верные дружки, подливать из зеленой бутылки – кто следующий?

Нужен городу хлеб – кормить голодные рабочие рты. Чтобы за пайку строили они железных коней, железных птиц. Нужно и Куроча с компанией кормить. Ссылет он хлеб для города да и сам сыт будет. А хозяев – туда – строить железных зверей, насыпать на гнилых болотах новые версты под заводские корпуса, прокладывать новые дороги, кормить углем ненасытные мартены, зажигать повсюду электричество. Неважно, что завтра не к кому будет Курочу за хлебом прийти, не у кого будет ссыпать, некого отправлять в город на смену замерзшим землекопам, разбившимся с лесов строителям, задавленным, расплюснутым железными зверями. Есть еще сегодня хозяин – и ладно. Сегодня – еще есть, еще будет нынче урожай. Осталось еще, кому посеять и кому собрать. Не Курочу, конечно. И еще выбирает он пока – кто следующий?

* * *

Перед Ильиным днем снился Федору Елизарову сон. Будто едет он на телеге ко Спасу к вечерням кропить яблоки – везет плоды трудов своих на благословение. И будто везет его Гнедка – первая еще его своя кобылка в хозяйстве, им с Аннушкой подарок свадебный. Идет

Гнедка легко, прядает чуткими ушами, ловит в высокой траве стрекот кузнечиков, густо вокруг понабившихся. Едут они, будто, не в свою церковь, а в чужую какую-то деревню через поля. И кругом желтеют-золотятся по одну сторону высокие хлеба, по другую – лен. Небо чисто-высокое, покоится над полями, баюкает, качаются по злакам едва приметные медлительные волны. И так-то сладко-пряно потягивает из набросанной в телеге соломы яблочным духом, что оба – и Федор, и Гнедка – начинают задремывать. Глухо постукивают копытца в мягкую дорожную пыль, ничто не тревожит сонного вокруг колыхания. Изредка перебежит через дорогу пара куропаточек, разбудит Гнедку, веселее встряхнет она ушами, да и Федор взбодрится – вынет из соломки медовитое яблоко, посмотрит, как играют-радуются внутри темные косточки, и глубоко вдохнет тонкий-тонкий медовый восковой дух.

Но что это? Издали видит Федор: движется будто на него прямо в чистой небесной глыби, темнеет туча, растет на глазах. Птицы будто? И будто кричат ему, кричат: «Ско-рей! Ско-рей!». Затревожился Федор – торопиться надо, а то не успеет к вечерням. Подобрал распутившиеся вожжи: «Давай, Гнедка!». Встрепенулась та, не ждала и с места дернула телегу. Подскочила телега на кочке, качнулся Федор, и со стуком покатались из-за грядок, из соломки на дорогу терпкие медовые яблочки. Куда? Куда?

* * *

Проснулся Федор в тревоге: все слышится ему, попрыгивают по дороге яблочки. А это – стучат о крыльцо, о скаты тяжелые, еще нечастые дождевые капли. Все гуще стучат, словно трудятся: «Ско-рей! Ско-рей!». Вот и молния засветила, докатила гроза раскатом – Илья, как водится, без грозы не приходит. Вышел Федор на крыльцо – ничего не видать, только стена дождя. Да, нужен дождичек, давно его земля заждалась. Но кажется Федору во всполохах, что ходит кто-то по двору в темноте, не с добром ходит. Постоял-поглядел – ничего не видно.

Дождь и дождь. Пошел Федор дальше спать, да все одно беспокойно ему было.

А наутро, чуть скотину пастухи со дворов согнали, за-
явился к Елизаровым Куроч со своими прихвостнями. За-
шли в избу, грязными сапожищами натопали, Куроч бума-
гу достал.

– Ты, Федор, слыхал, небось, что нонче указано – все-
общая коллективизация?

– Ну, слыхал. Я-то ж не кулак, все сам работаю.

– Сам не сам, а должны теперь все в коммуны идти, что-
бы единоличного вашего духу в помине не осталось. А кто
супротив будет, того насильно заставим по особому к тому
распоряжению. Так как, сам пойдешь, или волоком тебя
волочь? Мы это быстро сыграем.

– Чего я в вашей коммуне не видал, – исподлобья смот-
рит Федор на незваных гостей. Зашевелилась в нем ночная
тревога, снова беспокойно на душе стало. – Вы ж работать
не горазды, лень, матушка, прежде вас родилась. Только б
чужое сгрести. Просрете все как есть.

– Ну-ну, раньше б тебя за такие разговоры шлепнули.
Но мы к тебе пока по-хорошему. До завтра тебе думать –
дольше не дадим.

А что тут Федору думать? Все, что ни делал он до
сих пор, делал любовно. Через руки его любовь переда-
валась семье, земле, скотине, пчелам, даже утвари до-
машней. Каждая курочка брала зерно из его рук, каждая
досочка послушно принимала облик, который он в ней
задумывал, желая дать ей бытие и счастье радоваться
происходящему. Даже косу он отбивал так, что пела она
ему на покосе свою особую, ни с чем не сравнимую пес-
ню. И все для него пело – благодарило, боготворило
Федоровы руки и радостно рожало, возвращало и воз-
давало ему за труд. И в этом-то своем соработничестве
со всем вокруг видел Федор и свою жизнь, и жены, и
детей своих.

А что в коммуне? Чужое все – вчера один попользо-
вался, завтра – другой, а после выкинет как негодное – не
жалко. Рукам – не в радость, а в душе – тоска.

– Нет уж, благодарю. Без меня свой хавос стройте.

– Ну, – скрипит Куроч, – как сам знаешь. В двадцать четыре часа чтоб тебя в Ивановке не было. И девок своих забирай. Высланный ты, кулачье...

Да пусть так! Только бы не видеть Федору, как будут резать безо всякой жалости его скотину, разбрасывая по двору кровавые птичьи перья. Как затощает в колхозном хлеву его коровка и как покроется от грязных рук доярок ее ведерное вымя. Как будут ссыпать в хлюпающие грязной водой ямы золотистое зерно, и как будет оно вымерзать без догляду. Не видеть, как затоскует и откажется вставать норовистый его «кыргыз», и сведут его продать татарам на колбасу. Не видеть только, как скачают в вонючие «общественные» бочки янтарный липовый мед, потопчут вывернутую из ульев вошину, и уже никогда не вылетят новой весной пороиться погибшие и замерзшие за зиму пчелы. И как поселится в липовой аллейке бурьян в человеческий рост. Нет, ничего этого не хочет видеть Федор.

* * *

Знойный сухой августовский день. Утопая в белой пыли дороги распалыми копытами, сонно тянет тяжелую подводку тощая «колхозная» лошаденка, отбиваясь хвостом с жидкой репицей от назойливых оводов и мух. На подводе Федор Елизаров везет на станцию семью, везет пожитки небогатые, что успели собрать «в двадцать четыре часа», образа везет в серебряных ризах – родительское благословение. От станции – по чугунке в город. Заводы строить – выпускать на волю коней железных, железных птиц да рыб. Корабли, самолеты, машины, пушки уже ждут своего часа, ждут Федоровых умелых рук, сметливых глаз, пригляда мужицкого. Федор готов отдать им, что умеет и знает, и – отдаст. И жена его Анна – отдаст, и дочери отдадут – целый пяток. Подрастут, выучатся, разъедутся кто куда – понесет их по далям-городам. Повезут они округлый нижегородский говор в укутанный лесами Брянск, в сырой Ленинград – никто уже не вернется к родным черноземам Ивановки.

Плетется лошадка, грустно тянет нелегкую поклажу. Далеко где-то с чудом устоявшей колокольни доносит тугой звон – к вечерне. Только не разговляются нынче в Ивановке янтарно-прозрачными яблочками – подарком шумливой Нижегородской ярмарки. Некому их растить-собирать, кроме деревенских мальчишек. Провожает деревня Федора звоном, город встречает протяжным гулом.

Постукивает по дороге лошадка, стучат-попрыгивают по земле, рассыпались райские яблочки.

Олег МАКОША

МЫ С ПРОСПЕРО

Мы с Просперо выходили засветло, хотя я до сих пор не знаю, что это такое. Ехали на рынок, точнее шли пешком и тащили сумки, точнее огромные пластиковые пакеты. Рынок импровизированный, на пустыре за сто двадцать восьмой поликлиникой. Там мы с Просперо вытаскивали спрятанные в кустах картонки – коробки то ли от холодильников, то ли от телевизоров, и расстилали их на вытоптанной траве. Сверху разворачивали пленку, которую доставали из первого пакета. А уже на пленку раскладывали товар.

Чего здесь только не было. Точнее здесь было все, что еще сохранилось в наших квартирах. Или было найдено в «наших» мусорных баках. Вазы, треснувшие и целые, стаканы, кружки, вилки, ложки, тарелки и ножи из советского общепита и разрозненных брошенных наборов. Картины в рамках и без, выброшенные фотоальбомы, виниловые пластинки, книги основоположников научного коммунизма и советских классиков. Собрание сочинений Золя. Собрание сочинений Драйзера, что мы почитывали сами, замороженные красотой и размеренностью великосветской английской жизни. Кеды китайские без шнурков, настольный хоккей без фигурок хоккеистов, сетка от пинг-понга и одна ракетка – я принес, мой вклад. Электрический самовар без шнура, шнур отдельно – без вилки, вилка, перегоревшие лампы накаливания, паяльник, припой, сверла и стамеска с деревянной размочаленной рукоятью. Черные б/у зимние джинсы Просперо, исландский свитер с оленем,

связанный бывшей женой Просперо, живущей ныне в Баден-Бадене с мужем-японцем, мой рабочий комбинезон с последнего места работы, рваный на боку, и шахтерский фонарь. Игрушечный деревянный грузовик, саперная лопата, литровая железная фляжка с гномиком, деревянные беговые лыжи – непарные, коньки-«снегурки», воздушный фильтр и бензонасос от шестых «жигулей». Перочинный ножик, кусок алюминиевой проволоки метра четыре, цепочка от советского сливного туалетного бачка с бумбочкой, веревка, которую Просперо называл «капитанской», одна калоша с красным, даже розовым бесстыжим нутром. Пустые бутылки из-под импортных алкогольных напитков, в частности – фляжка от виски «Джонни Уокер» без пробки.

Доставали пару деревянных ящиков и усаживались около. Просперо в классических брюках от костюма и черной застиранной рубашке, на ногах резиновые сапоги, я – в футболке с Джоном Ленноном и китайских широких штанах, обут в кеды.

Почти хорошо.

Тепло, пока безлюдно, нежный ветерок.

Просперо вздыхал – жаждал опохмелиться. Вытирал испарину. Просперо – он вообще открытая книга перемен. Всю жизнь, буквально с детства, хотел быть или писателем, или бомжом, что, конечно, не исключает и того, и другого. Теперь-то он определился.

Я говорил: «Не вздыхай, денег нет». – «А...» – начинал Просперо, но не заканчивал – денег не было, он знал.

Постепенно подтягивались другие торговцы рухлядью и первые покупатели.

Здесь много интересных людей. Герман Иванович Шампиньонов. Шестидесятипятилетний дядька с фигурой спившегося штангиста, что вполне может оказаться правдой, учитывая значок мастера спорта международного класса на его выцветшей майке. Торгует наворованным в средней школе инструментом, Шампиньонов там много лет проработал преподавателем труда. Он нам не нальет, но посочувствует. А вот Коля Синий нальет. Какой-нибудь гадости, вроде одеколона «Саша» или жидкости для

чистки стекол «Морозко». Или вообще неопознаваемой. В долг. Коля Синий по национальности грек. А Серега Грек – русский. У Грека четыре мелких ходки. А у Коли ни одной, Коля окончил Ленинградский университет, прикладную математику или еще что-то не менее далекое от нашего рынка. Еще баба Клава – крепеж, ножи, точилки для ножей, клей «Момент», почтовые замочки. У нее красивые молодые зубы – все свои, говорит, сохранившиеся из-за страстной любви к ягоде калине.

Все раскладываются, делятся неважнецкими новостями, иногда слегка бранятся из-за выеденного яйца. Но в основном все мирно, тихо и пристойно. Люди душевные, спившиеся, «бывшие» – как в восемнадцатом году. Только здесь не революция, а перестройка, что суть одно и то же.

Вон первая покупательница. Такая вся из себя фря в стриженной норке, хоть сейчас, летом, – без нее. И со стриженной норкой, хоть под штанами и не видно. Тете давно и сильно за полтос, но ведет себя она как школьница. С такой надо сюсюкать и называть все уменьшительно-ласкательными именами: коробка – коробочка, отвертка – отверточка.

В этом у нас специалист Просперо.

Сейчас он быстро ее обаяет и втюхает старый псевдобронзовый подсвечник, что мы отняли на прошлой неделе у Васи Шурина, которого все зовут или шурин – думая, что он брат чей-то жены, или Шурик – думая то же самое. Втюхает и, если хватит денег, а их хватит – мы просим за подсвечник штуку, – рванет за бутылкой. И мы, наконец, опохмелимся – и жизнь тут же наладится и потечет по привычному и удобному нам руслу. Продажа – бутылка, продажа – бутылка. Две продажи подряд – бутылка и чего-нибудь пожевать. Хотя еда нас не очень интересует. В основном – курево и бухло. Ради этого мы и ходим сюда. Ради этого и живем. Все остальное давно и прочно – неинтересно.

Мы все уже видели.

В свои-то двадцать семь лет.

ПОБЕГ

Павлик Башмаков мне говорил: не заходя домой, по фигу на паспорт, это же мечта, двинуть на вокзал, там купить билет на поезд до Москвы. На ночной, тот, что отсюда вечером, а утром в столице. А из Москвы в Санкт-Петербург, а оттуда в Таллинн, из Таллинна во Францию, потом в Италию, потом в Америку. И больше не возвращаться, сгинуть где-нибудь в говенном отеле в Марракеше. Передоз или нож под ребра. А? Что?

— Ага-ага, — отвечали ему или я, или кто-нибудь другой из нашей компании.

Мы всегда были рядом, и идея побега витала вокруг, я знал, мы знали.

А еще он говорил, что люди частым повтором фраз — вот мне уже сорок, когда ему только тридцать восемь, вот мне уже пятьдесят, а ему сорок девять, — приучают себя к грядущему возрасту. Не всегда им приятно. Хотя чего тут обижаться.

Потом все сложилось.

Возраст и идея. И повод.

Но накануне мы встретили Серегу.

Серега шел нам навстречу в сером зимнем камуфляже, раздолбанных ботинках и вязаной красной шапке.

— Привет, Серега, — сказали мы, не видевшие его последние полгода.

— Привет, — ответил радостный Серега и остановился ровно напротив.

— Как ты? — спросили мы с Павликом.

— Нормально, — доложил Серега, — лежу в больнице пятый месяц, готовлюсь на инвалидность. Скоро комиссия.

– А почему в камуфляже? – пытали мы.

– А в чем же еще? – удивился Серега.

– А сейчас ты куда направляешься, Серега? – снова спросили мы.

– А в капельницу, – заулыбался Серега.

– И то дело, – расстроились мы с Павликом.

Потому что «капельница» – это распивочная в подвале продовольственного магазина в двух шагах от моего дома.

– А то, – подтвердил Серега, – получу группу, устроюсь сторожем на стройку и заживу!

– Дай бог, дай бог, – понадеялись мы.

И разошлись в разные стороны – мы с Павликом дальше по своим делам, а Серега пить водку.

– А помнишь? – спросил меня Павлик.

– Конечно, помню, – ответил я.

– Какой он был красавец в своем зеленом офицерском плаще, фуражке с кокардой и коричневым портфелем типа дипломат в руке, правда?

– Правда, – подтвердил я, – истинная правда.

– А теперь?

Я вздохнул.

– А теперь он готовится на инвалидность, – подытожил Павлик.

– А никогда, вроде, ничем не болел.

– Точно, – согласился Павлик, – чудеса.

И мы пошли дальше, а навстречу нам Петрович с каяком. Да как-то неловко повернулся, что чуть нас этим самым каяком и не каякнул.

– Але, – сказал Павлик, – Петрович, аккуратней с транспортом-то.

– Чего? – удивился Петрович.

Он как с Кавказа вернулся, сам не свой стал, его там лиса напугала. Он у нее колбасу отнял, которую она у него из палатки украла, и напугался. Дело не в том, что лиса была такая уж страшная, а в том, что Петрович эту колбасу доел, отрезал место, где лиса откусила, и доел. А потом у него температура под сорок, врачи «скорой помощи» перепугались страшно, тут же Петровича отправили на карантин в местный вендиспансер. Вот с тех пор Петрович

сам не свой. Может, в диспансере что случилось. А может, просто расстроился.

Так-то он спортсмен знаменитый. Наш чемпион. Зимой на лыжах, весной на велосипеде, летом на каяке по горным рекам и в волейбол.

А еще у Петровича сестра в Твери живет, Петрович всегда говорит, что в Твери, а Павлик его поправляет – в Тверии, в городе, построенном по приказу или во времена римского императора Тиберия, Павлик точно не помнит. Она, сеструха Клава, Петровичу из Тверии монетку прислала – лепту. Петрович ее просверлил, на цепочку повесил и на шею носит. Говорит, на счастье.

В общем, не каякнул, и слава богу.

А счастье у него есть – Маня Фруктозова из восьмого дома, третьего подъезда.

Пошли с Павликом дальше, но здесь, собственно, мы добрались до цели – мастерской по ремонту обуви в Доме быта. Где и расстались, я побрел домой, а Павлик Башмаков, как потом выяснилось, в неизвестном направлении. Вместо того, чтобы сдать ботинки в ремонт – у него подошва отклеилась, потому что прошивка оказалась имитацией, а на самом деле никто их в Китае не прошивал, – Павлик повлекся в неизвестное. Где и пропал. Где и пребывает по сию пору. По крайней мере, никто его уже две с половиной недели в нашем микрорайоне не видел. И не в нашем то же. Даже у моста в пивнушке.

Потому что мечта сбылась.

И все.

Других объяснений у меня все равно нет.

ПУПОВИНА

Ехали, среди прочих, мимо таких станций, городов или поселков: Юнгапоси, Тереси, Рыкакасы, Микши-Энзей, Яуши, Ситчараки, Ерыклы, Кичуй, Сим, Алакуль, Сокур, Балай, Замзор, Шеберта, Куйтун, Залари.

Это все Россия.

До Кирова добирались электричками почти сутки, а от Кирова купили билет. Два билета. На плацкарт.

Их дом сожгли.

Деревянный в поселке. Летом сидели во дворе всей бандой: Ира, Лена, Мама, Серега, Витя, кот Маркиз и собака Найда, разглядывали коробку с котятами. Восемь штук – хорошие, конечно. Ирка никогда не убивала котят, старалась всех пристроить. Пристраивала. В прошлом году трех взяла на себя святая Броня.

То есть это она Серегу попросила – сходи, принеси коробку с котятами, покажем.

Серега побежал в дом – тут бежать-то полшага, – вернулся с коробкой, опустил ее на землю, все окружили, склонились, стали разглядывать и умиляться. Как полагаются. И раздался хлопок. Не громкий и не тихий. Как бы из-за стены, с другой, тыльной, стороны.

И мгновенно вспыхнул дом.

Дознаватель потом сказал, что явно разливали какую-то огнеопасную жидкость и пропитывали ей что-то. Возможно, тряпки. Пятна остались.

Мама потом рассказывала, что она такого не видела никогда, но это понятно, главное, она такого и представить не могла. Дом занялся за несколько секунд и сгорел тут же. Только кот Маркиз ошарашенно бегал кругами и орал от

ужаса, и метались люди вокруг, не зная, за что хвататься и кого звать на помощь. Потому что даже телефоны были брошены дома, точнее, на веранде.

И все остальное. Весь скарб и уклад.

Остались, в чем были.

Майки, сланцы, чего там люди летом в жару носят, панамы, солнцезащитные очки, у Сереги – планшет.

А новые кроссовки сгорели. Ему накануне Игорь кроссовки подарил – желтые «Пума». Тут такая история: у Сереги, несмотря на его малолетство, огромная ступня, чуть ли не сорок пятого с половиной размера. А Игорь через интернет заказал себе кроссовки для занятий спортом, китайские маломерки. То есть он думал, что если закажет китайский сорок четвертый, то это будет наш тридцать девятый. Но китайский сорок четвертый оказался и нашим таким же. Игорь кроссовки померил, сунул туда ногу, не расшнуровывая, и вынул так же. Понял – не то. И подарил Сереге, у Сереги же нога легендарная. Ребенку двенадцать лет и семь месяцев – рост метр семьдесят девять, нога – сорок чего-то там.

Серега кроссовкам страшно обрадовался. В первый же день побегал в них на свидание. За Серегой, имея в виду размер его ноги, вполне себе взрослые девушки ухаживают. Но это к слову.

Вот они и сгорели.

И все документы, за исключением паспорта, паспорт ему еще не полагается.

А Ирке полагался и сгорел.

И Вите.

А кот Маркиз осатанел совсем от горя. Ночью ходил на пепелище – все ночевали у соседей, – бродил по руинам и орал.

Соседи у нас в поселке очень хорошие. И приняли, и накормили, и одели всем миром, и утешили. Даже телефон старый подарили тут же. И одеяло, посуду, Маркизу специальную красную плошку, а Сереге – учебник по физике за девятый класс. Советский еще. Так-то он в шестом, вроде, но ведь перейдет когда-нибудь и в девятый.

В общем, сгорели.

Стали думать думать, как дальше жить, в том смысле – где?

А пока Серега с Ирккой решили в гости съездить. Раздали животных: Маркиза Гале, Найду Броне святой, Витя к сестре пока сам переехал. Всех пристроили и подались. К Иркойной матери, Сережкиной бабушке – старушке по фамилии Цхе.

Вот и едут.

По дороге надо еще в одно место заглянуть, а лучше на обратном пути от бабушки, – под Питер к Суслику, другу из интернета. Человеку уже любимому, но еще незнакомому. Такое бывает. Сплошь и рядом, особенно в наше время.

Вот Суслик обрадуется!

Короче, настроение боевое. Ирка сказала, что это хороший повод начать все с начала. То есть сперва тех, кто пробовал ее таким манером утешить, она посылала строго на три буквы, а потом, да, согласилась, – он, повод.

Они теперь все стали абсолютно свободными, потому что «свободен» – это когда все можно и ничего не нужно.

Ну или что-то вроде этого.

С ДОБРЫМ УТРОМ

Сегодня у Елены Петровны долгожданный выходной.

Елена Петровна с утра погуляла с собакой – прелестным пуделем Кокосом. Когда вернулись домой, Кокоса пришлось искупать, вытереть и вычесать. Потом полы в прихожей подтереть да и обувь заодно вымыть, плюс на кухне линолеум – в открытые окна пыль всю ночь летит не по-детски. Следом позавтракать: себе – как обычно, а Кокосу чего-нибудь особенного, потому что человеческую еду он не ест. То есть ест, конечно, но всю какую-то с явным выпендрежем. Например, рассыпчатый творог с распаренной малиной. После завтрака посуду помыть и еще раз пол. Кокос же не может просто так поесть, ему сначала надо всю еду на полу разложить, в известном только ему правильном фигурном порядке, а потом уж и вкушать. За этим делом нашлось следующее – хлеб поставить в хлебопечку, а тогда уж и тесто на оладьи, а то яблоки пропадают, что в прошлые выходные были куплены для шарлотки, так и не приготовленной.

Чуть позже пришлось замочить штаны, в которых с Кокосом гуляли – присела на какую-то изгородь около хозяйственного магазина и вляпалась в черт-те что. А еще с прогулки они принесли красивую палку. Чтобы любимый цветочек, монстеру, подвязать. Для этого Елена Петровна палку в ванной ошпарила кипятком от всякой заразы и ободрала кору. Заодно выяснила, что каштановая кора прекрасный краситель, который насмерть въелся прямо в эмаль настенной плитки ярким веселым оранжевым цветом. (В дальнейшем полученный опыт можно будет использовать для покраски пасхальных яиц).

Плитку она долго оттирала особо злой химией, за ней, кстати, пришлось срочно бежать в тот самый магазин, рядом с которым Елена Петровна испачкала штаны. И уж чтобы время зря не терять, залила в трубы жидкость для прочистки оных. Изумительное средство – с алюминиевой крошкой, а то после Кокоса все трубы забиты не пойми чем, то есть тем, что он приносит на лапах.

А раз уж жидкость заливать, то перед этим пришлось ванную хорошенько отдраить, чего уж. А то потом два часа нельзя воду включать, по инструкции так.

Это, конечно, не считая всякой мелочевки, типа позвонить в жэк насчет отопления, которому давно уже пора делать профилактику, пыль с мебели стереть и плитку отмыть от убежавшего к чертям собачьим кофе.

В общем, освободилась Елена Петровна где-то «к после обеда». Так «к после обеда», что за окном уже темнеть начало.

Поэтому, когда пришел муж, Иван Оскарович Петраков, и спросил: «Хорошо отдохнула?», Елена Петровна ответила: «Очень!»

И вздохнула – день, в принципе, только начинался.

ОДИНОЧЕСТВО НА СКАМЕЙКЕ ДЛЯ ЖИМА ЛЕЖА

Когда она позвонила мне, я шел мимо нового торгового центра «Пушка». Она сказала: «Все, между нами все кончено!»

У женщин, у всех, что я знал, буквально у всех, внутри есть кнопка.

Бац, и – «Я тебя больше не люблю!».

Всё.

Мужчина еще год, два, у кого сколько, не может остановить мотор, а женщина уже уехала в другом направлении.

И на другой машине, если мне позволительна такая метафора.

Иное дело, что часто на эту кнопку мужчина нажимает сам. Как я, например.

Но кнопка есть, спросите у любой.

Но мужчина все равно не успел долюбить и остается на середине чувства, получив веслом по лицу на полном скаку и собирая выбитые зубы в ближайшей канаве.

В общем, я огляделся.

Ничего не увидел и набрал ее номер. Она-то, сказав то, что хотела, тут же отключилась, понятно. Может, для красоты эффекта, а может, не желая добивать. Зная ее – второе.

Мы поговорили некоторое время, буквально пару секунд, и деньги тут же кончились.

Да и разговор-то был скорее моим монологом, чем нашим диалогом. Даже не моим, а монологом раненого в брюхо тюленя.

В любви нет пленных, нет пощады и вообще не пахнет гуманизмом – вот что я понял тогда очень отчетливо.

А влюбленная женщина пройдет по трупам. Но это к слову.

Я побежал в торговый центр «Пушка». Точнее, перешел дорогу. Подошел к банкомату и – может, это, конечно, признак дикой отсталости или инфантилизма или хер знает чего – впервые в жизни попытался положить деньги на телефон. Самостоятельно. Видать, стал резко социализироваться. Почти получилось. То есть я сунул в щель пятисотку, сделал все необходимые действия, и деньги, минус процент, улетели в космос. Где сделав виток-другой вокруг Земли, прилетели обратно в мой город, на мой телефон.

Поговорили еще.

Легче не стало.

Приведя все аргументы, я услышал в ответ то, что и ожидал. В глубине души, я же знал, что это капец? Знал. Все всегда знают.

Погода, кстати, была изумительная. Тепло, но не жарко, часов одиннадцать дня, выходной, я стоял во дворе какого-то дома. На зеленой сочной траве, чуть правее, были красные детские качели, на них похмелялись местные. Пара чуваков. Они пили нечто из ноль седьмой бутылки и закусывали рукавом. Я отлично это видел. Вообще мелочи видел. Траву эту идиотскую, каждую травинку отдельно, как будто я божья коровка и ползу.

Деньги опять кончились, то есть сначала они опять кончились, а потом я заметил качели, траву и алкашей.

Я вспотел.

Помню, вытер испарину со лба.

Захотел присесть.

Захотел пить.

Но что-то меня томило помимо произошедшего разговора и разрыва.

Я подумал и понял, что это реклама спортклуба «Две макаки».

Я еще раз перешел дорогу, открыл дверь торгового центра и, следуя указателям, спустился в подвал. Открыл следующую дверь, вошел и оказался перед барышней, отделенной от меня стойкой рецепции. Или как это называется.

И купил абонемент на полгода.

Не так – сначала узнал, что почем, потом сбегал домой, благо, это рядом, взял деньги, вернулся и купил абонемент.

И попытался убить боль.

Я, конечно, извиняюсь за пафос.

Прошло три года, я жму, приседаю и подтягиваюсь столько раз и с таким весом, который не снился никому из моих приятелей или друзей. Да и вообще.

Но боль не прошла.

ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК

Помню, однажды у нас в классе отличники избили хулиганов, вот те удивились-то.

Но начнем с начала.

Мое имя Исаак Васильевич Сироткин.

Из крестьян.

Живу я с прошлого века.

Образование – первоначальное.

Родного города нет.

Прописан в деревне Чалки Крестовоздвиженского района Энской-8 области.

А фактически пребываю в городе Энске-8.

На прошлой неделе пошел в туалет, пописал и посмотрел на унитаз. Жизнь не удалась, а унитаз стоит. Это ужасно. Так не должно быть, это несправедливо, от нестыковки мечты с реальностью, от их противоречия, должен был исчезнуть весь привычный мир. (Мысль не новая, но от этого не менее актуальная.) А еще непонимание того факта, что мечты не сбываются, а предметы остаются, характеризует меня как незрелую и инфантильную личность.

А еще Сима, женщина, которую я люблю, улетела на охоту за моржовым бивнем в Сыктывкар. Она от меня отказалась, а ее жизнь продолжается как ни в чем не бывало, даже с очередным незапланированным отпуском. И тут мне возразить нечего, но все равно это ужасно обидно. То есть, если я умру, она так и продолжит охотиться на моржей?

А еще... да много этих «еще».

Но дело не в том...

Вернемся к отличникам.

Отличники собрались, бросили вызов хулиганам, вывели тех в школьный двор и избили самым жестоким образом. Отличник Павлик Брунштейн пинал ногами хулигана Колю Смурова, отличник Ваня Одинок-Серый бил по лицу кулаком хулигана Вадика Когана, а Валька Синицына метелила Соньку Дарницкую. Тут немного не в тему получилось, потому что и Валька, и Сонька – обе отличницы и идут на золотую медаль, но у медалистов свои разборки. Короче, Валька решила под шумок рассчитаться с конкуренткой Сонькой.

Мне кажется, с того момента все и началось, то есть пошло в моей жизни не так. Не по плану.

Я хотел стать милиционером, а стал водителем поливальной машины марки «Зил-130».

Я хотел жить в Париже, а живу в Энске-8, на улице академика Рошаля.

Я хотел жениться на Дашке Жмуровой, а влюбился в Симу.

Хотел телевизор «Шарп», а получил магнитофон «Сони».

Хотел 32 зуба, а осталось 12,5.

А если бы отличники не избили хулиганов, все в мире бы шло по заведенному порядку. Так, как принято.

Я бы стал милиционером и еженедельно обирал безоружных граждан, имея крупный дополнительный доход.

Жил бы в Париже и любовался памятником Гийому Аполлинеру в сквере Laurent Prache.

Развелся бы на фиг с Дашкой Жмуровой.

Смотрел футбол – Кубок кубков и Лигу чемпионов.

Вставил новую пластмассовую челюсть.

Эх.

Ну, кто их просил?

Тем паче, учитывая, что Павлик Брунштейн стал мало кому известным хоккеистом 3-й лиги, а избитый им Коля Смуров – деканом университета. Ваня Одинок-Серый – дворником, Вадик Коган – директором чикагского аэропорта. Сонька с Валькой как были отличницами, так и ос-

тались; единственно, теперь работают обе на заводе шампанских вин дегустаторами мездры.

P.S. Вчера зашел в хлебный, а там, в нагрузку к батонам, суют книжку авангардной прозы молодых японских писателей. Открыл – мать честная! – сплошные компьютерные символы и загадочные цифры. Страница не то что не читается, а даже не проглядывается – очень интересно. Захватывающе. И современно, конечно. Купил две, плюс половинку ржаного и рогалик с присыпкой. Такой изогнутый, румяный, с чаем хорошо идет.

Владимир СЕДОВ

СТЕПАН

Когда Степан родился, он не знал, что родился собакой. Он даже не знал, что его зовут Степаном, и не отзывался на это имя, когда его окликали.

Вокруг ходили двуногие существа, очень милые и добрые, все очень похожие друг на друга.

Степан, как назвали его эти существа, твердо был уверен, что он точно такой же, как и все остальные, только пока маленький. И конечно, люди в его возрасте тоже были такими же, как он. И тьякали так же, и скулили по ночам, и писали тоже, наверное, в корзиночку.

Мир вокруг был большой и интересный, наполненный любовью и лаской.

Степан подрастал.

Стал понимать, о чем говорят люди. Все или почти все. И он с ними тоже разговаривал. Правда, не все люди понимали, что он нятякивал.

Степан очень любил играть. Резвиться. Бегать и любить, любить окружающих его людей.

Он был уверен, что его родили эти люди. Ну, кто-то из этих людей. Скорее всего, хозяйка дома. Она особенно была нежна и ласкова с ним. Чаше других давала ему вкусные и сладкие косточки.

Про себя он называл ее мамой.

Высшим его наслаждением было тьякать и поскуливать около ее ног. В эти моменты он прямо дрожал от возбуждения, вдыхая ее родной запах.

И так долго-долго он бегал и веселился, пока не наткнулся однажды на зеркало.

В нем он увидел какое-то вислоухое существо. Очень смешное и забавное. Он решил познакомиться с ним.

Подлетел к зеркалу и... стукнулся головой о стекло. То существо было за стеклом, и как Степан ни крутился вокруг зеркала, ему так и не удалось поиграть с вислоухим незнакомцем.

Вообще, в мире было много чего забавного. И не только забавного, но и непонятного.

Все страшное, большое и чужое для него было непонятным.

Например, камин в загородном доме.

С виду он был привлекательно теплым и ласковым, но когда Степан сунул в его дрожащее красными огоньками чрево свой холодный нос, этот добрый камин его так укусил, что пришлось навсегда обидеться на него и ближе, чем на метр, к нему не подходить.

А однажды Степан со своей мамой гулял по берегу какого-то огромного блюда.

День был солнечным и веселым.

Он носился, как угорелый, и вдруг увидел, что кто-то бросил палочку на поверхность мокрого блюда. Палочка осталась там лежать, как на травке. Степан тут же бросился за ней, прыгнув с обрыва.

Поверхность этого блюда почему-то вначале расступилась, а потом спрятала его в себе, не давая ни дышать, ни скулить.

Со Степаном стало твориться что-то непонятное. Ему становилось все хуже и хуже. Но вдруг кто-то вытащил его наверх и выбросил на зеленую травку. Спасительницей оказалась хозяйка.

Степан долго чихал. Долго скулил. Хозяйка ругалась. Степан почувствовал себя виноватым. Но, увидев бабочку, забыл обо всем и помчался за ней. Но когда крылатый цветочек полетел над коварным мокрым блюдом, Степан тут же остановился. Помотал головой и прыгать не стал.

Вообще Степан любил не только удивляться миру, но и рассуждать о нем.

Так, предположение, что его родила хозяйка, отпало само собой. Произошло это после того, как они побывали в гостях у одних знакомых, где оценилась знакомая собака.

После вечера, проведенного Степаном у корзинки с роженицей, он вдруг сделал для себя неожиданное открытие: это он родил всех людей в его семье.

От этой мысли он обалдел.

Дома стал ходить за своими квартирантами и заглядывать в глаза, гадая, кого же он родил раньше, а кого позже. Когда пришла соседка, он додумал: может, и ее он родил? А когда выглянул в окно и увидел множество людей, гуляющих по улице, решил, что они от него. От такой мысли он загордился и долго демонстрировал свое высокомерие и властность. Чем очень удивлял всех. И продолжалось это почти целый день, пока ему не попало за опрокинутую миску. После этого о первородстве пришлось забыть.

А однажды он влюбился...

Произошло это в тот момент, когда они с хозяйкой возвращались с утренней пробежки по парку. Только вбежали в свой двор, как из крайнего подъезда выскочила смазливая болонка с бантиком на шее. Следом плавно вышла ее хозяйка.

Степан как увидел Ньюшу (так звали болонку), так и обомлел. Ничего более прекрасного он не видел.

Болонка подбежала к Степану, застывшему в немом благоговении, обнюхала его и побежала дальше по малой своей нужде.

Хозяйки, поздоровавшись, заговорили о чем-то женском. Степан робко-робко потрусил к Ньюше.

Ньюша носилась по двору, как бы не замечая Степана. А он, обалдевший, семенил за ней, держа себя на расстоянии и робея подступить ближе к такому совершенству.

Наконец Ньюше надоело бегать, и она, найдя что-то в детской песочнице, стала там ковыряться.

Степан подступил ближе.

Потом еще ближе.

Лапы его самопроизвольно подогнулись, и он смиренно пополз к своему идеалу. Подполз и застыл в немом восторге.

Нюша, взглянув на обожателя, закрутилась на месте во все стороны, чтобы ее можно было лучше рассмотреть.

А Степан не отрывал от нее взгляда, следил за ней изумленными глазами, время от времени перекидывал голову с одной лапы на другую.

И это продолжалось до тех пор, пока хозяйки не наговорились вдоволь и не растащили собак по домам.

Дома Степан стал каким-то задумчивым.

Все заметили его состояние, и дочка хозяйки сказала:

— Мам, он что такой, как мешком накрытый?

Мама посмотрела на Степана и сказала:

— Наверное, влюбился...

Услышав это, Степан заволновался, забежал по квартире, а дочь хозяйки, его сестра, спросила:

— А разве собаки могут влюбляться?

И посмотрела на Степана удивленно.

С тех пор все прогулки Степана стали делиться на до Нюши и после Нюши.

И продолжалось это до тех пор, пока какой-то страшно большой и пятнистый дог не стал его соперником.

Спустя малое время искусанный догом Степан понял, что он не любим равнодушной к нему Нюшей, и, страдая, порвал со своей любовью.

Дома его жалели. Давали сладкое. Гладили и почему-то разговаривали шепотом. Его даже увезли на дачу. На даче было тихо и безлюдно. Там он забыл про свою трагедию. И вернулся домой опять счастливым.

Теперь, убегая утром на пробежку с хозяйкой, он только весело махал хвостом Нюше. И даже два раза тявкнул на нее, когда она, заигрывая, преградила ему дорогу.

В общем, с любовью Степан покончил.

Но в его жизни появились другие проблемы.

Однажды, когда к ним в загородный дом пришли гости и сели за стол, Степана, который ранее всегда обедал за столом из своей чашки, прогнали.

Степан отошел в угол к камину, сел там и обиженно стал поглядывать на людей. Вот тогда-то он и подумал впервые: «А может, люди за столом не такие, как он? Может, он другой? И родили его не они, а кто-то, кто бы его никогда не прогнал от своего стола...»

От этой мысли Степан встрепенулся и занервничал.

Выскочил за дверь дома. Покружил у крыльца и побегал-помчался искать того, кто его произвел на свет божий.

Куда глаза глядят...

Побегал, побегал, ничего не нашел, кроме пинков, голода и холода, и прибежал назад, домой, где его намыли, обогрели, приласкали.

И с тех пор у Степана началась обычная собачья жизнь. Без фантазий, иллюзий и разочарований.

Как у всех... песиков.

Наталья РЕЗАНОВА

УТКА ПУАССОНА

– Но почему Пуассон самый знаменитый? – спросил Замятнин. – Разве не Кемпелен? О его «шахматном игроке» столько написано-снято. А про Пуассона...

Директор «Кукольного дома» взглянул на него с удивлением и некоторым уважением.

– Первый раз в жизни встречаю журналиста, который не только знает фамилию Кемпелена, но и способен правильно ее произнести.

– Это жена, – честно признался Слава. – Она писала работу «“Шахматный игрок” Кемпелена в популярной художественной культуре», поэтому я несколько в курсе.

Туралеев махнул рукой.

– Вот что значит хорошо поставленная пиар-кампания! Поляки раскрутили вашего Кемпелена, а французы подхватили. Потому что без французов в XIX веке кто бы знал про страдающую Польшу? И понеслось – про кемпеленовскую куклу романы пишут, фильмы снимают...

– Кемпелен не мой, а французский. Естественно, они подхватили.

– Кемпелен был австрийцем! Придворным механиком императрицы Марии-Терезии и сына ее Иосифа, противника Франции! Но кого это интересует с точки зрения пиара!

Пиар был для директора музея истории игрушек большим местом. Собственного помещения музей не имел, приходилось его арендовать. Между тем цены на аренду

в последний год выросли до небес, дотации на культуру таяли, как снег в конце апреля, а посетители несли в кассу свои легчающие рубли все с меньшей охотой. Большие надежды возлагались на выставку, посвященную уникальной находке – механической утке работы мастера XVIII века Шарля Пуассона. Но рассылаемые Туралеевым пресс-релизы интереса не вызвали. Пришлось искать помощи у профи. Общие знакомые посоветовали ему обратиться к Вячеславу Замятнину как к журналисту опытному и вьедливому.

– Слезливые романтики XIX века сочинили историю о героическом польском повстанце, который спасения ради был спрятан добрым Кемпеленом в механической кукле и отомстил тиранше Екатерине, отважно обыграв ее в шахматы. Вся эта история вымышлена от начала до конца. «Турок», правда, обыгрывал русского монарха, только не Екатерину, а Павла, но кто на западе знает Павла? Но как эту байку тиражируют!

– Погодите, – остановил его Замятнин. – Мы же, собственно, про Пуассона говорим, а не про Кемпелена. Какая разница между их работами?

– Принципиальная! Вольфганг Кемпелен в 1769 году создал автомат в виде человека, одетого в турецкий костюм – поэтому его часто называют «турком», игравшего в шахматы. Автомат имел феноменальный успех. Однако весь секрет заключался в том, что внутри стола, за которым сидел «турок», прятался живой человек, который и приводил куклу в движение, с помощью системы рычагов и магнитов передвигая фигуры. Я читал, что Кемпелен хотел лишь разыграть публику, но тогдашняя общественность настолько прониклась идеей создания искусственного интеллекта, что Мария-Терезия и Иосиф запретили Кемпелену раскрывать мистификацию, дабы не ронять престиж австрийской науки. Так или иначе, после смерти конструктора игрушку продали с торгов. Возили на гастроли по Европе, потом по Штатам – тут уж сохранить секрет было невозможно...

– Да, я знаю. Эдгар По об этом писал.

– Вот видите! Даже Эдгар По! А теперь о работах Пу-

ассона. Не говоря уж о том, что Шарль Пуассон – и он-то действительно был французом, – жил на несколько десятилетий раньше, его замысел был совершенно иным. Он сделал серию автоматов, выполнявших сложные действия – и тут уж мистификаций не было никаких. Работала заложенная в автоматы программа. Первыми его известными работами стали автоматы, изображавшие музыкантов. Они не только могли исполнять различные мелодии – тут как раз нет ничего сложного, принцип тот же что у музыкальных шкатулок и часов, – а Пуассон был потомственным часовщиком. Они могли играть в ансамбле с человеком, реагировать на его действия. Фактически, Пуассон сделал первых роботов, только тогда их называли автоматами.

– Андроидов.

– Не только. Потому что следующим конструктором Пуассона была та самая утка, о которой мы сегодня ведем речь. Она могла выполнять настолько сложные действия, что люди упорно отказывались признавать ее механизмом. Будь это столетием раньше, сказали бы, что Пуассон заполучил свои умения от дьявола. Но на дворе был век Просвещения. А сам Пуассон был выучеником иезуитов.

– Но если утку не считали дьявольским порождением, но и не признавали механизмом, тогда как?

– Утверждали, будто она живая. Будто бы мастер затолкал птицу в металлический панцирь и выдает ее за искусственную. В общем, та же история, что с Кемпеленом, но с точностью до наоборот. Короче, Людовик XV направил комиссию изучить утку, и после того, как королевские механики подтвердили ее искусственное происхождение, призвал Пуассона на службу. Больше тот игрушек не делал, его дальнейшие работы были засекречены. Предположительно он занялся автоматизацией производства на королевских мануфактурах, но не смог внедрить его в промышленных масштабах. Но это уже не наша история.

– А где все прочие его роботы... то есть игрушки?

– Они были проданы как занятные курьезы в частные коллекции, в разные страны. Считалось, что все они по-

гибли. И тут – чудо! Утка, которая восхищала французских придворных и академиков, обнаруживается, и где? В Итильгородской развалюхе.

С истории находки старинной игрушки и начался их разговор. Утка обнаружилась в квартире потомков промышленников Женкиных. Первый из здешних Женкиных звался Дженкинсом и был английским выходцем. В Итиль-городе Женкины имели собственное механическое производство. После революции тогдашний Женкин, оказавшийся патриотом, категорически отказался покидать Россию. Репрессии Женкиных миновали, но несчастья преследовали. Разумеется, состояние семья потеряла, а встроиться в новый быт не сумела. Последняя носительница фамилии Каролина Женкина зарабатывала на жизнь скорняжным делом и шитьем мягких игрушек. Вообще скорняки в советское время имели вполне приличный заработок, но Каролине достался муж-алкоголик и такой же сын, которые пропивали все зарабатываемые ею деньги. Оба и умерли в белой горячке. Под конец жизни Каролина могла бы получить доход со своей второй специальностью – в моду снова вошли игрушки ручной работы. Но она была уже слишком стара, чтобы воспользоваться этим. Не так давно она умерла. Сосед, выкупивший ее комнатуху в ветхом фонде, перед сносом дома связался с Туралеевым, предложив купить оптом все оставшиеся от старухи игрушки. Там, за шкафом, и нашлась механическая утка. Туралеев так и не узнал – прятала ли её Каролина от мужа, чтоб не пропил, или ее скрывали при обысках как семейную ценность, а может, просто, передвигая мебель, ее уронили за шкаф и забыли. Бывает и такое.

– Конечно, она была в чудовищном состоянии, – повествовал Туралеев. – Проржавела, забита пылью... но я ее сразу узнал. Ведь изображения сохранились! У меня ушла масса времени и сил, но частично удалось восстановить двигательные функции. Конечно, нужна полная реставрация, но это большие деньги... а чтобы хоть часть их добыть, нужна раскрутка для выставки.

– А что же вы не обратитесь, например, к помощи эрмитажных мастерских? Там должны такое делать.

– Там-то отреставрируют, только черта с два мы потом эту утку увидим. Скажут – слишком жирный кусок для провинциального музейчика... и пропадет наша красавица в запасниках.

– А сосед Женкиной, который вам коллекцию продал, компенсации не потребует?

– Да пусть требует хоть до морковкиного заговенья. Договор он подписал, денежку получил, законность соблюдена. Нет, – Туралеев вздохнул, – нам не Эрмитажа и не соседа, нам Фистулу следует опасаться.

Эрвин Фистула был прямым конкурентом Туралеева – директор музея елочных игрушек «Снежинка». При подобной фамилии он, как и Каролина Женкина, был коренным итильгородцем. Его предок сто лет назад приехал с бригадой финских рабочих монтировать прибрежный фуникулер, да, застигнутый революцией и гражданской войной, не смог уехать. Эрвин Фистула долгое время был главным инженером на помянутой фабрике елочных игрушек, а потом возглавил музей, созданный на основе фабричной продукции, и в этой должности действовал весьма активно.

– Он уже забросал департамент культуры и гордому заявлениями, что два музея игрушек для провинциального города – это слишком много, и следует их объединить – под его, Фистулы, руководством.

– Почему его, а не вашим?

– Потому что у него, независимо от посещаемости музея, есть стабильный источник финансирования – фабрика «Снежинка». Да и вообще он мастер спонсоров находить – масложиркомбинат и кондитерская фабрика вкладываются, у них же в новогодние праздники самый сенокос... Поймите меня правильно. Если б нас, например, сделали отделом краеведческого музея, я б только рад был. Но у тех своих забот хватает, и нас на шею они сажать не хотят. А в «Снежинке» что представлено? Штамповка, продукт поточного производства! У нас же авторские куклы, ручная работа, за каждой целая история. Как можно их объединить?

– Хорошо. Я подумаю, что можно сделать из этого материала, и мы с вами непременно свяжемся.

Более ничего директору «Кукольного дома» Замятнин обещать не мог. «Итильская неделя», где он работал, за минувшее десятилетие умерла как газета и возродилась как тонкий, но таки глянцевоый ежемесячный журнал. Прежнее название сохранилось, отчасти как уважаемая торговая марка, отчасти потому, что каждую неделю выходило сетевое приложение. И то, и другое держалось в основном благодаря рекламе, а какая выгода от пиара «Кукольного дома», который явно дышит на ладан? Прежний главред наверняка сразу послал бы такой материал лесом, дремучим, заволжским. Но теперь «Итильской неделей» рулила гламурная дама с пробивной способностью танка новейшей модификации, и Замятнин, намертво застрявший в замах до пенсии, услышал от нее, что механические игрушки – это мило. Это стильно. И где-то даже стимпанк. И «может покатить». У самого Замятнина тема восторга не вызвала, но человек он был и вправду добросовестный и решил немного разобраться в информации, которую вылил на него Туралеев.

Вечером, когда жена накрывала на стол и повествовала, что дочь записалась на курсы корейского языка – «он у нынешних подростков стал популярнее японского, кто бы мог представить?», – он спросил, помнит ли она свою работу про механического игрока, а точнее, не попадались ли ей сведения о том, сохранился ли «турок» до наших дней.

– Сохранилась авторская копия. То есть она тоже считалась утерянной, но в 1945 году ее нашли в подвале какого-то венского дома во французском оккупационном секторе.

– И тут французы подсуетились.

– Но это не та кукла, которая играла с Павлом Петровичем и с Наполеоном! Та попала в музей в Филадельфии и сгорела при пожаре. Где-то в 50-х годах позапрошлого века. А в чем дело?

– Да так, по ассоциации. – И Замятнин поведал о том, что услышал от директора музея.

Спутница жизни почему-то обиделась за Кемпелена. Она, в конце концов, хоть и оставила аспирантуру ради работы в школе, все-таки еще застала времена, когда за признание в гуманитарном образовании еще не били лицо.

– Между прочим, Картрайт, изобретатель автоматического ткацкого станка, вдохновлялся именно «турком» Кемпелена. Так что у Пуассона вашего внедрить автоматизацию производства не получилось, а у Картрайта получилось. Так что Кемпелен, хоть и косвенно, стоял у истоков промышленной революции.

– Погоди, Картрайт – это же вроде не в Австрии? Да и фамилия изобретателя ткацкого станка вроде какая-то другая.

– Конечно, не в Австрии, а в Англии. Где, по-твоему, промышленная революция началась? А изобретателей наверняка несколько было...

Она была во всем права, а промышленная революция не имела никакого отношения к музею игрушек. И все же Славу грызло какое-то невнятное сомнение – он даже не мог сказать, с чем оно связано. Хоть бы даже и с очередным изобретателем, у которого была другая, конечно же, совершенно другая фамилия.

Он даже полез за справкой в источник всех современных знаний – в Википедию.

– Их действительно было несколько, изобретателей этих. И в Англии, и во Франции, так что труды Пуассона тоже даром не пропали. Так вот. Среди английских механиков назван некий Томас Дженкинс.

– Это который потом к нам переехал?

– Не знаю. Может, родственник, может, однофамилец. Там же Дженкинсов, как собак нерезаных. Но однако интересно получается. Говоришь, Картрайт кемпеленовской куклой вдохновлялся? А все автоматы Пуассона, нам сказали, ушли за границу. Предположим, утку купили в Англии, и еще один изобретатель взял это себе за образец. А поскольку в Англии получила распространение модель Картрайта, Дженкинс уехал в Россию. Концы сходятся.

– Сходятся, если это и в самом деле тот самый Дженкинс – или его наследник.

– Ну, это нетрудно выяснить. По крайней мере, так будет понятно, каким образом утка оказалась у итильгородских Женкиных. А у очерка появляется какая-никакая интрига.

Порывшись в сети, Слава вынужден был признать, что погорячился. Он не ожидал найти сведения о приобретении Томасом Дженкинсом утки Пуассона, но хотя бы пытался установить связь между изобретателем ткацкого станка и местным механиком. Увы, сведений о Томасе Дженкинсе в сети было ничтожно мало, и о том, что он когда-либо бывал в России – ни слова. Об основателе династии итильгородских Женкиных информации было и того меньше, упоминался он в связи с «определенным подъемом промышленности в 20-х гг. XIX века», среди прочих предпринимателей, и вдобавок имя у него начиналось на А. (полностью не приводилось). В принципе этот Александр или Алексис Дженкинс мог быть братом или сыном неудачливого изобретателя. Скорее даже внуком. Томас Дженкинс работал в 70–80 годы предыдущего века, в дальнейшем он не упоминался. Замятнин решил уточнить подробности у Туралеева – уж он должен знать подробности о героине своей выставки. Заодно послал запрос директору местного архива Пепперу. Уж этот про местных промышленников знает все и вся, вопрос лишь в том, ответит ли. Аркадию Пепперу, которого Слава знал еще со студенческих времен, когда-то сулили блестящее будущее на поприще исторической науки, он даже уезжал пахать это поприще в какой-то из американских университетов, но там у него не срослось, он вернулся и работал в родном городе, и даже по специальности, и даже вполне успешно, но вот характер у него резко испортился, и он мог заявить, что бесплатных услуг архив нынче не оказывает – притом, что, будучи в духе, мог вполне бесплатно нарыть самую редкую инфу. Впрочем, это не имело значения – Слава не диссертацию собирался писать. Собственно иллюстративная часть была, пожалуй, важнее текстовой, и вот тут точно надо было договариваться с Туралеевым, поэтому звонок в «Кукольный дом» был первоочередным.

«Кукольный дом» на самом деле был не весь дом, а только верхний этаж и мансарда старого двухэтажного особняка. Такие кое-где еще сохранились в центре города, хотя со временем новая застройка должна была их

поглотить. Но просто снести здание по причине ветхости, как это сделали с домом, где жили Женкины, представлялось невозможным – этот дом находился в приличном состоянии. Потому муниципалы и задирали аренду, чтоб арендаторы сами съехали, чтоб продать потом участок под зиккурат какой-нибудь газово-нефтяной корпорации. Привычно и скучно, как зубная боль. Но арендаторы пока держались. Первый этаж снимала некая мутная турфирма «Агора», на паях с ней «Кукольный дом» мог позволить себе охранника.

– Без охранника нам никак нельзя, – сказал Туралеев, – у нас же ценности.

Вряд ли пенсионер-инвалид, дремавший у входа, мог представлять опасность для потенциальных грабителей. Но работники помоложе и покрепче наверняка либо требовали неподъемного для музея оклада, либо бухали, поэтому Замятнин никак не стал это комментировать, а сразу спросил про Дженкинса.

Туралеев сразу ответил: «Нет. Не в курсе». Но, пока они поднимались по узкой скрипучей лестнице, вполне годной как декорация для исторического детектива, раздумывал, морща лоб. Директор был невелик ростом, предпенсионного возраста, но, как это бывает с увлеченными идеей людьми, производил впечатление человека полного сил и энергии.

– Это допустимо, но вряд ли имеет значение. Тот Дженкинс, что был конкурентом Картрайта, ткацкий станок ведь изобрел? А наши Женкины никакого отношения к мануфактурам не имели... А жаль, можно было бы нашу выставку с развитием местной промышленности связать. Я вчера в мэрии был, говорю тамошнему зампозаву по культуре: «Подумайте, павлин Кулибина – национальное достояние, в Эрмитаже стоит, а наша утка куда как сложнее устроена!» А он мне: «Это потому что Кулибин наш русский народный гений-самородок, а за французского или какого там еще Пуассона пусть Европа гранты дает». Ну я ему, конечно, сказал, что сделал-то того павлина англичанин Кокс, и куда как позже Пуассона, и под его влиянием, а Кулибин только собрал... В общем, ничего хорошего не вышло. Но ведь это правда. Что Кулибин сам придумал –

это часы, с позволения сказать, яичной фигуры... ага, пришли.

Главная экспозиция занимала четыре больших комнаты – или маленьких зальчика.

– Извольте видеть – история кукол... хотел бы я сказать, от древности до наших дней, но по-настоящему древних у нас нет. Старые, самые простые, каких в деревнях делали – есть...

Этот кукольный примитив занимал пару стеллажей в первой комнате. Куклы, плетенные и вязанные из соломы, тарасили глаза, вышитые цветными нитками, глиняные коровки и барашки наставляли на зрителя рога, вырезанные из чурбачков мужики и медведи ожесточенно лупили колотушками.

– Матрешек мало, – пояснил Туралеев, – это ведь мнимое народное искусство, выдуманный бренд. Совсем без него нельзя, уж очень распространен...

Далее пошли куклы тряпичные, шитые из меха и вязаные, мишки и собачки – наверное, именно таких изготовляла старуха Женкина, а со следующего зальчика посетителя ожидали барышни в нарядах всех времен и народов и солдатики всех родов войск.

Замятнину это было мало знакомо – и не потому, что он был плохим отцом. Его дочь была равнодушна к куклам. Пока была совсем мелкой, жамкала всяких мягких собачек и тигрят, но как подросла, стала проявлять интерес к пазлам и конструкторам, а куклы, которые покупали родители, лежали на полке в забвении. Жену это поначалу беспокоило, она даже обращалась к детскому психологу. Но тот заверил – ничего страшного, среди современных детей это довольно распространенное явление. Любит девочка паззлы собирать – и прекрасно, вот если б девочка совсем не играла, это было бы плохо. А потом Элька перешагнула тот возраст, когда девочек интересуют куклы, и проблема сама собой сошла на нет.

Но перешагнула ли? Народу в музее было немного, однако большинство из них были взрослые, женщины в основном. А детей, которым вроде экспозиция и адресована, почти не заметно.

– Так и есть, – ответил Туралеев. – Интерес к куклам не исчезнет никогда, но что хотят видеть современные дети? Киношных, мультяшных, анимешных персонажей. Трансформеров, скелетонов и всяческих инопланетных монстров. Ничего не имею против дизайна, там все-таки профессиональные художники работают, однако это все та самая штамповка, которую мы сюда пытаемся не допускать. А ручная работа интересна, в основном, взрослым.

– Что ж, когда-нибудь и трансформеры станут исторической редкостью и будут выставляться в музеях.

– Может быть. Если уцелеют. Пластик, конечно, долговечнее стекла и фарфора, но быстро теряет вид...

– Так где же будет представлена ваша знаменитая утка? – Замятнин оглядел стеллажи с куклами – действительно, пошить наряд на каждую из них, это ж уйма времени и сил, женщины наверняка хорошо себе это представляют.

– Наверху. Сколько раз я клял это мансардное окно, мыть его – сущее мучение, а не мыть нельзя, голуби гадят, пыль летит. Но какое оно дает освещение!

– Освещение – это хорошо, нам же снимки делать надо.

– Будете вызывать фотографа?

– Фотограф – это лишняя штатная единица, сам снимаю...

– Тогда идемте, не будем откладывать.

Лестница на мансарду была винтовой и еще более готичной, чем та, что вела к основной экспозиции. И Слава готов был усомниться, что директор выбрал верное место для выставки. Однако, когда Туралеев открыл дверь, сомнения развеялись.

Мансардные окна в старой городской застройке встречались редко. Здесь это была экзотика и барские забавы. Однако барин, который обитал в особняке когда-то, должно быть, баловался живописью, или, скорее, фотографией – в начале прошлого века это было модно – и устроил здесь студию. И никакие напластования городской пыли и птичьего помета и безобразный неустойчивый климат не могли убить очарования, которое может дать лишь верхнее естественное освещение. Да, легко понять, почему в

те годы, когда была оборудована студия, фотографию называли светописью.

И под падающим с неба столбом света на возвышении стояла невзрачная металлическая птичка. Вокруг нее, на подставках пониже, расставлены другие игрушки.

– Таков замысел, – пояснил Туралеев. – Царица-утка и ее свита, механические игрушки разных стран. Вы разочарованы?

Замятнин разглядывал птицу, склонив голову к плечу. Ему не хотелось огорчать собеседника, но... Известно, как смотрелась эта птичка во дворце Людовика Любимого или в парижских салонах, но здесь она выглядела обыкновенной серой утицей. Разве что закованной в латы.

– Позолота стерлась, но не в этом дело! Давайте я покажу, что она умеет! – Туралеев полез в карман, Слава привычно вообразил, что директор извлечет оттуда пульт, однако на свет был явлен некий хитрый ключ.

– Мне удалось подобрать подходящий, – приговаривал Туралеев, неприличным образом вставляя ключ птице под хвост. – У нас на складе скопилось много разнообразных...

Птица, неподвижно сидевшая, приподнялась – Слава ожидал услышать скрежет старого металла, но раздался лишь шорох, – развернула крылья, потом сложила, переваливаясь, прошла по кругу, потом спустилась по пандусу – утки ведь не ходят по ступенькам, пусть бы и механические, прошла по полу, склоняя голову, словно бы в поисках еды, а может, кланялась. Затем повернулась назад, прошествовала на свое место, сложила крылья и как будто уснула. Завод кончился.

– Мне удалось восстановить лишь часть программ, исходно их был гораздо больше. В сущности, Пуассон создал один из первых компьютеров, совмещенных, управляющих машиной. То есть программы писали и раньше, но создать действующую модель!.. Она производила множество действий, недаром ее считали живой. Между прочим, на глазах зрителей принимала пищу, и в положенное время справляла нужду...

– А яйца не несла? – прервал Замятнин восторженное перечисление.

– Нет, с чего бы...

– Ага, яйца у нас нес Кулибин. – Замятнин подошел поближе, разглядывая «свиту». Скорее всего, подумал он, эти «довески» посетителям будут интереснее, чем звезда программы: паровоз, с высунувшимся из окна машинистом, балерина в тюнике, крутящая фуэте, стрелок в восточном одеянии, целящийся из лука.

– Это механические игрушки из разных стран. Паровоз, ясное дело, английский, балерина – из Италии...

– А стрелок?

– Это каракури-нингё, японская заводная кукла. Между прочим, примерно ровесница автоматам Пуассона. У японцев кукольная культура самая развитая если не в мире, то в Азии точно. А пик увлечения механическими куклами у них выпал на XVIII век – начало XIX. Каракури-нингё производили в огромных количествах. От самых маленьких до огромных.

– Так вот откуда у анимешников любовь к гигантским боевым роботам.

– Но заметьте, в аниме внутри такого робота непременно сидит человек – пилот. Казалось бы, как в «турке» Кемпелена. На самом деле, это своего рода метафора... заметим, что хотя толчком к производству каракури-нингё стало знакомство с европейскими часовыми механизмами, искусство изготовления японских механических кукол развивалась независимо от европейского, хоть и параллельно с ним. Токугавская Япония была изолированной страной. Так вот, о метафоре. Японцы издревле считали, что у каждой куклы есть душа. А европейцы эпохи Просвещения, французы в особенности, уподобляли человека механизму. Да, я отвлекся. Каракури-нингё чаще всего бывали трех видов: кукла, подающая чай, – куда ж без чайной церемонии, акробат на трапеции и фокусник. Наша кукла, – директор осторожно взял маленького стрелка в руки, – исключение. Такие встречаются редко. Но встречаются. А утка единственная.

– Не бойтесь, что ваш лучник застрелит утку? Как в сказке: на дубе сундук, в сундуке заяц, в зайце утка...

– Даже если и постарается, не сумеет. Наша утка в до-спехах. Нужно кое-что посерьезнее, чем эта стрелка. Она не больше, чем та игла, что была в яйце. – Туралеев вернул игрушку на место. – Сейчас будете снимать?

– Да, пока свет не ушел.

– Тогда я вас пока оставлю, спущусь, погляжу, как там...

Перед Замятниным стояла почти невыполнимая задача – представить экспозицию в завлекательном виде перед публикой, у которой слово «утка» вызывает не сказочные, а скорее медицинские ассоциации. Черт, почему Пуассон не выбрал для своего творения какую-нибудь другую птицу – лебедя, например. Орел выражал бы некие политические амбиции, но лебедь... или тот же павлин... ладно, павлин занят. Придется работать по принципу «короля играет свита». И потом надо будет попросить директора снова завести птичку, сделать пару снимков в движении.

Наверное, если бы Замятнин был профессиональным светописцем, то полностью погрузился бы в работу и его бы ничто не могло отвлечь. А так – когда на лестнице гулко, как это бывает в служебных помещениях старых зданий, отдались голоса, – он сперва прислушался, потом и вовсе выключил камеру. Подошел к неплотно закрытой двери, выглянул.

На винтовой лестнице шуплый Туралеев преграждал дорогу плотному лысому господину в приличном английском костюме. Господина Замятнин не знал лично, но периодически видел на фотографиях и в новостных выпусках местных каналов – Эрвин Фистула любил светиться на разных мероприятиях типа «Благотворительный бал итильгородских промышленников».

– А я тебе говорю – не дам! Выставка еще не открыта! Приходи на общих основаниях, тогда и посмотришь!

– Вот что, Иван Ильясович. Не размахивай руками, ты у нас из татар, а не из евреев. Я тебе по-хорошему предлагаю: передай птицу на экспертизу, мы ее отреставрируем... тогда и музейчик свой сохранишь, и лицо.

– Да что ты понимаешь в автоматонах, игрушечник хренов!

– Уж побольше твоего. Я все-таки инженер по жизни, а не куль-ту-ро-лог! – последнее слово Фистула произнес с таким презрением, что туралеевская попытка ненорматива показалась детским лепетом. – Тебе сроду не восстановить всех программ, ты, дурак зареченский, даже не догадаешься никогда, какие они. И почему Пуассон после всех своих андроидов сделал утку. Простую серую утку.

– Не строй тут из себя великого знатока! Тоже мне спец, пластмасса да стеклопластик, шарики и зайчики... фабрика елочных игрушек, вершина инженерной мысли!

– Вижу, Туралеев, по-хорошему ты не понимаешь. Место заведующего отделом в нашем музее тебе предлагали? Реставрацию предлагали? Теперь дулю тебе.

– И что ты мне сделаешь? Братков подошлешь, дом подпалишь? Не 90-е годы на дворе.

– Твоя правда, теперь работать мы можем тоньше. И нечего на фабрику игрушек грешить. Там теперь оборудование новое, а старое стояло сто лет, с женкинских еще времен, при мне разбирали... так что фабрика тебе сюрприз еще устроит....

Туралеев воздержался от дальнейших реплик и принялся выталкивать Фистулу вниз. Учитывая крутизну лестницы, это было чревато, и Замятнин уже готовился вмешаться, но директор кукольного дома умудрился спихнуть игрушечного инженера на второй этаж без членовредительства. Они исчезли из поля зрения, но вскоре Туралеев вернулся на мансарду, бормоча:

– Он меня еще пугать будет! Не на того напал! Меня при Советах карательной медициной стращали, при демократах и жгли, и кассу выносили... а он меня елочными игрушками вздумал пугать. Еще чего... программа, которая старше всех и над другими программами. Вот по кому карательная психиатрия плачет!

Видеть все это было неловко, и Слава постарался поскорей закруглиться со съемкой, и только покинув «Кукольный дом», вспомнил, что не снял утку с распростертыми

крыльями или в поклоне. Возвращаться не хотелось, и он оставил все, как есть.

Дома семейство было в сборе, и за столом Слава поведал об увиденном, исключая стычку между Туралеевым и Фистулой. Как он и предполагал, дочь среагировала исключительно на японскую куклу.

– Ага, знаю. Я кино видела про эти самые времена, там один киллер был, по жизни такие механические игрушки делал и всегда на дело брал.

– Типа фирменная подпись?

– Не, он так внимание отвлекал. Клиент заглядится на то, как гейша на колесиках чай несет или акробат кувыркается, а он удавкой – раз!.. он был очень положительный, – подумавши, добавила Элька. – А вообще, японщина отстой, Корея рулит!

– Просто хангыль учить проще, чем иероглифы, – откликнулась мудрая мать.

После ужина Замятнин засел за работу, но для начала проверил почту. Против ожидания, Пеппер откликнулся.

«Александр Дженкинс, насколько мне известно, изобретателю Дженкинсу приходился племянником. Первоначально пытался построить в заречной части мануфактуру, но дело не заладилось. У нас же все здесь нацелено на тяжелую промышленность, не Иваново же. Но Женкины оказались упорные, переориентировались на изготовление станков для здешних заводов. И выстояли, несмотря на то, что несколько раз прогорали, иногда в прямом смысле слова. В 1854 году “Механосборочные мастерские Женкиных” стали жертвой пожара, но на следующий год открылись вновь. Приходилось читать, что Женкины первыми в городе и едва ли не в России автоматизировали производство, но скорее всего, это легенда, иначе бы сумели расширить свою деятельность. Ну а дальше, как ты знаешь, предприятие было национализировано, и на что только его не перепрофилировали, вплоть до производства елочных игрушек, – но это уже к Дженкинсам отношения не имеет».

Так... а ведь Фистула что-то такое упоминал. Что

застал оборудование, которое стояло с женкиных времен...

На всякий случай, чтоб убедиться, Слава набрал номер Пеппера.

– Чего тебе? – спросил нелюбезный архивариус.

– Погоди, «Снежинка» – это бывшие женкинские мастерские?

– Ну. Их, когда реквизировали, стали называть Не-женкины, а уж потом прежнее название подзабылось, и само собой в «Снежинку» переделали. Это уж после войны было. Как раз тогда фабрика игрушечной и стала. Прежних спецов кого пересажали, кого на фронте поубивало, короче, не знали, что с этой допотопной фабрикой делать, вот на игрушки и перевели.

– А техника стояла прежняя.

– Ее только в 90-е годы заменили, но это уж не мое время. Бывай, короче. – Яшка отключился.

Ничего себе. Хотя... в принципе, удивляться не приходится. Город у нас провинциальный, все друг друга знают, все со всем связано. За одну нитку потянешь, вылезет другая... как на ткацком станке.

Дженкинс.

Картрайт.

Кемпелен.

И пожар. Кстати, когда там сгорел последний настоящий автоматон Кемпелена?

Все. Хватит-хватит. Его работа – писать о выставке игрушек. И про заводную утку.

Кстати, действительно, почему утка? Фистула, опять-таки, говорил, что это принципиально.

– Ты о чем? – Он не заметил, что последние слова произнес вслух, и жена, заглянувшая в комнату с полотенцем для посуды в руках, услышала вопрос.

– А скажите-ка мне, Евгения Анатольевна, с какой стати самый сложный для своего времени автомат, робот над роботами, изготовлен в виде утки? В порядке гипотезы.

– Только в порядке гипотезы: символизма ради. В разных верованиях утка – миродержица и мирохранительница. Она связана с основными стихиями, кроме стихии

огня. Плавая по изначальному океану, утка ныряет и доставляет из глубин на поверхность землю, создает из нее твердь и фактически является демиургом.

– Красивая гипотеза, спасибо. Но для нашего журнала решительно не годится. Ладно, подумаем.

Он залил на комп фотографии и постарался расписать историю механических игрушек, стараясь не впадать в особое умничанье. Тут встал вопрос: стоит ли описывать историю женкинского предприятия? Это, конечно, придало бы статье занимательности, но не дает ли он козырь Фистуле против Туралеева? С другой стороны, Фистула и так знает, насколько фабрика связана с Женкиными, это будет новостью лишь для читателей... Так ничего и не решив, Замятнин решил завершить статью завтра и улегся спать.

А утром разбудил его звонок от мадам начальницы. Это ошибка – думать, что начальство всегда спит до полудня. Иногда спит, лелея здоровье и цвет лица, а иногда нет. И ядовитейшим тоном начальница сообщила, что пока некоторые тянут со сдачей материала, объект, то бишь «Кукольный дом», ночью грабнули, о чем только что передали в криминальных новостях. Слава в ответ отбрехался, что если б он поторопился со сдачей, то сегодня материал стал бы уже устаревшим. Но честно оделся-умылся и пошел исполнять свой журналистский долг. Вся эта механистическая мистика, или мистическая механика превращается в детектив, а оно понятней и народу интересней.

Однако ж он не ожидал от Фистулы подобного – после вчерашнего обещания, что тот будет работать тоньше. Да если б даже он вчера не угрожал Туралееву – весь город знает, что «Снежинка» наезжает на «Кукольный дом». И после этого – тупое ограбление? Эх, ребята, провинция – она провинция и есть.

Менты и зеваки у старого особняка не толпились. Музейчик – не банк, стрельбы наверняка не было, но все же пара машин там стояла. Коллег, пасующихся на криминальной тематике, заметно не было, очевидно, с самого утра отсняли матерьялец и уехали. Будь ограбленная контора посерьезней, Славу бы и близко не подпустили, а тут хмуро глянули на корки от «Недели» и препятствовать не стали.

А кстати, с чего все сразу решили, что грабанули именно музей, а не турфирму на первом этаже?

Ответ на этот вопрос Слава получил, ступивши за дверь. В тесном предбаннике обнаружились: Туралеев, инвалидный охранник, незнакомый мужик, очевидно, из «Агоры» и молодой-румяный представитель правоохранительных органов.

– ...И таким образом, здесь мы имеем не ограбление, а бытовой вандализм, – вещал молодой-румяный.

Турагент кивал, а вот Туралеева заявление повергло в ярость.

– Вы что, не понимаете, что для нас это ничуть не лучше ограбления! Даже хуже! Это музей! Здесь художественные ценности!

– Куклы, – уточнил правоохранитель.

– Уникальные автоматы!

– Тем не менее, это не дает права голословно обвинять человека. Ничего не похищено, в помещение снаружи никто не проникал!

– Не было никого, вот провалиться мне на этом месте! – возопил инвалид и не провалился.

– Да ты, Михалыч, и конец света проспичь! – не сдавался Туралеев.

– Камеры слежения тоже ничего не зафиксировали, ни наружная, ни та, что на лестнице. Ночью был сильный ветер, стекла у вас старые. Не исключено, что оно само треснуло...

– Оно само! – возмущению Туралеева не было предела. – Вы хоть представляете, какой запас прочности у этих старых стекол? Чтобы разбить это окно, по нему из зенитки бить надо!

Тут сверху спустились еще два человека в форме, молодой-румяный с готовностью отвлекся, а Слава подошел к Туралееву.

– Так и правда ничего не похищено? – спросил он.

– Если бы было, я б мог доказать, что это Фистула, – с горечью отвечал директор. – Она ему зачем-то была нужна, наша утка. Все что-то твердил про какую-то управляющую программу, которая ему необходима,

чтоб завершить грандиозный проект, а мог, постичь того не могу... и после этого решиться на такое!... Пойдемте, сами увидите.

Они вновь поднялись на мансарду и печальное зрелище предстало их глазам. Стекло не то, чтобы треснуло – в нем зияла огромная рваная пробоина, и стеклянное крошево бисерной россыпью покрывало пол. Паровоз и танцовщица свалились со своих подставок, и только стрелок по-прежнему натягивал тетиву. Сама же героиня экспозиции оставалась на возвышении, но не сидела, а лежала, разбросав крылья. Осколков стекла на ней почему-то не было. Осыпались, наверное...

– Ее определенно швыряли об пол или били об стену... поскольку завести не могли... механизм сломан, и теперь уже вряд ли подлежит восстановлению.

– Хорошо, что дождя ночью не было. – Замятнин глянул в разбитое окно.

– Я тоже вначале подумал, что так проще будет следы найти... а они говорят: нет никаких следов! Никаких следов человеческих! Да кто в такое поверит? Нет, я не утверждаю, что Фистула сам лично производил этот разгром... да он и не влез бы сюда без посторонней помощи. Но ведь нанял кого-нибудь... он же из Заречья, там гопников полно.

– Я могу сделать несколько снимков?

– Должны! Необходимо привлечь внимание общественности. А то ведь спустят дело на тормозах, и Фистула вывернется! Нет, я добьюсь, чтоб его допросили!

Туралеев устремился обратно, туда, где следственная группа вела свое совещание, а Слава опять извлек камеру, прикидывая, что будет наиболее эффектно выглядеть на оскверненной мансарде. Сломанные игрушки – это трогательно... оторвали мишке лапу... идет бычок, качается... в лесах игрушечные волки глазами страшными глядят... стоп, это из другой оперы.

Что-то его смущало в картине разгрома. Он сам не мог определить. Что? Снова обошел с камерой мансарду. Стекло хрустело под ногами. Битое стекло... Он нагнулся.

Странно – помимо старого доброго оконного стекла попало множество цветных осколков. Никаких цветных вста-

вок в окне не было, это Слава точно помнил. Он нагнулся, выбрал несколько искромсанных кусочков. Не осколков, нет. Стеклопластик не бьется, он ломается. И то, если целенаправленно постараться. Поэтому из него нынче делают линзы для очков, посуду, и... правильно, елочные игрушки.

Нет, что за чушь лезет в голову. Атака игрушек на автоматы... тоже мне, Щелкунчик хренов.

Только в той сказке игрушки как раз оборонялись. Но там были настоящие елочные игрушки, а это – фальшивые.

Вернулся Туралеев, и вид у него был ошеломленный.

– Они уже позвонили Фистуле. А там скорая. Вроде бы инфаркт... остановка сердца.

Он даже не злорадствовал, хотя повод имелся. Вероятно, потому, что стройная версия рассыпалась. Как осколки стекла.

– Я пойду, не буду мешать...

– Хорошо, хорошо, главное, чтоб был резонанс...

Резонанс. Стекла, бывает, бьются из-за резонанса. А еще из-за чего они бьются?

Утка-миродержица, думал он, спускаясь по переулку в центр города. Связанная со стихиями земли, воды и воздуха. Она же птица, хоть и водоплавающая. А вот стихия огня должна быть ей враждебна. Но огня здесь не было, огонь был в Филадельфии и в старых мастерских Дженкинсов...

А техника Дженкинсов перешла под руку Фистулы, и он знал, как с ней работать. Но ему необходима была утка.

Отставить мистику. Это автоматон. Автомат. Прimitивный компьютер.

Старшая программа, которая над программами. Связанная с ними и повелевающая ими.

Царица-утка и ее свита. Свита, исполняющая приказы при нападении.

Замятнин остановился. Он сообразил, что казалось ему неправильным, когда он делал снимки. Но тогда он слишком заиклился на обломках елочных игрушек.

Механический лучник продолжал целиться вверх, но стрелы в его луке не было. Маленькой стрелки. Похожей на иглу. И Славе не хотелось думать, в чье сердце она вонзилась.

Андрей ПРИПИСНОВ

ПОСЫЛКА ИЗ ДЕТСТВА (Почти новогодняя история)

Сегодня, в канун Нового года, решил разобраться с «культурными слоями» на чердаке – по ним можно изучать историю. В прошлый раз, делая зачистку летней комнаты, просто взял и выкинул аж пять мешков с разной одеждой формата 50–80 годов. Запасались конкретно. Эта, уже старческая, болезнь сверхбережливости была сначала у бабушки, а потом и у следующего поколения (у меня еще все впереди). И поскольку мать сейчас увлечена новогодними эфирами, решил, что момент настал, и втихаря...

Помню, в прошлый раз, выкинув те мешки, я вдруг не нашел целой упаковки замечательных носков, купленных мной за смешную цену в Индии. В общем, понял, что был не прав. Но все это наполовину сгнившее богатство в одиночку разбирать – уйдут недели. Иногда в поисках какой-то своей потерянной вещи, ну, той, которую не надевал давно, например, зимней куртки, спрашиваю:

– Мамо, вы куртку мою куда... не видели?

– А вот начни с этой кучи (сверху «культурный слой» в три кубометра «в подарок» от «добросердечных соседей»). А уж потом на чердак лезь.

– А туда-то ее зачем было?

– Да спутала, может...

Вздыхнул и пошел покупать новую куртку.

Куртка... В прошлом году был в Японии и чуть не купил себе куртку за безумные деньги. Была сделана

из клинышков, типа лоскутного одеяла, тем и понравилась. Собственно, мне еще как-то в Индии хотелось купить лоскутное покрывало, но деньги за него тоже показались мне безумными. Любовь к этим лоскутным делам была еще с детства. Бабушка их шила. Одно осталось даже, но в печальном состоянии...

Ну да ладно, вернемся: где мы там были? А... на чердаке!

Выкидывать скопом – не дело. Разбираться – лучше я доживу так; осталось жизни всего на пять таких чердаков, опять жмусь. Идея: позвонил многодетному приятелю, которому не то что детей, и себя и жену уже давно не во что одевать – лопать нечего, спасибо 2015 году!

– С наступающим! Нужна одежда?

– Любую возьмем, приезжай на Новый год!

– Я тебе привезу, выберешь, что надо, кроме нужных мне вещей, типа там носков моих утраченных и т. п., что не нужно – сам определишь, куда, хорошо?

– Отлично, ждем!

...Пока грузил, таясь от матери, на глазах разных зевак, представлял себе, как бы я теперь покупал микроавтобус в салоне: ведь нужен он оказался не только и не столько для путешествий.

– А чего он у вас с окнами?

– Мешают?

– Ну да, он мне нужен, чтобы барахло возить, не люблю, когда глазеют на него разные соседи и прохожие и начинают вопросы задавать. А потом шепчутся, как меня увидят, и смолкают, когда к ним ближе подхожу. Дело обычное.

– Да, знакомо... у нас только с окнами, без окон мы на вас мало будем зарабатывать... А давайте мы его вам затонируем за 6000 рублей, ничего не будет видно ни снаружи, ни изнутри. Как вам такая опция, а?

– Во, отлично!

На том и порешили...

Оказалось, я не шутил: ровно битком мой микроавтобус. Не зря покупал большой: не все, как я, с годами становятся умнее, некоторые становятся просто старше.

И тут в одном из мешков я углядываю... лоскутное одеяло! Вытаскиваю: аккуратно завернуто в полиэтилен, чистенький мешок. Лежал он, правда, на новой косе (запасливые!), которая согнулась на 90 градусов под тяжестью мешков и сундуков, но полиэтилен выдержал – старинный. Понес одеяло домой. Но ведь у матери не спросишь, откуда оно – сразу подозрения, типа: «Опять операция «Свалка»? Дай дожить спокойно!»

Разворачиваю и медленно опускаюсь на стул, возвращаясь в прошлое...

– Ма-а-амк! Ну пусть оно будет моё! – кричит маленький Андрюшка. Ему лет семь, бабушку он тоже зовет мамой, а как же иначе: сколько себя помнит – живет у нее.

– Не-е-ет, милай, ты его так угваздашь. Вот будешь жениться, я те его на свадьбу и подарю.

...На нем такие красивые клинышки, оно очень яркое, радостное, там солнышки, ромашки, ему так хочется его себе, но до свадьбы ему очень далеко, не то что его многочисленным родственникам – они явно будут первыми. А бабушка, словно специально, шьет его почему-то очень долго: чуть не целый год мучений!

– Тогда вообще не буду жениться!..

Я узнал это абсолютно новое одеяло по этим солнышкам и ромашкам, узнал свою мечту, на которую лишь смутно, подсознательно были похожи желанная куртка в Японии и покрывало в Индии. Хроническому бродяге вдруг захотелось настоящего домашнего уголка, где одеялу было бы найдено достойное место.

Какое это счастье – хоть на минуту вернуться в детство!

– С Новым годом, внучок, с новым счастьем!

Юлия АЛАФИЭЛЬ

СЧЕТА НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Дверь отворилась, и в приемную вошел светловолосый юноша с огромной папкой в руках. Он нервно огляделся по сторонам, пытаясь скрыть свое волнение, но удавалось это плохо. Девушка за столом у входа в контору ободряюще улыбнулась ему, и тот воспрял духом. Девушка же поманила его к себе и осторожным шепотом спросила:

– Ты как? Я слышала, он сегодня в хорошем настроении, можешь спросить, что хотел.

От этих слов юноше стало совсем легко. Потому что хоть ты и ангел или даже святой, а терпение у тебя не всегда ангельское, да и чувство вины потихоньку грызло душу. Иначе и не бывает, если ты считаешь, что во всем случившемся есть великая несправедливость – вот только никто не видит этого. И поэтому ты делаешь все возможное и невозможное. А тут такое совпадение, подумать только!

– Я со счетами, – кивнул юноша на папку.

– Несчастные... – вздохнула девушка. – Впрочем, теперь уже нет, – спохватилась она, смиренно улыбнувшись, и махнула рукой – проходи, мол, тебе туда, и посетитель проскользнул за дверь с табличкой «Небесная Канцелярия».

В конторе было тихо, слышалось только легкое тиканье часов. Полумрак, создаваемый тяжелыми портьерами, действовал успокаивающе. Вошедший огляделся – он бывал здесь очень редко, и вот в этот раз принес счета из отдела учета катастроф. Он осторожно прошел в конец кабинета, к столу, который был побольше остальных, на котором стояла медная табличка с гравировкой: «Бухгал-

тер Жизни и Смерти». И ниже мелкими буквами – «Расчет сроков и подведение итогов».

Бухгалтер был занят, шелестел бумажками, стучал костяшками счетов и жевал губами. Время от времени он что-то записывал в большую толстую книгу с пожелтевшими страницами. Посетитель посмотрел на его работу, отметил истершиеся, посеревшие нарукавники и, незамечаемый, стал скучать. Наконец осторожно кашлянул. Бухгалтер вздрогнул, заметив неожиданного посетителя:

– Не видишь, я занят!

– Счета, – подал голос тот.

– А, это. Сейчас, – бухгалтер переложил бумаги и неловко задел локтем чернильницу. Только что сделанные подсчеты украсила огромная клякса.

– Вот видишь, теперь придется чей-то счет закрывать и переписывать, – недовольно проворчал бухгалтер. – Давай уже!

Юноша подал папку. Бухгалтер осторожно ее принял, стараясь больше ничего не задеть на столе.

– Спасибо. Это все, – добавил он, видя, что его посетитель не собирается уходить.

– Нет, не все. Я хотел попросить вас... Мне кажется, один счет так и не закрыт.

Бухгалтер удивленно оглядел просителя, как будто не верил, что тот стоит рядом.

– Ну, если ты так считаешь... Заполни вот эту карточку, – он подал бланк и перо, пододвинул злополучную чернильницу.

Посетитель осторожными, нервными движениями заполнял бланк, несмело поглядывая по сторонам. Наконец он закончил и осторожно подал бланк бухгалтеру. Тот начал изучать документ, и его лицо приобретало все более удивленное выражение.

– Ты уверен, мальчик мой?

– Да.

– Может, тебе в отдел мифологии?

– Нет, я там уже был. И в отделе хранения воспоминаний, и где только не был... Нет, все отказываются. Я уже не знаю, что делать!

– Ну так что скажешь?

Юноша потупился. Слова застряли в горле. Острое чувство несправедливости вдруг погасло, и плечи поникли, но просто так отступить он не мог.

– Да, – коротко выдохнул он, не в силах произносить длинные речи.

– Хм... такого в моей практике еще не было!

Бухгалтер встал из-за стола, размял затекшие пальцы и подошел к книжному шкафу.

– Так... Какой век нам нужен? Пятнадцатый... Ага... Вот оно, здесь! – ловко достав с верхней полки тяжелую книгу, бухгалтер вернулся за стол и стал шелестеть страницами, мучительно разыскивая нужное имя. Время от времени он сверялся с карточкой и снова начинал шелестеть страницами. Наконец он остановился, и можно было увидеть, что среди ровных строчек имен, побледневших от времени, но все же различных, есть пустая строка.

– Ты уверен?

* * *

Имя, выпачканное в крови, солоноватое, устрашающее... Как, когда это произошло?

Когда позабыли о Сыне Дракона, и стало слышаться хлестким ударом в спину «Сын Дьявола», когда позабыли о драконьей храбрости и мудрости? Тогда ли, когда хватало одного крика «с нами Влад!», чтобы припугнуть врагов? В иную ли пору, когда шептались люди о том, каков нравом валашский князь, суеверно крестясь, будучи уверенными в своей правоте, или же когда пили воду из золотой чаши, стоявшей на главной площади? И не смели украсть ее, зная, что будет потом? И могли только толковать по-своему да сочинять, не ведая, что творят, или напротив, хорошо зная, что останется только дьявольское имя, а благородство Дракона будет забыто.

Лишенный власти, оторванный от родной земли, что давала силу, Влад мог только вспоминать о былом, но никогда уже не быть ему господарем – Влад чувствовал это. Увидеть бы снова дорогие сердцу края... Здесь, в Выше-

граде, к нему, пусть и узнику, относились с почтением, но может ли это заменить свободу? Нет. И родину ему ничто не заменит.

...От выжженной земли разило горем и дымом, дома были покинуты – но врагу рано было праздновать победу, ведь войти в опустевший город – разве это победа? И только страшный лес мертвецов на кольях встретил пришельцев, и остановились турки, узнав в мертвецах своих воинов, взятых в плен, и не смогли ничего сделать... Ночь скрывает многие тайны, но в этот раз она укрыла валашское войско.

Драконья хитрость удалась – и не могло быть иначе. Не действовать напрямую, но измотать врага, подкосить и, когда он ослабнет – ударить под покровом ночи, с боевым кличем волчьего воя, так, чтобы никто из турок не смог понять, где свой, где чужой.

Влад чувствовал запах крови, слышал крики и лязг мечей, он только что был уверен, что убил своего врага и сделался бесчувственным от страшной ярости битвы...

Тогда-то и прозвучало «Дьявол» вместо всегдашнего «Дракона», и еще многие проклятья. Силы были на исходе, вот только обещанной когда-то помощи все не было. Ее заменяла отчаянная, сумасшедшая, бурлившая в крови храбрость, сметающая все преграды, подсказывавшая верные решения – такие, которых от тебя никто не ждет.

А потом темница, и ворон, пирующий на останках былых достижений, рвущий их в клочья острым клювом хорошо подобранных слов, что становились слухами, а затем – легендами...

* * *

Юноша провел рукой по лицу, отгоняя видение, уж слишком яркое...

– Мальчик мой, с тобой все хорошо? – обеспокоенно спросил бухгалтер, и посетитель только кивнул и сглотнул нервно.

– Бери эту книгу и иди к нему. Я тебе скажу кое-что... – и бухгалтер, поманив пальцем посетителя, что-то

прошептал ему на ухо, отчего юноша пришел в восторг и еще большее волнение. Он осторожно, с почтением взял книгу.

– Подожди, – бухгалтер написал что-то на листочке. – Отдай это его секретарю, тебе помогут.

– Спасибо вам.

Юноша вышел из канцелярии и направился туда, куда посоветовал бухгалтер, не зная, какое волнение поднялось в конторе после его ухода. Кто-то шептал «молодец, давно пора», стыдясь, что не решился сам, кто-то, напротив, пожимал плечами и вздыхал, что ничего не получится, потому что как можно просить за такого человека, а кто-то просто сетовал на молодость и горячность, уверяя себя, что ничего у него не выйдет, и боясь признаться себе, что кто-то наконец произнес вслух то, что давно надо было сказать.

* * *

– Что говорит народ обо мне? Что сам ты думаешь? – спрашивал Влад, а священник только молчал, не зная, что ответить, и не смея вызвать гнев своего господаря. Наконец второй священник осторожно кашлянул, боязливо оглянувшись по сторонам и сказал:

– Ты справедлив, мой государь, и мудр...

Первый наконец решился вступить в разговор:

– Но ты и жесток. Ежели я сделал что-либо против воли твоей, то приму твою кару и сам буду виноват в том, но Бог свидетель, нет в моих мыслях ничего против тебя.

– А ты хитрый, священник, – усмехнулся Влад. – Такая хитрость более приличествует торговцу. Идите.

Священники поклонились и ушли.

Одни боялись его, другие не понимали, иным же он был как кость в горле. Влад это видел. В глазах людей была осторожная почтительность – не только просителей, что приходили к нему с жалобами – им-то бояться как раз следовало, но и в глазах приближенных отражался тот же страх, и даже во взгляде любимой женщины. Она улыбалась в ответ на его улыбку, но страх все равно был заме-

тен. Страх и чуткое, внимательное ожидание, как у юркого зверька, что дрожит и прячется от малейшего шороха.

Но иначе было нельзя – дашь слабину, и тебя затопчут, сметут. И не останется даже имени в памяти потомков! Услышат они его имя, переглянутся недоуменно и пожмут плечами. Или, что еще хуже, в имени им покажется совсем не то, как будто речь пойдет о ком-то совсем другом, а деяния его забудутся. Поэтому пусть боятся, пусть шепчутся в страхе – но помнят, кто такой Сын Дракона, кто на самом деле Влад, сын Влада и что пока жив он, не проникнет враг на родную землю, пока жив, будет стоять золотая чаша на площади, чтоб все знали, что не даст он спуску ни туркам, врагам его родной Валахии, ни продажным боярам. И крепко слово Сына Дракона – раз сказав, не изменит своего решения.

Еще много лет назад, в турецком плену, он поклялся себе, что никогда не забудет веру свою, не предаст отечество, и запоминал обычаи своих врагов и язык их, чтобы знать, как они будут действовать в битве, чтобы думать как они, чтобы быть благодаря этому на шаг впереди. Он внимательно слушал своих учителей, зная, что их уроки однажды пригодятся, обернутся против них, но пока никак не выдавал своих мыслей, ожидая часа, когда можно будет ударить.

И потом, скрываясь в саксонских землях, он ждал этого часа, понимая, что удар должен быть верный, решительный и такой, чтоб все увидели силу его и не смогли бы перечить. Это было испытанием, как Влад понял позже, – откажись он от клятвы, что дал самому себе и Богу, это стало бы предательством, но не таков он, чтобы простить предательство, даже самому себе. Даже когда ничего от тебя не зависит, потому что не бывает так. Потому что рано или поздно придется заплатить по счетам, выполнить свою клятву, и ничто не сможет помешать.

А пока следовало смирить свой нрав. Как дракон на орденском символе его отца был спеленут своим же хвостом, так и нрав свой обуздать нужно до поры, до времени.

И однажды пришла пора Дракону расправить крылья да показать свою силу, пришло его время. Не понявшие его

устремлений ужаснулись, но те, кто понял – были преданы до самого конца. Крепок был их дух – тех, что пошел за Владом, сыном Влада, и метко разило оружие, не давая полумесяцу накрыть своей тенью Валахию.

– Но как же так, государь? Ты же говорил, что ищешь предателя?

– Не беспокойся. Я думаю, он сам скоро отыщется, – взгляд Влада стал таким колючим и холодным, что любому стало бы страшно. – А вот скажи-ка мне лучше, может ли быть так, чтобы пожалел ты что-либо для страны своей? Может ли быть так, чтобы усомнился ты, да утаил бы чего?

– Н-никогда... – боярин похолодел под взглядом господаря и размашисто перекрестился. – Жизнь свою и душу готов отдать!

– Даже душу? Что ж, там будет видно.

Многие шептались – молодой, мол, конь, да резвый, потом смирный станет, и снисходительно слушали да не слышали слова Влада о земле родной, о своем народе, и о клятве перед Богом и людьми. Вот только где те, что говорили так?

– А скажите-ка мне, бояре, сколько господарей вы помните? – стукнув кубком о стол, спросил Влад приглашенных на пир.

– Пять, кажется, – неуверенно откликнулись из-за стола.

– Да нет, семь, – возразили первому.

– А может, и десять, – предположил еще кто-то.

– Так сколько? Пять, семь или десять? – вкрадчиво переспросил Влад и грозно посмотрел на бояр. Те переглядывались и пожимали плечами.

– А почему? Как вы это объясните?

Бояре молчали, поняв, что затевается недоброе.

– Нечего сказать, значит? Что ж, тогда отвечу я. Все дело в вас! – и Влад отдал приказания стражникам.

Много позже шептались люди, что жесток государь, и что нельзя такое творить, но позвольте, разве возможно было поступить иначе? Оставить в живых заговорщиков и отравлять землю? И пропиталась бы земля ядом алчности и распрей, и погибла бы... А чтоб не произошло подобно-

го, выкорчевывают ядовитые растения – чтоб ни листочка не осталось, ни корешка. Так и здесь поступать следовало. Но если б можно было знать все наперед...

* * *

Коридор был пустынным, что не удивляло – никто не слонялся без дела, каждый был чем-то занят. Поэтому осторожно, чтобы никого не потревожить, прошел наш посланник к нужному ему кабинету и постучался. Не дождав-шись ответа, он распахнул дверь и вошел. И тут же понял, почему ответа не было – его никто не замечал. Кто-то носился с бумагами, кто-то печатал на громко стрекотавшей машинке, кто-то просто разговаривал с таким видом, будто обсуждается самое важное дело в мире, так что в этом хаосе юноша остался незамеченным. Так ему показалось.

– Эй, тебе чего? – кто-то его грубо окликнул.

– Да вот, дело есть, – посланник помахал бухгалтерской запиской.

– А, это! Вон, тебе туда.

Юноша посмотрел, куда ему указали, и увидел в приоткрытую дверь, что там, куда ему нужно, все завалено бумагами чуть ли не от пола до потолка.

– Там кладовка, что ли?

– Ну, ты даешь! Ох, и насмешил ты меня! – советчик махнул рукой и громко засмеялся.

Юноша смутился и заглянул в дверь.

– Заходи уже, – послышался женский голос.

– Вы меня ждете, что ли?

– Что у тебя там? Давай скорее!

– Вот... – посланник протянул женщине записку и подал книгу. Записку она взяла и внимательно прочитала, сдвинув очки на самый кончик носа. Книгу же отложила.

– Это потом. Жди здесь.

И она вышла через другую дверь. Юноша оглянулся по сторонам – он неловко себя чувствовал среди всего этого вороха бумаг, и ждать было мучительно. Ожидание возвращало его к просьбе, которую он так давно хотел озвучить, да все никак не получалось. И если бы кто-то

спросил его, почему он это делает, юноша рассказал бы о легендах, о выпачканном в крови имени, о несправедливости, вот только неужели это кому-то было нужно объяснять? Нужно, получается. А если б спросили, что за человек был Влад, сын Влада, каков характером, то ответил бы он, что Влад был человеком справедливым, на редкость храбрым и мудрым правителем, а потом припомнил бы о том случае, что с купцом произошел. Как вернули ему украденное, да пообещал Влад найти воров, и нашел, но не обнаружил вора в самом купце, когда вернул тот лишнюю, специально подложенную монету. А может, другое бы что рассказал, но эта история первой пришла на ум, потому что о многом она говорит.

– Давай сюда, – женщина выглянула из-за второй двери и поманила юношу к себе. – Книгу-то возьми, – добавила она.

Юноша обрадовался, подхватил тяжелую книгу и заторопился.

– Садись, – кивнула женщина. Увидев, что гость подчинился, дала ему совет:

– Жди. И лучше раскрой книгу заранее на нужной странице. Вот, держи, тебе потребуется, – она протянула ему перо и вышла.

Чего следовало ожидать, было непонятно. От тишины клонило в сон. Но вот послышался какой-то шум, голоса, и мимо прикорнувшего было юноши кто-то торопливо прошел, тот и заметить не успел.

– Эй, ты чего тут? Давай, сам пиши, пока я здесь, – услышал гость ворчливый голос прямо над ухом.

– Сам? – это ему не приходило в голову.

– А кто же? Давай, сам действуй.

Юноша раскрыл книгу, нашел нужную строчку. Перо с трудом двигалось по бумаге, скрипело, но написать пару слов вроде бы удалось... но они тут же поблекли и исчезли.

– Не то пишешь, значит, – прокомментировал эти действия наблюдатель. Юноша подумал-подумал и снова написал имя, только по-другому. И снова оно исчезло с листа бумаги. И в третий раз повторилось то же самое.

– Что происходит? Я не понимаю...

– Ну что ж, значит, не нужны были твои просьбы.

– Но как же?..

– А того ли ты просишь? Знаю я твои мысли про несправедливость эту. И про остальное тоже. Так что давай по существу, не разменивайся на мелочи.

Юноша замер, пораженный. Этого он и подумать не мог – что совсем другое нужно, то, что он и себе сказать был не в силах. Но под строгим взглядом наблюдателя он стушевался и вывел на нужной строчке только одно слово.

Прости.

Он сосчитал про себя до десяти. Написанное не исчезло. Сосчитал еще раз. Чернила не выпцвели, но приглядевшись, юноша заметил, что надпись изменилась.

Бог простит.

Юноша закрыл книгу, вздохнув с облегчением.

Да будет так.

Лирический портрет

Геннадий ЁМКИН

Саров

МЕНЯ КАЗНИТЬ ПРИДУТ СЛОВА...

* * *

О, это время!
Тихое — до слёз...
До пониманья мира и приятя
Всего, что ты готов принять в объятья:
И облака, и тихий свет берёз.
Течение вод, течение облаков —
Согласно всё молчанию и грусти.
И только ветер, что порой припустит
Вдоль просеки,
Листву кружить готов.
Мальчишка-ветер...
Скоро о кусты
Исхлещется и ляжет, успокоясь.
И я опять, ничем не беспокоясь,
Пойду, со всем приятель и на «ты».

И тихо так,
Что слышно: в стороне
От просеки,
Не ведая о грусти,
Растут, собой довольные вполне,

Поскрипывая, рыжики и грузди,
Да, беспокойный, уползает уж
Подальше в лес, где, мхами зеленея
Столетними, под сказки Берендея,
Подрёмывает бабушкина глушь.

Грачи

Март. Начало.
Я видывал разного...
Но такого не видел давно –
Все грачи на картине Саврасова
С нетерпеньем глядят за окно.

Там синица затенькала...
Господи! –
Словно сделала солнца глоток!
Вот и мне-то подумалось: до сыти
Уж зимы-то! Давай, Марток,

Выше выкати солнце ядрёное,
Растопи ледяную стынь!
По оврагам да по урёмам
Свой нагольный тулупчик скинь.

Ветром вербным пройдишь в долине,
Чтоб вздохнула, паря, земля,
И грачи, что живут на картине,
Громко грая, сорвались в поля!

* * *

Певец блистательный,
Поющий не для розы!
Понятен мне души твоей порыв.
Я тоже пел, когда-то, полюбив,
Той, что была и рядом, и во грёзах,
Теперь живёт, о многом позабыв.

Певец блистательный!
Тебе ли не подвластны
Весенних дней и нега, и восторг?
Они и мне таинственно и властно
Внушали петь единственно прекрасной.
Но ноты нужной я достичь не мог.

Но ты пропой,
Стозвонкий и поспешный!
Высоких нот, – тебе ль бояться их!
В сплетеньях трав, шиповников и ив
Она тебе внимает и, конечно,
Уже – твоя, в мечтаниях своих.

Месяц серебряный

Ночь.
Прохладно.
Ясно.
Осень...
Дайте кисти мне и холст!
Плащ серебряный набросив,
Ходит месяц среди звёзд!

Он не может и не хочет
Равным быть среди светил.
Так, наверно, среди прочих
Блок задумчивый ходил...

Нет, на небе он не гость,
И по праву ходит князем!
И звенит о звёзды трость –
Сыплет золотые наземь.

А когда восток займётся
Алым, гордо скинув плащ,
Призовёт к барьеру солнце:
– Сударь! Первый выстрел – ваш!

Кисти! Красок же достанет
Рассказать ещё о том, –
Завтра он, воскреснув, станет
Щедро сыпать серебром!

Куст рябиновый

Памяти Марины Цветаевой

Все чувства строже и полней,
Когда над родиной вечерней,
Когда над родиной моей
Звезды рождается свечение.

Я объяснять Вам не берусь,
Зачем вот так во мгле тревожной
На повороте вспыхнул куст –
Что отвернуться невозможно...

Зачем звезда полней и строже,
И сердцу сделалось больней?
И одиночество полней,
И отречение невозможно...

Я объяснять Вам не берусь,
Вы сами знаете, Марина!
Что если у дороги куст
Встаёт –
Особенно рябина...

Учитель

«Учитель хоронил ученика...»

Юрий Кузнецов

Учитель пережил ученика.
Идёт за гробом.
Дождь.
И ветер хлещет.

Мне слышен плач
Идущих следом женщин...
Но всё же больше жалко старика...
Он, всё что мог, как таинство, вложил:
И мудрость слов, и музыку созвучий,
Терзания и тихий свет души –
В того, кто больше ничего не учит.
Провидит он, что станет этот век,
Грядущему уж тем не интересен,
Что, этот вот, во гробе человек,
Не пропоёт прекраснейших из песен.
Печальная процессия.
Скорбя
И молча люди тянутся за гробом.
Но среди них
Один молчит особо,
Поскольку он хоронит сам себя.

* * *

Поэту надо, – чтобы печь...
В подслеповатом с краю доме
Свои стихи в сомненье жечь
И душу греть, и греть ладони.

Поэту надо, чтобы бросили
И думать многие о нём,
И золотые, ближе к осени,
Шары за ситцевым окном...

Бумаги лист

Сегодня будет ночь бессонной.
Не зря, дыханье затая,
Бумаги лист приговорённый,
С восторгом смотрит на меня.

Дрожи, бумажная душа!
Я сам дрожу. Я сам навроде

Уже стою на эшафоте,
Последним воздухом дыша.

Меня казнить придут слова
В одеждах призрачных, безликих.
Сквозь них – намёки, тайны, блики
И очертания – едва...

Я не смогу сказать им «прочь!»
И не хочу! Пускай бессонной,
Пускай пропащей станет ночь!
Я – всё одно – приговорённый...

И жив всего одной надеждой –
Сорвать безликие одежды!
Тогда с восторгом примешь ты
Убийц прекрасные черты.

Из свежей прозы

Евгений ОБУХОВ

Москва

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

Районный город М. на берегу большой русской реки О. навевал образ только что вынырнувшего из воды града Китежа: дома и церкви этим дождливым летом стояли вдрызг мокрые, а людей на улицах почти не было видно. Только старуха сердито и неуклюже домывала крыльцо, сгоняя тряпкой грязную воду прямо в лужи под порогом, а в конце сквера мужик пас традиционную для маленьких городов козу.

— Гостиница-то? — переспросил пастух, не переставая помахивать хворостиной и тем самым не давая козе доступа к клумбе. — Гостиница у нас, ага. Есть. Во-он, большая крыша без креста — это храм, там склад. А уж за храмом во-он, видно, как бы крест из телевизионных антенн, это как раз она. Иди, ступай так вот, туда.

Востряков и пошел.

Гостиница оказалась заперта. Он поискал звонок, не нашел, постучал.

— Кто? Чего? — спросили изнутри через минуту.

— Видите ли, я в командировке. Мне б поселиться...

Дверь мгновенно растворилась, и женщина в строгом костюме («Администраторша», — подумал Востряков) и в растоптанных полуваленках («Уборщица», — еще подумал он) пригласила его войти.

Она его зарегистрировала, потом повела показывать номер и все причитала по пути:

– Ну подумайте, товарищ-господин дорогой, совсем, просто совсем перестали ездить. Вы один, значит. Я уж вас на второй этаж. Вообще-то этажей у нас три, но в третий совсем уж страшно, а в первый залезть могут. Хотя, если так, кому теперь лезть?..

Уборщица-администраторша казалась Вострякову хранительницей какого-то будто из книг замка. Столь охотно и старательно она, ведя гостя в полумрак коридоров, зажигала и зажигала для него бра, открывала и открывала для него двери.

Разместившись и отдохнув десяток минут, Востряков пошел посмотреть город. Он всегда, мотаясь по командировкам, в день приезда смотрел города. Сначала с колеса обозрения, если таковое имелось, а потом, наметив сверху объекты, лично.

В парке города М., раскинувшемся на высоком берегу реки О., не работал ни один аттракцион. Однако, едва Востряков остановился у низкой ограды, подняв взгляд на кабинки чертова колеса, из будки выбежал механик:

– Неужто прокатиться желаете? Пожалуйста, тыща круг. Сейчас мы для вас и музыку пустим. Желаете, фонари вокруг ограды запалим? Нет? Как скажете. И-и-эх, раньше народ как веселился, на колесо очереди были, вон до того дуба. Ага, не вру, ейбо! Теперь денег у народа на колесо нету. Разве что на колеса! Ха-ха!

Очень довольный своим каламбуром, механик запустил мотор, и Востряков поплыл вверх под звуки бодрого давнего-давнего марша.

Вдоволь накатавшись на колесе (у механика не оказалось сдачи с десяти тысяч), Востряков отправился в старинный монастырь, обозначавший исторический центр города.

Кирпичные стены были щербаты и крапивны. Он пошел на подворье, разглядывая купола. Дверь скрипнула, и из монашеского общежития вышел рыжебородый мужичок с хитрованными глазами. Приподняв полы коричневой рясы, перемахнул лужу. Но, подойдя ближе к Вострякову, вновь обрел степенность походки.

– Памятником интересуетесь? – спросил монах, шныряя глазами по фигуре посетителя. – Или обедню, допустим, нужно заказать? Или что?

Востряков пожал плечами:

– Ну, не знаю... Зачем мне обедня. А вот звон колокольный я б послушал... Звонят у вас в колокола-то?

– В колокола-то?.. – тот приподнял рясу и зачем-то пошарил в карманах полосатых брюк. – Раньше совсем не звонили. Не из чего было. А как народ стал жертвовать на восстановление, то отлили колокола-то. Одно вот плохо – редко кто жертвует...

Монах озабоченно смотрел на купола, на колокольную.

– Ах да, да, конечно! – Востряков чуть суетливо достал купюру, не выбирая, и она мгновенно скрылась в складках коричневого одеяния. Монах просиял:

– Ан сегодня как раз такой день, что звонят!

И, разбрызгивая лужи, помчался на колокольную.

На городской рынок Востряков явился под бодрый переливчатый звон. Торговые ряды не отличались разнообразием – поскольку зарплату в городе М. выдавали натурой, несколько продавцов предлагали изделия местных предприятий: кривую фанеру пачками, швейные машинки без приводных ремней («Нам не поставляют, но я вам расскажу, из чего сделать»), сыр и комнатные тапочки. Появление Вострякова вызвало на рынке волну энтузиазма:

– Мужчина, эй, мужчина! Купите фанерки, не фанера – загляденье! Сыру? Хотите сыру? Или тапки? Точно по вас будут. Ну и что, что белые? Нам краску не завозят. Ну так хотите или не хотите сыру? Что значит, такого не хочется?

– Если уж брать, я б сметанки взял, – отозвался Востряков.

– Сме-тан-ки! Да ой! У нас молокозавод стоит, конечно. Но вон у крайнего прилавка сам директор торгует, у него все ключи. Степа-аныч! Давай сюда!.. Сколько вам сметанки, мужчина? А то хочет сметанки, а ходит, молчит... Вы пока вон кин каких-нето поглядите, мы и вернемся.

И, оставив сыры под приглядом одной из торговек, остальные побежали открывать и запускать завод.

Киномеханик вышел к Вострякову лично и долго расспрашивал, каких, мол, кин ему охота поглядеть. Отрывать контрольку на билете пришли обе контролерши и кассир. Усадили его в центр пустого зала на десятый ряд.

...Сумерки напозли быстро. Востряков вышагивал по улице с трехлитровой банкой сметаны. Вдалеке трезвонил колокол. Видно, купюра, второпях переданная монаху, оказалась очень уж большого достоинства.

Востряков вышел к реке. На мокром парапете, подстелив газету, сидела девушка.

Он машинально прошагал мимо, но затормозил, вернулся и, кашлянув, подсел.

– Одиночествуете? – чуть высокопарным тоном спросил он.

– Сiju, – сказала девушка. – Скучно тут у нас.

– Скучно?! – удивился Востряков. – Да вы что! Впрочем, могу и развеселить. Какие будут мнения?

Он уверенно пододвинулся, положил ей руку на плечо, а другую на коленку. Девушка молча повела плечом, размахнулась и саданула Вострякову в глаз.

– Ты что?! – заморгал тот. – Ты ж не поняла! Это ж вон для меня тут все! Колокол вон! У меня вся гостиница, в гостиницу хочешь?

– В гостиницу? – переспросила она и опять повела плечом.

...Администраторша-уборщица обомлела: Востряков стоял на пороге, перемазанный сметаной, под обоими глазами у него зрели синяки.

– Господи! – всплеснула она руками.

– Ничего, ничего! Проморгается. Теперь точно проморгается.

Он зашлепал по лестнице. На пятой ступеньке обернулся:

– А сколько, скажите, времени?

– А вы хотите, чтобы сколько? – услужливо ответила она.

Востряков пожал плечами и весело хмыкнул:

– Завтра скажу.

УГРЮМ-РЕКА

Скорый поезд неспешно шёл по российским просторам. За окнами проплывали города и сохранившиеся в свободном процветании веси. Приближение больших станций ощущалось по запретам пользоваться туалетами. В один из утренних часов состав затормозил в городе Мичуринске.

Я сполз с верхней полки и вышел на перрон размять ноги. Ко мне устремился худенький старичок в пенсне, соломенной шляпе, рубашке-косоворотке, тряпичных туфлях и мятом парусиновом костюмчике. Он протянул мне ароматную плетёную корзинку и тряхнул седенькой бородкой:

– Яблочек, товарищ-сударь, подкупить не пожелаете ли?

Вдруг узнавая, я ахнул и с трудом вспомнил имя:

– Батюшки, сам Мичурин! Иван, э-э... Владиленович?..

Даже если я и ошибся в отчестве, великий садовод не обратил на это никакого внимания. Мичурин достал огромное яблоко и потёр его о рукав. Оно запахло ещё сильнее.

– Да как же это... вы тут?... – начал я, деликатно подбирая слова и имея в виду что, по моим сведениям, родился Мичурин ещё глубоко в позатом веке, а сейчас у нас бурно шла уже первая четверть двадцать первого столетия. Но тот понял по-своему и чуть суетливо перебил меня:

– Почему я тут? А как вы полагаете?... Пенсия-то вон какусенькая – коммуналка половину сжирает. Зато сад у меня огромный – за землю платить надо? Ещё как надо!

Я тут же помог его саду и купил три яблока, килограммов на пять... Весь день я ел их, спешил поскорее накушаться и потом проголодаться, потому что знал: следующей станци-

ей будет Рыбинск. И точно, название оказалось не случайным – на перроне поджидал сошедший с волжских челнов Стенька Разин с рыбой. Он наговорил мне исполателей, паки вельми понежей и всякой прочей лепоты, при этом то и дело судорожно хватаясь за чернёную ручку кинжала. Конечно же, я купил у него большую и ещё горячую рыбу, кажется, копчёного язя. Даже если я и ошибся в названии, язь на меня не обиделся и призывно пах собой и ольховыми дымами.

Опять я наелся на ночь и ворочался на своей купейной полке, возмечтав теперь о пище духовной. Посреди ночи следующая станция – Чапаевск – не обманула ожиданий. Едва я размял сигарету и чиркнул спичкой, из мрачной темноты надвинулась не слишком удачная копия дедушки Мичурина. Я вгляделся в жёсткие черты лица с такими же, как у садовода, пенсне и бородкой клинышком, и невольно воскликнул:

– Троцкий, разрази меня гром! Но почему тут, в городе Чапаевске?

Даже если я ошибся, я на самом деле совсем не ошибся: это и был Троцкий. Оппозиционер щёлкнул крышкой карманных часов:

– Потому что историю знать надо, молодой человек! Как в конце двадцатых годов назывался этот милый городок? Правильно – Троцк. Впрочем, приношу извинения, товарищ, я бы вам и речь сказал, но стоянка поезда всего две минуты. Поэтому сразу, как бывало в семнадцатом при штурме Зимнего, решительно перейдём к делу: литературу быстренько приобретаем.

– Троцкистские брошюры о свержении власти? – хмыкнул я.

– Отнюдь. Газетки предлагаются: сканворды, юморок, гороскопчики всякие, порнушка, само собой... Всё это, знаете ли, на мозги народных масс посильнее любых подпольных книжек действует. А если вам чтиво для души – так это не ко мне, вон у вас скоро станция Болдино будет, извольте там.

– Неужели Пушкин к поезду выйдет?! – умилился я и, растроганный, бездумно купил у Троцкого всякой фигни на сотню рублей.

А уже после следующей стоянки я с восторгом и подо-

бострастием держал в руках неровно обрезанные листки бумаги с рукописными пушкинскими поэмами – по большей части даже ещё неизвестными. Мне. По десять рублей за строчку... Ай да Пушкин!..

В ходе приобщения к поэзии в памяти почти не отложилось, как на перроне Перми товарищ Молотов торговал молотками и скобяными изделиями; как в Твери, бывшем Калининe, одноимённый товарищ и в царскорежимной молодости – токарь, в таком же пенсне и с бородкой клинышком (вот чёрт, привязалось-то!), уговорил меня закупить точёных на станке осиновых балюстрадок, дубовых подсвечников и липовых нераскрашенных матрёшек; как в городе Пржевальске бравый офицер в эполетах и с устремлённым за далёкий горизонт взором предложил мне целый ящик тушёнки – потупив глаза, сказал, что из говядины...

Вскоре купе моё – и ящики под нижними лавками, и третьи багажные полки – всё оказалось заставлено, заложено и завалено покупками... Проводница, в очередной раз собирая деньги за чай и за бельё, объявила Ульяновск. Разумеется, я уже знал наперёд, кого ждать. И даже если в чём-то ошибался, то только не в этом...

– Стойте, стойте, товагищ, там! – велел он мне, едва я начал спускаться из вагона на перрон Ульяновска. Я замер на верхней ступеньке, а Ленин наклонил голову набок, поддоброму прищурился и похвалил:

– Кгасота. Ну, прямо как на бгоневики!

Налюбовавшись, он помог мне сойти и задушевно сказал:

– Так дальше жить нельзя! Вам надо пойти другим путём!

– Господи, да конечно, Владимир Ильич! Так мне нельзя – в купе уже повернуться негде!

– Айхипгавильно, батенька! К чётговой матеги всю эту вашу дгебедень! А вместо этого нужно пгямо и гешительно, по большевистки, – кепочки!

Он распахнул молнию клетчатой сумки и предъявил товар – кепки велюровые, кожаные, байковые, коверкотовые...

Я схватился за то место на груди, где до начала демок-

ратических реформ у меня было сердце.

Собратья по купе смогли привести меня в чувство лишь на следующей станции – это недалеко от Ульяновска, в городе Волжском. Там продавали чудесное по цене и по убойной силе в расчёте на рубль–грамм–градус плодово-ягодное вино «Волжское», которое за мутные хлопья осадка на дне бутылок и за мрачную фиолетовую этикетку прозвали «Угрюм-рекой». Первый стакан попутчики мне буквально влили в рот, поддерживая пятернёй за затылок, запихивая следом куриную ногу и приговаривая:

– Пей, пей и закусывай, очухивайся. А то совсем сомлел, бормочешь третий день незнамо чего незнамо о чём, похмеляться не желаешь...

...Эх, цыпа, угрюм-птица! Редкая кура долетит до середины Днепра...

КОНЕЦ ФАНТАСТИКИ

– Да будь оно проклято, это телевидение вместе со всеми компьютерами и цифровым стереокино! Будь оно, будь оно, будь оно!..

Алоиз Ветров в отчаянии трижды стукнулся лбом об угол секретера. Тот отозвался глухим дребезжащим звуком. Второй путешественник во времени Дик Смайл в эту минуту очнулся в кресле и попытался вновь включиться в беседу, но лишь поднял и безвольно уронил холодную ладонь.

– Дьявол меня дёрнул завести разговор о телевизоре! Как же вы не понимаете?! Это же так просто, разрази меня торнадо!

Писатель Эдгар Аллан По участливо закивал и плеснул в стакан виски из пузатого стеклянного графина:

– Вы только не волнуйтесь, сэр. Держите выпивку и давайте с начала, я постараюсь понять. Значит, вы из конца двадцать первого века?

– Да, чёрт побери! А тут сейчас точно 1849 год?

– Так, сэр.

– У вас же уже есть телеграф и электричество! Дальше всё просто: вот вы передаёте сообщение по телеграфу...

– Ну да. По проводам.

– Вот же, мистер Эдгар, вот оно! А телевидение почти то же самое, только без проводов. Там передатчик, он посылает импульс. Тут приёмник, он его ловит и выводит на монитор... Ну, как вам ещё объяснить – вот гроза... Она далеко, а вы её чувствуете! Кошки, собаки чувствуют.

– Н-ну, да...

– Так они ловят электрические импульсы!

– То есть вы хотите сказать, что у вас в двадцать первом веке собаки чего-то ловят и это видно на каком-то экране?

– О боже! Третий час одно и то же, я не могу!.. Причём тут собаки?! Это электроника – на экране появляется картинка, и она движется! Хоть концерт, хоть кино. Кстати, первый фильм был «Прибытие поезда»! Поезда-то у вас уже есть?

– Прибытие поезда? Понимаю... – Эдгар Аллан По налил ещё две порции. – Выпейте побольше, господа. Полегчает. У нас хорошая медицина, она советует виски... Значит, вы говорите, поезд прибыл через какой-то экран?..

Дик Смайл взвился с кресла и схватил бронзовый подсвечник:

– Я больше не могу! Я его урою!

Алоиз Ветров повис на руках товарища:

– Тихо, тихо! Нельзя! Ремиссия времени, эпохальный сдвиг, воронка Симпсона – ты же знаешь возможные последствия!..

– Нет, урою! Или пусть он поймёт, что это проще простого! В эфир вылетает электронный сигнал...

– В эфир?.. – Эдгар По сильно удивился. – Вы говорите про это древнее учение Платона об эфире?.. Наши современные учёные давно доказали бредовость этого предположения... И если у вас, как вы только что изволили выразиться, в двадцать первом веке снова говорят об эфире...

– Ы-ы-ы!.. – Дик Смайл заплакал, утирая нос рукавом. – Что ж тут непонятного? Вы же писатель, основатель жанра фантастики, мистер По! Должны вникнуть!

– Ну хорошо. Пока не вернулась служанка с каретой скорой помощи и санитарями... Оставим это ваше, как его... телевидение. Но вы, господа, изволили заявить, что человек запросто может видеть сквозь стену и даже сквозь металл?! Кто из нас погряз в нелепых фантазиях?

– Пресвятая дева! Ну это же ещё проще, чем передача сигналов на расстояние! Есть уран, плутоний...

– Да, сэр! Уран знаю, планету открыли лет семьдесят тому... Но причём тут далёкая планета и возможность видеть сквозь стенку?..

– Да не планета, а рентгеновские лучи, чтоб вас семь тысяч ветров подняли и бросили на дно озоновой дыры, чёртов писака!.. Алоиз, я больше не выдержу! Прошу тебя как старшего экспедиции: достань и покажи ему гаджет! Покажи ему что-нибудь!

– Не положено. Воронка Симпсона...

– Вот заладил! Да знаю я, что правилами запрещено. Но я уже схожу, с ума покажи ему!

– Но у меня записана только реклама спонсоров скачка во времени, одна реклама... Больше ни на что не хватило памяти устройства. А на рекламе они настояли...

– Каррамба! Так покажи писателю рекламу!.. Глядите сюда, мистер По! Сейчас в этом чёрненьком окошечке вы увидите, что такое телевидение!

Реклама спонсоров скачка во времени транслировалась перед взором изумлённого писателя четыре часа без перерыва на фильмы...

...Как известно историкам, 3 октября 1849 года Эдгара Аллана По нашли в бредовом состоянии, лежащим на уличной скамейке в Балтиморе (штат Мэриленд). По словам очевидца, состояние его было совершенно бедственное, он нуждался в немедленной помощи. Его доставили в больницу, где он и скончался в пять утра в воскресенье, 7 октября. Эдгар так и не пришёл в сколько-нибудь ясное сознание, чтобы объяснить причины своего бедственного самочувствия. Лишь в последнюю минуту он успел пробормотать: «Восхитительный вкус колготок “Бромса”! Две палочки хрустящих тампонов от перхоти!»...

И оставил нас в этом мире мучиться в одиночку.

Галина ЩЕКИНА

Вологда

ЧАЙ С КОНЬЯКОМ

Алла Вадимовна опустилась, трудно дыша, на эсвэш-ный диван, забыв повесить светлый тигровый плащ, и заказала два чая. Она опять не успела ничего поесть перед отъездом, опять собиралась в пожарном режиме, хорошо, что аварийно-походная сумка всегда стояла наготове в огромной, как танцзал, прихожей. Смена белья, кофе, коробочка с лекарствами...

В своей трёхкомнатной «норке» Алла Вадимовна появлялась только к ночи, потому что после текущей работы финансового главы концерна она пыталась решать много других, далеко не финансовых, вопросов и не замечала, как электронные часы начинали мигать нулями – двадцать часов. Пора было ехать в «норку», да и там мысли одолевали, не давали спать. То давнее воспоминание жаром охлестнёт лицо, то, наоборот, мысль улетит далеко вперед, пытаюсь заглянуть, что будет там? Сколько ей ещё удастся поработать? Силы так быстро тают. Поясница даёт о себе знать, сердечко с недавних пор сильно подводит. Даже маски дорогие не могут этого скрыть, всё отражается на миловидном, но уже вянущем личике. Да, есть молодые смышлённые помощники, но в Москву почему-то отправляют её, Аллу Вадимовну. Она в любом критическом случае не будет звонить оттуда, отрывать от дел, она сама, на месте, сообразит, что делать.

Так сложилась жизнь – все несправедливости, предательства, все прорухи и потери Алла людям прощала.

И не то чтобы она была такой уж доброй. Нет, себе она цену знала, но просто понимала: если человек обманывает, бросает тебя посреди дороги без объяснений, значит, он сам в болоте ужаса. И уже – не опора!

Да, часами глядя в вагонное окошко на бегущие толпами деревья, поневоле увидишь там что-то своё.

Однажды на институтском вечере её пригласил преподаватель по экономической географии, и они о чём-то смешном поболтали, после чего он подвёл её к своему знакомому.

Знакомый был одет в серый мешковатый костюм и терялся в нём своей худобой. Он был светловолосый, сероглазый, без бровей, с белёсыми ресницами, отчего лицо его смотрелось таким беззащитным... почти альбинос. Белые лёгкие волосы чуть взлетали от каждого поворота. Он был из обрусевших немцев, приехал из бывшего Кенигсберга. Пока они танцевали, и знакомый рассказывал ей о своём общежитском житье, Аллочка впала в жалость и расстройство. Сама она была нежная девочка из хорошей семьи, по общежитиям никогда не скиталась, жила дома, ужин, накрытый на двоих с полотняными салфетками и старинным фарфором, был для неё обыденностью. Аллочка танцевала с тихим человеком, носившим пышное имя Густав Бауэр и, щурясь в лёгкой улыбке, думала: «Накормить бы его как следует. Вон, кожа даже просвечивает». И ей это удалось, когда она пригласила Густава домой.

Мама встретила гостя благожелательно, все кивала ему, соглашаясь с каждым словом, а на кухне втихомолку проронила: «Заморыш какой-то. Не обижайся. Будешь всю жизнь в люльке качать». И пошла пить свой длинный чай с коньяком... Когда она объявляла другим, что желает чаю с коньяком, она хотела этим сказать – вот черта, за которой меня не надо беспокоить. Первая чашка была ритуально важной – очищала мысли, грела ладони, загораживала от быта. В этот момент сидела в кресле не мама, а совсем другая женщина Анна – порядком уставшая от жизни, но оберегающая своё «я» от других.

Но Густав оказался не таким слабаком, как можно было подумать. Окончив военное училище, он не пошёл по во-

енной линии, поломал сложившуюся традицию и стал преподавателем. Соответственно, денег в семью он приносил немного, и Аллочка сразу как-то решила, что зарабатывать придётся ей. Получив экономическое образование, она сразу пошла работать и одолела нелёгкую служебную лестницу от младшего экономиста-сметчика до начальника отдела. А судьба-то ей помогала, и рождение сына никак её карьере не помешало – с сыном сидела суровая мама Анна. Густав то и дело уезжал на всякие научные конференции, и получалось, что его дома не было, хотя номинально как муж он существовал. Аллочка не капризничала и не попрекала его, когда муж возвращался домой после недельной или даже месячной командировки.

Начинался праздник – Новый год. Накрывали большой стол в столовой, за ним уже сидел их сыночек Коля в высоком кресле. Алла была из тех женщин, которые смолоду мамочки: всех им надо накормить, обнять, приголубить. Алла держалась на безусловном доверии, да и как иначе? Анна только качала головой. Она была сторонницей более жёсткого режима.

Густав не вернулся из очередной командировки, когда Коля пошёл во второй класс. Он стал очень походить на отца. Такой же светленький, сероглазый, бледный, почти альбинос, то же хрупкое сложение. Пришло письмо на трех страницах, где Густав очень скорбно и клятвенно объяснял ситуацию с другой женщиной, другим сыном, другим городом. От непростого мужа остался сын Коленька. И звучная фамилия – Бауэр.

Алла плакала перед ночным окном, задумывалась, снова плакала. Пыталась даже выпить чаю с коньяком, чтобы как-то отрешиться от реальности, но, отпив пару глоточков, забыла о нём. Аллочка была не просто отличница в школе, институте, на кухне, на работе. Она искренне верила, что её не в чем упрекнуть, что она всё сделала для них двоих, троих, четверых. В общем, для семьи. Да и правда, трудно было представить более проникновенную, великодушную, честную женщину, чем она... Куда только смотрел он?! А впрочем...

Удивительным образом Коленька после школы выбрал

военное училище. Не было в доме ни одной фотографии папы в военной форме, некому было рассказывать о ревущих моторах и холодных прикладах, о том, какие человеческие качества нужны для профессии военного. Но может быть, Коля потянулся к профессии интуитивно, чтобы спрятать за ней свою неуверенность в жизни?.. Так заключила Алла Вадимовна.

– Коля, ты сделал уроки?

– А то!

– Показывай!

– Легко!

В тетради у Коли красовались сплошные пятёрки. И когда на собрании Алла Вадимовна вдруг услышала, что он принципиально не ходит на историю, она просто онемела, ведь Коля был отличник, весь в неё! Она пришла домой и тихо сказала ему:

– Что же ты срамишь меня перед людьми, поросёнок?! Я думала, тебе можно доверять!

– Историю экстерном сдам.

– Слов понабрался. Кто тебе позволит?

– Позволят.

Коля, тихонький, нежненький стебелёк, уговорил педсостав пойти ему навстречу. Экстерном сдал историю, и это – в восьмом классе! Хрупкость Колина была образом, а под образом скрывался другой человек, которому не нравился преподаватель истории, и он ответил протестом. Протест учли.

В военное училище после десятого Коля поступил без проблем. Проблемы были в другом – он рано начал заглядываться на девочек. В девятом классе Алла Вадимовна едва пережила жуткую историю очередного романа сына. Ей позвонили родители одноклассницы и поставили вопрос ребром. В те времена никакие ранние браки не имели оправданий. Одноклассница лежала в лучшей клинике города в отдельной палате. Аллочка выложила за это страшные деньги.

Вглядываясь в тёмное окно, она беззвучно плакала перед чашкой чая с мёдом и коньяком, вернее, просто промокала платочком горячие безмолвные слёзы. Она пошла на

это, а ей хотелось оставить кровиночку сына. Чай ароматно остывал. Со стороны казалось, что это горюет девушка – узкие плечи, волнистые волосы, тонкие руки. Вошедшему внезапно Коле она, не оборачиваясь, сказала: «Поросёнок этакий». А тот ничего не ответил.

Это люди без стыда, совести и чести. Они ещё ничего не сделали, они ещё ничего не умеют, они сладко едят и сладко пьют из рук матери, а потом ей же в душу и гадят! Ну что тут ещё скажешь?

Коля давно спал, Алла всё сидела у окна, когда к ней подошла суровая Анна, нанося крем на лицо и руки.

– А всё потому, – проронила она, завязывая поясок бархатного длинного халата, – что ты его никогда не наказывала. Пороть надо за такие дела!

– Я не умею пороть. Ты сама-то много меня порола? Вот и я не могу.

– Так, видимо, разные вещи это. Кому-то можно доверять, кому-то – нет. Колька у нас себе на уме.

– Мама, нельзя пороть человека, который уже спит с девушкой. Он взрослый, мама.

– Взрослый? Для этого дела много ума не надо. Я тебя предупреждаю, не остановишь – хуже будет!

– Куда уж хуже, мама?

– Есть куда...

После военного училища Коля получил недурное распределение в Подмоскowie. Судьба жалела Аллу Вадимовну и не швыряла сыночка по Казахстанам, Монголиям и Курилам. Когда от Коли пришло письмо из Чечни, у Аллы Вадимовны был первый сердечный приступ. Такой маленький звоночек, который возвещал длительные и изощрённые нервные тики.

«Скорая помощь», увозившая Аллу на кардиологию, через десять дней вернула её обратно. Анна в бигуди, расхаживая по кухне в халате и накрывая лёгкий второй завтрак, сказала, что с Колей всё в порядке и в Чечню он попросился сам. Поросёнок!

Картины пережитых волнений проносились перед Аллой Вадимовной так ярко, так живо, что она, глядя в

тёмное окно вагона, совершенно расхотела спать. Обвела глазами привычные взгляду стены купе, стёганные спинки диванов, лампу на столе, оконную шторку в рюшах и воланах, два пустых подстаканника и раскрытую коробку конфет, громко храпящего мужчину напротив...

Почему ей никогда не попадают попутчицы, всегда попутчики? И вот этот седой господин, кажется, немолодой уже, а так суетился вокруг неё. Кого же он ей напоминал? Вспомнила: по телевизору показывали писателя Войновича, с таким же мужественным лицом, такого же седоволосого... Спутник вино предлагал, конфеты купил, заметив, что она заказала чай, поэтому сразу и познакомилась. Но конфеты ещё ладно, а вот хризантемы в хрустящем целлофане, купленные им на какой-то станции, это уж было лишнее, это обязывало. Аллочка была независимая, она этого не любила, но поскольку приличия требуют...

Со вздохом откинулась она на подушку, понимая, что от седого трудно будет отделаться после его реверансов. И как в воду смотрела. После беготни по министерским коридорам, после длинного совещания у замминистра голова у неё разболелась, и она даже обедать никуда не поехала. Машинально приехала в Сокольники – она так любила тамошний парк – села на лавочку, чтобы пожевать пирог с яблоком. И сама подумала: «Какое безобразие! Ну нельзя мне пирог с яблоком, мне бы лучше одно яблоко». Она боялась потолстеть. И тут судьба её жалела. Пышность груди, хрупкость плеч была подчеркнута тонкой талией, на ногу лёгкая, как и в юности, волосы пепельной выющейся гривой...

Выходя из вагона уже в родном городе, придерживая взлетающий на ветру длинный ажурный шарф, она столкнулась у вокзала с седым попутчиком.

«Тоже командировочный? – мелькнуло в голове. – Ну прямо наказание!»

Седого звали Савва Алексеевич, и, как оказалось, он тоже ездил в командировки в Москву в то же самое министерство.

Пару раз они поужинали в ресторане, где он с добродушным смешком признался ей, что он тоже начальник

финансового отдела, но на заводе. Не слишком ли много совпадений? Но о работе они не говорили. Незаметно получалось так, что Савва говорил, а Аллочка молчала, слушала, каждое слово запоминала. Что-что, а слушать-то она умела. И сама могла бы порассказать, но невыносимое сострадание к чужому человеку побеждало.

Саввушка оказался старше её почти на десять лет и несмотря на прочное общественное положение, а может, и благодаря ему, был по-человечески обкраден заботой и любовью. Четырёхкомнатная квартира в центре города, где проживали трое его детей и разведённая жена, не содержала никакого личного пространства для самого хозяина. Да, у него был небольшой строгий кабинет, красивый угловой диван, две стены книг, но в любое время в этот кабинет врывались чада и домочадцы за книгами, за распечатками, потому что там у него ещё стоял принтер... Нельзя было расслабиться либо просто упасть на диван и помолчать. Саввушка не мог возражать, потому что всех любил и всем уступал. Скандалов в семье не случалось только благодаря саввушкиному терпению и бесконечным его уступкам. Он понимал, что на закате жизни получил то, что хотел в юности, – семью. Чего же ещё? Все свои силы и все свои деньги он вбухивал в семью, и только в неё. Когда старший сын женился, он сюда же привёл и жену.

Была ещё проблема одеть дочек, но жена обычно входила вечером к Савве, садилась на диван и, ширкая щёткой по ярким крашеным волосам, говорила только одно слово: пуховик, или – сапоги, или – оплата второго семестра. Саввушка безмолвно подавал ей банковскую карту, и она уходила. Всё. Если нужно было идти в гости к старым знакомым или на премьеру в театр, жена приходила, садилась на диван, накладывала либо убирала маску с лица и произносила коротко: «Двадцатого “Пигмалион”». Саввушка кивал головой, и жена уходила. Они экономили силы, не тратились на разборки и на объяснения. Она не была потребителем, просто идеально знала ситуацию – кому, что, чего, когда, сколько. Она знала также, что у Саввы проблемы со здоровьем, и всегда оставляла ему диетическую пищу в отдельной посуде. Вроде бы налаженный быт,

налаженные отношения, пусть даже и не очень тёплые, но претензии было предъявлять не к кому. Саввушкина душа ныла иногда, но он её отключал.

Алла Вадимовна смущала его своей молодостью и красотой, ему отчаянно хотелось видеть на её месте старуху, ему казалось, что так он будет чувствовать себя комфортнее. Но судьба пошутила с ним. Аллочка из простенького громоотвода превратилась в ангела-хранителя. Она всё понимала про детей, квартиру, трескучую массажную щётку в руках жены, когда та приходила в его кабинет и требовала денег.

После очередного ресторана они в полночь появились, тихие как мыши, в аллочкином доме...

* * *

Вообще-то милая Алла Вадимовна, стыдно сказать, была страстной любительницей тряпок, умела пошиковать, и за последние годы в её просторных шкафах скопилось много нарядов, которые просто некуда было надеть. Ну не наденешь же на планёрку темно-синий бархат с голой спиной или строгий костюм из серебряной парчи, который при малейшем движении вспыхивал и переливался звёздами?

В силу своей скромности, она не очень любила сарафаны, но была такая слабость однажды – поймалась на игривое терраотовое вечернее платье на бретелях. По подолу оно было расшито крохотными атласными розами, и к нему прилагалось такого же цвета болеро с той же отделкой. Хороша бы она была в сером коридоре своего бетонного концерна в этом терраоте!

Однако необходимость появиться в ресторане с солидным мужчиной заставила Аллочку хорошенько перетрясти все свои золотые запасы. При этом она морщила носик, обнаруживая вещи, ненадёванные в течение трёх-четырёх лет, и тут же откладывала их в сумку, чтобы отдать бедным двоюродным сёстрам. Труднее было избавиться от длинных, выше локтя, перчаток, они покупались почти к каждому платью по цвету. Но что делать? Это была необъяснимая слабость Аллочки.

...Представ перед Саввой Алексеевичем в платье с открытой спиной, Алла дерзко разрушила его нерешительность. Она была тихим, затаённым существом, но в данном случае одежда молча говорила сама за себя. Вот и осудите теперь женщин за их тряпичные пристрастия! Терракотовое платье с накидкой вовремя появилось на сцене и сыграло свою роль. Ассоциативно его цвет перекликался и со смуглостью кожи, и с цветом чая и даже коньяка, не говоря уже про мёд.

Утро первой встречи было холодным до невозможности. Особенно если судить по выражению лица суровой Анны. Не здороваясь с гостем, вошедшая на кухню Анна демонстративно налила большой бокал чая с коньяком и удалилась. Намёк был ясен: меня это не касается, я – абстрагировалась.

Их совместная жизнь оказалась удивительной и такой же нечаянной, как и встреча в вагоне. Близость случалась у них редко, в первую ночь они вообще проговорили до утра. Такие женщины, как Алла, долго отвыкают от единственного, но ещё дольше они привыкают к единственному. Как в той сказке с запахнутым от ветра и распахнутым от солнца пешеходом, Аллочку приходилось долго разогревать. Но зато как славно и ровно она горела! Для неё каждое прикосновение оказывалось подарком. Не избалованная мужским вниманием, Аллочка это очень оценила. Гораздо больше, чем саму постель.

В юности с первым своим мужем Густавом она пережила, как ей казалось, настоящий водоворот страстей. Густав, несмотря на свою скромную наружность, был редкостным жеребцом и обожал близость, где попало: на кухне, в прихожей и особенно на природе, если такое удавалось. Да и потом молодость – когда так легко зажигаться от одного поцелуя. Аллочка не считала себя горячей женщиной, она легко обходилась без мужского внимания и сама усмехалась себе – надо же, какая я рыба! Откровенные женские разговоры, долетавшие до её ушек в компаниях, смущали не тем, кто сколько раз за ночь, а скорее тем, что ей это вообще было не нужно...

Приход в её жизнь Саввушки Алексеевича открыл ей себя по-новому.

Она стремительно расцветала румянцем, глазки её стали острыми и даже игривыми. Сослуживцы падали от удивления – они привыкли видеть красавицу Аллу Вадимовну пусть властной, но начисто лишённой кокетства.

А тут такая картина! Идёт планёрка у гендиректора, все отчитываются по кругу, каждый – за свой сектор, очередь доходит до Аллы Вадимовны. А она начинает вкрадчиво так говорить, как никогда не говорила, и по лицу её блуждает недоумённая улыбка. Настаивая на необходимости слияния института и производства на одной базе, она постукивает пальцами по пластиковой папке, которая отсвечивает золотом, потом поправляет свою невероятную пепельную гриву и снова кладёт ладонь на папку. И народ на планёрке зачарованно следит за этой сияющей рукой, потому что она светится и светится сама Алла Вадимовна, пронизанная покоем и счастьем, как спелая груша на солнце.

Мать Аллочки заняла по отношению к Савве позицию министра обороны. Она не выходила к столу, не здоровалась и только один раз, столкнувшись с Аллой у плиты, прошипела: «Ну зачем он тебе нужен, глупышка?» А та просто плечами пожала. Анна прибегала к чаю с коньяком не только ради дегустации, скорее, это был символ независимости.

Алкоголь с чаем можно употреблять разными способами. Первый способ – это смешивание благородных напитков. Если добавить в чай ложечку или две бальзама, ликёра, рома, коньяка, то получится чай с бальзамом, ликером, ромом, коньяком. А если смешать напитки (чай с ромом, водкой, коньяком или скотчем) примерно в равных пропорциях, то получится грог. Всё довольно просто. Но варианты ей были не очень интересны, хотя получалось и вкусно, и эффективно (в разных смыслах этого слова) – особенно грог из крепкого чёрного чая, скотча и мёда.

Гораздо более интересным старой Анне представлялся второй вариант употребления чая с алкоголем – совмещение (но не смешивание) напитков. То есть такое чае-алкоголе-питие, при котором чашка соседствует с бокалом, и идёт чередование напитков, когда можно наслаждаться

контрастами и взаимными смягчениями ароматов и вкусов. Именно в этих контрастах-смягчениях и скрывалось одно из наиболее изысканных удовольствий. И Анна искренне не понимала, почему она должна себе в нём отказывать?

* * *

Благополучно вернувшийся из Чечни Коля встал на сторону бабки. Он служил теперь в пригородном гарнизоне и появлялся дома раз в трое суток. Что с ним случилось, можно было только догадываться... Он никогда не качал права перед матерью и жил какой-то своей отдельной внутренней жизнью. Почему вдруг ему так стало важно, с кем и где проводит Аллочка свои вечера? Коля-то знал, где проводить свободное время. О результатах было нетрудно догадаться по смятой грязной одежде, по разбросанным бутылкам и тяжелейшему перегару, который стоял в его комнате плотной завесой.

Старинная квартира Аллочки с трёхметровыми потолками стала тесной. Саввушка переехал сюда после тихой, почти аскетической регистрации брака с Аллой, которую торжественно не отмечали. Всё они чего-то стеснялись, всё им казалось стыдным привлекать к себе внимание, хотя счастье крупным шрифтом было написано у них на лбу. Что интересно — давняя хворь отпустила Савву Алексеевича на свободу, и он даже перестал просить надоевшую овсянку по утрам, позволял себе кофе и тосты с ветчиной. Алла качала головой. Она как раз боялась, что после разъезда со своими он просто сляжет на нервной почве. Но нет. Всё обошлось.

Не обошлось с матерью, Анной. Как раз внезапно слегла она. Две недели больничных пролетели быстро, и Алла робко попросила о помощи Коленьку. Но тот, объявив, что пока переезжает жить в гарнизон, собрал сумку и был таков. Непонятна была его отчужденность по отношению к Савве. Тишайший человек, вежливый, аккуратный. Никому дурного слова не молвит.

Она сидела перед ночным окном, ища ответа в качающихся деревьях, слишком быстро бегущих по небу

облаках. Как будто ночное небо и слабые лунные отсветы могли её вразумить, научить. Почему они такие, почему ты им всё, а они тебе – ничего? Ведь та же бабка не жалела сил, когда нянчила Колю. Но на эти вопросы не было ответа. Вернее, ответы были, она догадывалась, но они её не утешали. Возможно, она сама была виновата. Каждый ведь получает того ребенка, которого он заслужил. Аллочка зашторивала окно, поворачивалась к трельяжу и начинала разглаживать нахмуренное личико ореховым молочком. Она, кажется, забыла об очередной примерке у своей элитной портнихи. Где же её телефон? Новый ансамбль из буклированной синей ткани должен быть готов к празднику...

Алла умыла больную, унесла тазик, принесла поднос с кашкой и натёртыми фруктами.

– Мама, я найму сиделку, ты только не волнуйся. Ничего ведь страшного. Просто нужно, чтобы с тобой кто-нибудь был.

– Мне никого не надо. Мне жить осталось недолго, я и одна полежу. Ты можешь спокойно сдать меня в больницу.

– В больницу тоже кого-то нанимать нужно. И я не буду знать, что с тобой. А тут у тебя под рукой телефон, ты возьмёшь и позвонишь, или сиделка...

– Я не хочу никого чужого.

– Мам, ты говорила, у тебя родня есть где-то?

– Родня есть, но мы уж много лет не общаемся.

– Почему?

– Потому что была старая история с наследством, и братова жена порвала с нами.

– Что за история? Не помню.

– У нашей матери была сестра, тётя Маруся. Матери давно нет, а Маруся, умирая, оставила наследство. Куда оно делось? Пошло моей сестре Тамаре, потому что она за нею ухаживала. А брат Захар жил далеко и касания к Марусе, как и я, не имел. После смерти Маруси мы встречались, и по завещанию ему ничего не досталось. Жена Захара, конечно, обиделась. Настроила его...

– Может, пора уже помириться?

– Поздно. Ведь ты дядю Захара помнишь?

– Помню. Мы с тобой были у него когда-то на юбилее. Дядя Захар хороший, очень на тебя похож.

– Ты не бросай его всё-таки... Когда меня не будет, навещай. У него дети совсем далеко.

– Да что ты завела, мама? Завещание, что ли, собралась писать?

– Мне завещать тебе нечего. Всё, что есть, лежит в шка-тулке у меня в шкафу.

Анна быстро худела. Через пару месяцев её было не узнать.

Спустя полгода Савва Алексеевич тоже слёг. Счастье стремительно уменьшалось, сходило на нет. Вскоре от сияния Аллы Вадимовны не осталось и следа. Теперь это были поджатые губки, складки у рта и пустые-пустые серые глаза. Хоронить их пришлось одного за другой. Крест это, наказание или благо, но два дорогих человека угасли быстро, будто бы не желали виснуть цепями на хрупких ручках Аллы. Венки, скорбное убранство для похорон, сами похороны на двух разных кладбищах, как было и завещано, богатые поминки – всё это она вынесла, не дрогнув. Наверное, больше всего она мечтала увидеть здесь Коленьку, последнюю опору, утешение матери на старости лет.

Трудно было его упрекать, он был подчинён своим де-журствам, но если б сильно захотел, то смог бы. Значит, не захотел... Картинка в глазах стояла: спящая мать и пол-зающий вокруг неё, обложенный подушками маленький Коля. Картинка из прошлого: Коля, измазанный кашей, на своем нарядном стульчике, а перед ним мать в длинном халате, с горошистым шарфиком на жестких кудрях. А по-том она же, моющая его ботинки сорок пятого размера.... Нет, не дорого ему ничего. Вырос – и отрезало. А вроде такой нежный был, отзывчивый...

Алла Вадимовна всё искала глазами Захара и его род-ню, но не находила. И рассеянно думала: «Вся эта история с наследством напоминала бред, но именно этот бред не дал возможности проститься Захару с моей матерью». Две женщины в чёрном тронули её за локоть на кладбище перед опусканием гроба мамы. Глядя её по плечам, они сказали,

что они дочери Захара. И она заплакала, обнимая их. Она и потом их не оставляла, помогала, успокаивая себя тем, что родственные связи не оборвались окончательно...

Она смотрела в окно, за которым сизой стеной стоял ливень, и привыкала жить одна. Она только что вернулась с могилы Саввушки, где оставила венки и охапку хризантем. Позже она поставит памятники чёрного мрамора ему и старой Анне. Мокрая одежда – нежно-голубой ангорский свитер, голубая же куртка с белым мехом по капюшону и голубые лосины – сушилась в обширной ванной, а сама она, выкупанная и укутанная в облако белого махрового халата, грела руки о большой чайный бокал.

Щёлканье ключа в прихожей заставило её вздрогнуть. В большой передней раздался грохот и шум, и она по запаху поняла – Коленька. Выбежала навстречу, не помня обид и непочтённой могилы матери, – рядом с Колей стояла роскошная дева в мягком кожаном плаще в пол, с косо висящим на плече меховым хвостом. Длинные волосы, намокшие от дождя, спускались слева белыми прядями, а справа – красно-коричневыми. Рядом с нею Коля в его армейской маскировочного цвета одежде выглядел просто нелепо.

– Мама, это Надя. Мы сегодня расписались!

– Надя? Ну, хорошо. Я рада! Входите, сушитесь. Может, чаю?

– Чаем не обойтись, – встряхивая куртку, отозвался Коля. – Тут бы чего покрепче!

– Конечно, – подхватила Алла. – Даже нужно, сороковой день ведь сегодня.

– А я помню, я тут захватил для тебя, – Коля вытащил припасённый литровый флакон рома «Бакарди».

За столом молчали. Лицо Нади было кукольное. Высушенные феном двухцветные волосы, неестественно пухлые губы, почему-то все время потупленные глаза.

– Наденька, вы здешняя?

– Я москвичка. Мы с Колей познакомились в ресторане.

– А по профессии кто будете?

– Я – женщина, и этим всё сказано!

Коля её обнял, никого и ничего не стесняясь, будто они были вдвоём. Аллочке было страшно почему-то, как в

фильме ужасов. Ром не брал её хмелем, только горячил и нервировал ещё больше. Дешёвая, броская Надя не была похожа ни на какую жену, скорее на девочку из подворотни, но матери никогда ничего не понимают в женщинах, которых выбирают их сыновья. Лучше не думать об этом, лучше думать о том, что вот, наконец-то, в опустевший дом вернулся ребёнок, и она снова может заботиться о нём; что ещё не всё потеряно...

Потери проявились быстро. Коля уезжал на дежурство, форму гладил себе сам, завтракал тем, что оставляла мама. Надя спала, сколько хотела. Однажды Аллочке вздумалось позвонить домой, так как она не успела достать из морозильной камеры гуляш и хотела попросить об этом Надю, но та долго не отвечала, а потом сонным голосом сказала: «Да-да, конечно! Когда встану, всё сделаю», – а уж было два часа дня.

В скором времени в доме замелькали гости из Москвы: Надина мама, пышная мелированная блондинка, Надина тетя, Надин папа, весьма круглый господин, с лопавшей-ся на нём одеждой, ещё какие-то незнакомые лица. Они подолгу сидели на кухне, ели, на ходу разогревая пиццы и шаурму, купленную на рынке. Как правило, гости приезжали по выходным, и Аллочка боялась выходить на кухню. Она отвлекала себя походами по магазинам, не спеша заходила в «Макдоналдс»...

Однажды, вернувшись домой к вечеру, она застала полную тишину и отсутствие в гостиной ковра. Сказала об этом Коле. Тот отмахнулся:

– Да, её матушка такая мешочница, всё что-то «комбинирует».

– Но, Коля, это же – воровство! Да и как можно было вытащить трёхметровый тяжёлый ковёр? Его даже вдвоём не поднимешь!

– Перестань страдать о ковре, Надька беременна, и я не буду сейчас разборки устраивать.

Алла Вадимовна похолодела. Она теперь всё время чувствовала себя как в фильме ужасов – из дома исчезли пылесос, музыкальный центр, второй ковёр, итальянское кресло на роликах... Она не могла с этим смириться –

не то чтобы мешочница, как Надина мама, но ведь эти ковры ещё её матери, это же всё-таки память...

– Наденька, я хотела вам сказать...

– Что? – выжидательно сложила Наденька силиконовые губки.

– Ваши родственники как-то странно пользуются нашими вещами. Объясните, что происходит?

– Ничего странного. Мама обменяет их на другие, ещё лучше.

– Извините, но вы хоть бы могли спросить!

– Она вернёт, не бойтесь, она умеет.

– Надя, вы хотя бы устройтесь на работу. Вы же целыми днями лежите, а я вечером прибегаю готовить ужин!

– Так не готовьте, очень надо! Если я буду работать, вам же накладнее выйдет.

Алла ушла на работу в полном оцепенении. Она вспомнила Саввушку, как он всегда отстегивал жене солидные суммы. Но чтобы так откровенно... Впрочем, хорошо, что он всего этого не увидел. Бедный Саввушка приголубил её, да ненадолго. Каково ему теперь одному?

В следующий приезд родни Аллочка встала перед кухней как привидение, и Надина мама не смогла вывезти из кухни холодильник.

– Что это ты, сватыюшка, с таким-то вызовом?

– Простите, но мне холодильник самой нужен.

– А ты кто здесь?

– Я – хозяйка квартиры.

Надина мать захохотала.

– Хозяйка тут дочь моя, Надежда, а ты – пришей-пристебай, – и закрыла дверь на кухню и загремела там Аллочкиным чайником и Аллочкиной посудой.

Как оказалось, Коленька пытался прописать Надю, но его завернули и сказали, что без согласия квартиросъёмщика это невозможно. Да он бы вырвал у неё и согласие это, и даже без попыток! Если бы не маленькая случайность: Аллочка приготовила подарок для коллеги по работе – дорогой чайный фарфор в трёх бархатных коробках, позвонила, чтобы вызвать машину с работы, машины не было на месте, Аллочка умчалась на такси, про фарфор забы-

ла, вспомнила о нем только перед самым чествованием. Конечно, ей дали машину, и она примчалась домой в три часа дня. Опасаться было нечего, это был рабочий день, не выходной. Но входная дверь оказалась полуоткрыта! В гостиной находились трое незнакомых мужчин, которые молча курили, задымляя нежную органзу на высоких окнах квартиры, играла какая-то странная музыка, которую обычно крутят на рынке. Откуда она играла, ведь центра давно уже не было? Из супружеской спальни стремительно выскочил какой-то субъект с голым торсом, рухнул на диван, закурил:

– Следующий!

– Простите, – сказала Алла, еле ворочая языком, – а что здесь происходит? Кто вы такие? – и стала набирать номер.

Мужчины недовольно на неё покосились, но не тронулись с места. Тем временем из спальни, куда ушёл один из странных гостей, слышались стоны. Все громче, громче. Аллочка не могла вспомнить, зачем она здесь оказалась? Она тёрла лоб ладонью, пошла на кухню, стала пить ледяной сок из нового холодильника. Она раздумала вызывать милицию, позвонила Коле.

– Дорогой, – сказала она, – кажется, нас обокрали. Приезжай!

Она тогда не попала на чествование, потому что забыла, где лежит подарок, и вообще забыла обо всём. Когда приехал Коля из гарнизона, всё было уже кончено. Только тут дошёл до бедной Аллы Вадимовны истинный смысл Надиного выражения «Я – женщина». Надя, устроившая притон в обычной тихой квартире, срубала за дежурство до двадцати тысяч. Золотой жиле пришёл конец. Как она собирала чемоданы, как эти бесконечные чемоданы вывозили из квартиры, Аллочка даже смотреть не хотела. Большим утешением для неё было посидеть на пустой, с новым холодильником, кухне, посмотреть на пустые полки, где уже не красовались ни электрический чайник, ни кофеварка, ни микроволновка. Облокотившемуся на дверной косяк Коленьке, она устало проговорила:

– Ну ты и поросёнок, дорогой! Где ты только откопал её? Впрочем, уже неважно...

То, как сыночек отдыхал от семейной жизни, лучше и не вспоминать. У Аллы ведь осталась от мамы небольшая дачка, которая полностью пришла в упадок из-за недавних скорбных событий. Кому же, скажите на милость, придёт на ум ремонтировать резные крылечки, когда в доме тяжело болеют близкие или, ещё хуже, другие близкие полностью сходят с ума на почве своей личной жизни? Пару лет назад Аллочка в последний раз была там, на даче, вместе с Саввой Алексеевичем. Они договорились с мастером подправить падающий забор. Пока на всю округу стучали молотки, они ходили по вымощенным ещё при маме дорожкам. Смородина там всякая, шиповник, сливовник забили все пустые места, их было нужно корчевать.

Теперь Аллочке пришлось засучить рукава и взяться за дачу серьёзно. Этим она хотела отдать дань памяти матери, да сразу и Савва так ясно вспомнился. Приехав туда на такси накануне выходного дня, она рассчитывала остаться там дня на два, однако, войдя в калитку, сразу стала лихорадочно вспоминать, во сколько же идёт обратная электричка?

Большие купины пионов все были поломаны, помяты, посредине клумбочки с флоксами и георгинами точно трактор проехал, огромные комья унавоженной земли валялись прямо на белой узорчатой дорожке, а в беседке... Беседка была закидана бутылками и женскими трусами. И вот она стояла, положив ладони у горла, и смотрела на это безобразие. Чьих рук это дело, было сразу понятно, но начать приборку ей мешало какое-то незнакомое прежде чувство, она задыхалась от него, её даже кружило, тошнило и застило глаза. Аллочка не была гневливым человеком. Она как-то приучила себя воспринимать всё вокруг как данность, на которую она не в силах повлиять. Раз это есть, значит, надо с этим что-то делать, а если ничего не поделаеть, значит, просто смириться.

Простая натура Аллочки не ведала никаких восточных учений, ничего такого, просто благодаря нормальному воспитанию у неё была глубочайшая убежденность: только она может всё исправить, если судьба её с этим столкнула. И, положив сумку на лавочку, она проглотила комок

в горле и решилась облагородить свой затоптанный уголок. Благо у неё были две бочки для сухого мусора, грабли, метлы и ведра. Всё, что можно, она сожгла, дорожки вымыла струёй из шланга, чудом уцелевшие цветы окопала и пустые места засеяла газонной травой.

Слава богу, свет ещё не был отключён, и можно было согреть чайник на плите. Дико устав, она немного успокоилась и, выпив три кружки чая, всё-таки пошла на электричку. Не того она боялась, что придётся ночевать в оскверненном доме, а того, что Коля внезапно приедет, да не один... В первый же вечер после возвращения сына она осмелилась высказать ему порицание.

– Знаешь, дружок, я не умею читать мораль. Я знаю, ты большой, и всё равно будешь жить так, как тебе вздумается. Но лучше бы я ничего этого не видела, не знала. Пусть бы у меня осталась память о тебе, как о моём мальчике, который, неизвестно почему, стал тобой. Ты лучше живи в своей казарме, там тебя никто не осудит. И поищи себе другие места для отдыха. Я так не могу, понимаешь? Ты мне ничего не оставил, никакого уголка.

При этом она ничего не сказала про дачу. И сын не сразу понял, о чём это она, потом покивал, вздохнул и ушёл к себе – сказать-то нечего.

Казалось бы, огромный опыт работы, знание людей, ненормальная, гипертрофированная честность и жуткое трудолюбие – всё это должно было облегчить существование Аллы Вадимовны и её карьеру. Теперь она работала заместителем гендиректора по экономике и всё также уставала, задерживалась в кабинете допоздна и приезжала домой уже к ночи. Под её началом работало несколько молодых и ранних специалистов, но, несмотря на хорошую подготовку, они не были надёжными помощниками на все случаи жизни, и она не решалась передать им бразды правления. Смешно сказать, она даже стеснялась дать кому-то лишнее поручение, ей было проще самой смотаться на подписание договора, в банк, в командировку.

Коля попросил одолжить на машину, вёл он себя тихо, и мать ему не отказала – была тайная надежда, что прекратится этот ужас с бутылками. Вскоре Коля поехал в какой-то

кемпинг в Крым и вернулся не один. Она, конечно, ждала этого, ждала со страхом невозможным. А получилось очень интересно: Коля попросил пригласить на свадьбу кого-нибудь с её работы, непонятно, зачем ему это было нужно, но попросил. Она пригласила самых проверенных людей, из тех, кто раньше мог бы работать в первом отделе – всё знают и всегда молчат.

Алла постаралась себя успокоить заранее, что бы ни случилось в этом ресторане вплоть до танцев в голом виде на столе. Но Люда держала себя очень достойно. Она отказалась от трехслойной юбки на кринолине и голых плеч, её платье было выдержано строго в стиле восемнадцатого века. Это был очень простой и очень дорогой наряд: вышитый атласными нитками шифон, кружевной верх и длинная кружевная накидка на плечи. Не белый, а скорее телесный цвет платья при вечернем освещении казался золотым. Люда с высокой причёской, но без фаты, вовсе не пила вина, лишь прикасалась губами к фужеру. Коля неотрывно смотрел на неё и тоже не пил.

«Ага, – подумала Аллочка, – наконец-то!»

Она упустила момент, когда невеста танцевала с её младшим коллегой по работе, а когда образовалась некая пауза и молодые с гостями стали танцевать вереницей в парке, этот самый лощёный коллега подошёл к ней и сообщил, что Люда желает у них работать, что у неё, оказывается, высшее экономическое и что он этому очень рад. Замдиректора по экономике обомлела. Лучше бы не было у неё этого экономического, зачем? Тут ей вспомнилась Надька из Москвы, которая была просто женщиной, и Алла Вадимовна тепло поблагодарила коллегу. Коллега же постарался, чтобы невестка уважаемого шефа получила максимальный оклад.

Каждый день, приходя на работу, Алла Вадимовна навостряла уши и думала: «Ну что, началось или пока ничего?» Всё было «ничего», но лишь до поры до времени... Люда не нарушала, не прогуливала и не порочила. Она приходила в выглаженном донельзя костюмчике, в аккуратном макияже, скромно цокала по коридору, не разгибаясь, сидела над отчётами. Уж не подарок ли это судь-

бы? Может, хватит уже рвать сердце по поводу Колиных загулов, может, к тридцати пяти годам он, наконец, стал человеком?

Приходя домой, Алла осторожно выглядывала из прихожей. Странно: прихожая была на месте, холодильник тоже, жидкокристаллический телевизор так и висел на стене, как его и повесили. Ковры уютно глушили шаги. Никто ничего не грузил и не увозил. Алла облегчённо вздыхала и шла на кухню. Молодые никогда не гоняли её, не тревожили, пока она пила свой чай с коньяком и творожной запеканкой. Если у неё было настроение, она запекала мясо в духовке, а не было – просто оставляла готовое блюдо в вакуумной упаковке. Но и это ещё не всё.

Приехав по весне провести дачу, Алла обнаружила новую беседку взамен старой, покосившейся и новую теплицу, и пристроенную к домику веранду. Как видно, новая невестка не просто старалась заслужить её расположение, она просто голову имела на плечах, и в этой голове не дул ветер. Сын поменял подержанную шестёрку на мощный «Джип», и вообще как-то заматерел. Он сам предложил смотаться на оба кладбища, и к Савве, и к бабушке, прибраться, покрасить оградки.

– Покрасить? Оградки? Ты будешь красить? Сам? – до Аллочки что-то не доходило.

– Нет, мы вместе будем красить, вместе с Людой. А ты поедешь просто провести.

Они съездили, всё сделали, а Аллочка опять ждала подвоха. Глядя в ночное окно, кутаясь в просторный белый махровый халат, она думала: «Может, они хотят, чтобы я квартиру на них переписала? Или, может, дачу? Или я не знаю – что?»

После двух лет жизни, спокойной, чёткой, ничем не омрачённой, без подлости и пьянства, без скандалов и обманов, Люда внезапно ушла. Это был тихий удар невероятной силы. Был ли в том виноват молодой коллега с работы или какой-то другой мужчина, или, боже упаси, женщина, – никто не знал...

Коля превратился в зомби и потерял дар речи. Всегда можно отличить, когда человек дрожит над своим реноме,

а когда он просто не хочет жить. Коля именно не хотел. Видимо, в этот момент стали проявляться в нём какие-то черты, привнесённые профессией: сцепил зубы и решил стоять насмерть. Он молчал утром, когда гладил форму, молчал вечером, когда ужинал перед телевизором, он молчал на даче, во время шоппинга и всегда.

Аллочка тоже молчала. Она боялась открыть рот, чтобы нечаянно не вырвалось имя невестки. Наблюдать за страданием Коли было невыносимо. Она чувствовала, как физически на неё давит старинный трёхметровый потолок, как не хватает ей воздуха, влетающего в открытое окно, и чудилась ей какая-то конечность существования во всём этом. Поэтому она совершенно осознанно оформила завешание, указав в нём единственного наследника. Если что, то бумаги будут в порядке. Как будто ей предстояла опасная операция и никто не знал её исхода. Но операции ей не предстояло, её ожидало ещё одно испытание.

Дело в том, что Люда, уйдя из их дома, не ушла с работы. Она всё также сидела в своём кабинете, не меняя ни причёску, ни костюм, ни манеру поведения. На совместных планёрках сидела, опустив глаза, отчего никто даже и не знал о случившемся разрыве, и путёвки ей, как и прежде, выделяли на два лица, только второе лицо был не Коля.

Алла не могла переломить свою гордость и начать переговоры. Всё, что между ними с Колей было, не подлежало никакому вмешательству. А как хотелось подойти, просто взять за руку, окликнуть в коридоре, спросить, как дела? Наверное, Люда это чувствовала, но держалась на приличном расстоянии.

Прошёл целый год этого изматывающего молчания. Пришлось уговаривать себя, что всё случившееся – болезненный сон, что это вовсе не она, а кто-то другой, просто похожий на ту Люду в свадебном наряде с бельгийскими кружевами.

Этот год принёс в жизнь Аллы Вадимовны ещё одну меру скорби. Дядя Захар стал очень болеть, попал в больницу с инсультом. Аллочка обрывала телефоны, искала

лучших врачей. Теперь её могли поднять не только с начальственного кресла, но и ночью с постели по самой настоящей тревоге.

Двоюродная сестра, дочка Захара, ей звонить боялась, зато сам Захар не стеснялся, а может быть, он сдавался требованиям своей крутой характером жены. Захарова дочь Поля, до этого похоронившая дедушку и бабушку мужа, барахталась в омуте родительских болезней, всегда бегущая бегом, всегда замученная безденежьем и заботами. Почему-то именно она казалась Алле Вадимовне самой доброй, самой понимающей подругой. Алла просила её к себе, чтобы попить чая с коньяком и излить друг другу душу. Полинка тоже переживала историю с уходом невестки очень горячо.

– И что, не ругались?

– Не ругались, – эхом отвечала Алла.

– И пьянок не было?

– Не было.

– Может, в постели что не так?

– Ну, этого же никто не знает...

– Отец-то после инсульта теперь дома у нас. Знаешь, что сказал?

– Что?

– Сказал, что тяжело нам придётся, жалко, что настоящая-то дочь, Аллочка, не может его к себе взять. Видишь, дочкой тебя считает.

– Не слушай, Поля, это у них замещение сознания...

Поля, кусая губы, уходила, вздыхая, обнимая её в прихожей, но при этом как бы даже стыдясь, что её-то беда куда меньше Аллочкиной. Поля в то время была элитной няней, причём возраст детей – от нуля, то есть даже груднички. У неё имелось высшее образование, но зарплата в детском комбинате была никакая. За работу с детками богатых родителей – банковских сотрудников, директоров фирм, чиновников высокого ранга – ей удавалось получать до двадцати тысяч рублей в месяц. Работая у одного предпринимателя, который был в разводе и вёл дела в столице, Поля сумела помирить его с бывшей женой.

Трёхлетний сын предпринимателя был довольно тяжё-

лым ребёнком, его даже хотели устроить в специнтернат с логопедическим уклоном. К моменту появления Поли мальчонка уже намаялся в больницах, а с Полей вдруг перестал болеть и заговорил. Поля своим сестринским грудным чутьём почувствовала, что гонор его супруги напускной, любовники – придуманные, а привязана она к бывшему мужу нешуточно. Общались они, в основном, по телефону, а когда он приезжал проведать сына, Поля подстраивала этим разведенцам всякие нечаянные встречи. За два года акценты незаметно сместились, предприниматель хоть и уехал опять в столицу, но брак с женой всё-таки оформил. Мало того, появилась перспектива прибавления в семье.

Вот таким горячим человечком была Поля. Она когда по улице бежала в обнимку с этим малышом, все думали, что это – её личный пацанчик. И когда у того случались разные истерики, типа «Купи мне этот автомат, а то папе позвоню!» – матери приходилось звонить няне Поле домой. Няня могла уговорить малыша даже по телефону. Поэтому очередь к ней занимали за два года, как в настоящий детский сад.

Однажды Полине позвонила женщина и попросилась в эту «тайную» очередь. Она почему-то мялась и даже говорила каким-то странным голосом, будто не хотела, чтоб её узнали. Полина ответила ей честным отказом, объяснив, что у неё как раз со следующего года будет новый ребёнок. Но Полинка же кого хочешь узнает, тем более – Аллу Вадимовну.

Сердце у неё забилося. На кого же это очередь можно занимать в окружении уважаемой Аллы Вадимовны, если её собственный сыночек в разводе? А на него и занимала, вернее, на его ожидаемого ребёнка. Дело оказалось простое – Коленька в очередном рейде по ресторанам нос к носу столкнулся с Людой, той было никуда не деться. Она побелела лицом, попыталась выскользнуть из зала, но Коля этого не допустил. Она – в туалет, он – за ней, там визг во всю ивановскую! Никого не слушая, взял Людмилу за плечи и сказал: «Не дам тебе огородами уйти к Котовскому, ясно? Дурак я был, что тебе свободу предоставил.

Вы, женщины, этой свободой пользоваться не умеете. С сегодняшнего дня свобода отменяется». – «Ты не посмеешь! У меня своя семья, я тебе подчиняться не стану!» – «Знаю я твою семью! Это не семья, а шашни! Твоя семья – это я и ребёнок, которого ты мне обещала родить, и квартира, которую мы скоро получим». – «Пусти, мне больно!» – «Мне тоже было больно. Я терпел. У тебя тоже поболит и перестанет».

На крик прибежала, видимо, та самая подруга, яркая, экзотичная, беловолосая, как тропическая птица. Однако и её с виду интеллигентный Коля резко послал словом, в угол, а выворачивающую руки Люду обхватил за плечи, посадил в машину и повёз в неизвестном направлении. Наверное, этот фактор нельзя разрушить одним махом, интрига может сохраняться долго. Молчаливый Николай Бауэр всё-таки был военным офицером, а они не любят сдаваться.

Дома у Аллочки Люда была уже тише воды, ниже травы. Что уж он ей там такое сказал – неизвестно. Бить он её не стал, любил всё-таки. Автоматически пошли консультации, процедуры, санатории, везде он её безропотно возил, в том числе и за город. Вслед за тем неизбежно начался декретный отпуск. Аллочка пыталась разузнать у сына, что да как? Но он прикладывал палец к губам – «Молчи!», и она испуганно замолкала. Постояв в недоумении перед окном, она шла пить чай с коньяком, чтобы успокоиться. Чай перешёл к ней по наследству от матери – и это, видимо, помогало.

Уже перед самым декретом Коля повёз Люду в загс, и они снова поженились. Станным образом всё повторялось. Люда была по жизни достаточно хрупкого сложения, но приятной внешности. В беременности же очень пострашнела, едва ходила, сильно отклоняясь назад. Когда они приехали в загс, там лишних вопросов не задавали.

Собственно, Николай стал как-то странно воздействовать на людей, он лишь смотрел, сначала в упор, потом – прикрывая глаза белёсыми ресницами, от него исходили незримые волны, и абсолютно всем становилось понятно, что он просто так не отстанет. Только потом его мама уз-

нает, что такая срочность не была капризом Николая – подошла очередь на квартиру, и от росписи зависело, сколько будет в ней метров? После службы в чине капитана его повысили до майора, и он получил сразу трёхкомнатную.

На выписку из роддома приехали Николай, его приятель с подозрительно белокурой подружкой (не с той ли самой, на которую обрушился гнев в ресторане?), приехала Алла Вадимовна на служебной машине, на такси примчалась Поленька с огромным букетом, и вообще в выписной комнате собралась немыслимая толпа народа. Непостижимым образом очутился там и учтивый коллега, который однажды постарался с окладом!

Когда показалась худая Люда с заострённым лицом и печальным взором, а кружевной розовый конверт в её руках пронзительно запищал, плавно переплыв в объятия папаши, Алла Вадимовна поняла: в её жизни началась новая эра. Собственно, сама жизнь только началась! Как в сиянии дорогой люстры, вспыхнула память у Аллочки, и она сразу нашла в себе силы не только приготовить приданое, но и купить коляску, кроватку, а к ней – эксклюзивную постельку и балдахин в розовых тонах. Не только её жизнь, но жизнь всей семьи зависела теперь от обитательницы сказочной кроватки с балдахином. И если надо прожить ещё одну жизнь, чтобы поднять кроху на ножки, – Аллочка её проживёт.

УЛИЦА ГОБЕЛЕНОВ

Запретные мысли не выскажешь вслух. Но они мечутся где-то внутри, ограниченные жёстким, навязанным сверху мышлением. Это похоже на прозрачные толстые стенки аквариума, за которыми прыгают золотые, синие искры чудесных рыбок, будто один хвостик и бриллиантовый глаз. Это – блошинный рынок на конечной остановке жёлтого народного автобуса. Теперь есть такие бесплатные автобусы для неимущих...

В подземном переходе на остановке продают гобелены в рамах. Остановка так и называется – «Улица Гобеленов». Ленивые львы, ниспадающие ветви южных пальм и роз, зеркальные воды и крохотные домики, островерхие решётчатые беседки – всё это плывет мимо и заманивает. Все эти пышные красоты словно созданы, чтобы тебя успокоить, обаять и навеять сон. А дальше, за блошинным рынком, если идти налево, располагается большой магазин с гобеленами. Их сотни, но уже без рам. «Тайная вечеря», где у Христа и апостолов вся одежда из бархата. А разве могло так быть? Нет, конечно, это же были запыленные странники, жившие милостыней... Портреты неведомых дам в шелках и перьях и сумрачных сирен, которые ускользают в гроты...

«Фактура гобелена помогает создать теплоту восприятия», – так думала Дружана.

Волею судеб она попала в технический вуз, а сама по привычке всё тянулась к тканям. Чисто женская черта. Образ мышления. И мир её был где-то там, среди этих тканых пальм и заводов. Дружана шла на блошинный

рынок за старыми тканями, за чудесной пёстрой мелочью, за чем-то ещё, за чем – пока не знала. Иногда её просили сделать панно кому-то на день рождения. Она находила в журналах личико, а локоны и платье клеила сама.

Дружана – существо акварельное, полупрозрачное, светло-серые глазки и сноп русых волос, а сбоку – косичка, чтобы не лезло в глаза. В косичке – фенечки, на запястьях – самодельные браслетки из смолы. А ещё на ней простонародная синяя рубашка-косоворотка, по рукавам вышитая крестиком. Сверху – овчинная жилетка серая, потому что хоть и весна, но ветер студён.

Мать с тревогой смотрит на воскресные походы дочки на блошинный рынок. Говорит:

– А зачем? То, что надо, у нас есть напротив, в лавочке «Всё для шитья». Ходишь по этим окраинам, делать тебе нечего.

Но Дружана недоумённо плечи поднимает – надо объяснять? На блошином есть маленькое и особенное. Вот, например, она нашла там дореволюционную открытку с девочкой и кошкой. Девочке лет двенадцать, глаза жгучие, взрослые, волосы как у цыганки и текут потоком на плечико. На лицо – ребёнок, а уж сквозит делание. Дружана тихоня, всегда ходит и молчит, ни с кем не говорит, и мать волнуется, что уже институт на исходе, пятый курс, а мальчика нет. А она же не ведётся на атаку, на захват. Только если полная сдача в плен.

Мать так дрожит за хороший исход, что звонит своему другу студенческих лет и просит: «Рашид, помоги дочке с курсовой». И добряк Рашид говорит: «Конечно». Но Дружана не идет к Рашиду, думает – авось, сама. Отец её и этот Рашид были друзья не разлей вода, а теперь отца уж лет пять как нет. А Рашид Тоевич вообще-то у Дружаны ведёт сразу две дисциплины, ей неудобно к нему как к репетитору.

Дружана бродит по блошиным рядам, вертит в руках старинный чайник для заварки, отливающий перламутром, то моток диковинной многоцветной тесьмы, то пакетики с бисером. Она, щурясь, зевает по сторонам и не видит, что за ней пробирается шуплая мужская фигура. Человек идёт

странной походкой, то ныряя, то подпрыгивая. Идёт, виляя, зигзагами, постепенно забегая вперёд. Потом достаёт из кармана нечто и показывает ей. Она смотрит: – Что, старинный? Видимо, бисер? – Видимо, да. – Где взяли? – Там...

И пока они идут, разговаривают, проталкиваясь через толпу блошиного рынка, надо бы рассмотреть этого нового знакомого, Фёдора. Он гораздо ниже ростом, чем его спутница, невозможно худой, несоразмерно широкие плечи и длинные руки, крупная голова, тяжёлые веки. Он улыбочив, но улыбка его пугает. Говоря, он без конца поправляет кепочку с козырьком на самые глаза, и напрасно – глаза его тёмные и тревожные, как ртуть, выразительные. На нём нелепые клетчатые штаны на резинке внизу, широкая в клетку куртка...

– Ну и что ты делаешь, когда не учишься?

– А я и не учусь. То есть я иногда читаю физику, математику.

– На экстернате, что ли?

– Да ну! Какой экстернат? Ну-у... типа того...

– Тем более.

– Ползаю по сети. Модерирую кое-что.

– Значит, так, Федор. Сейчас мне некогда, но потом я найду к тебе...

– Всего пару шагов, Дружана. И свернём.

Он так её уговаривает, что просто непристойно. Вблизи он кажется старым, складки у рта. Старый мальчик с седыми висками, в чёрной кепке с козырьком. А одежда слишком новая. «Ну ладно, иду». Он идёт развинченной походкой, открывает Дружане дверь, усаживает в кресло, несёт холодный напиток. Руки его не очень слушаются, и девушка вовремя подхватывает пластиковую бутылку.

– Опа! Аккуратнее. Что с руками?

– Я – инвалид.

– Сочувствую.

– Вот ещё! Щелкну тебя, ты не против? Ты смотрела гобелены, я видел.

– Гобелены нравятся, это так. Но всё равно сюжеты штампованные.

– Вот так вот, на фоне колонн.

– Ну, как хочешь... Что за аппарат?
– Кэнон пять дэ марк три. Это круто?
– Дорогой. Я слышала только... Хватит, хватит!
– Но ты такая экзотичная, Дружана. Ты югославка или болгарка?

– Да нет. Местные мы.
«Кто тут экзотичнее, даже не знаю», – думает Дружана.
– Спасибо. Теперь мы вместе? Мне везёт сегодня.
– Тебе нужно общение? Ради бога. А что с тобой вообще?

– Это скучно.
– Ну ладно, а сколько тебе лет? Или об этом тоже нельзя?

– Мне восемнадцать, на вид – сорок. Быстро старею.

– А мне – двадцать один.

– У-у! А на вид тебе лишь шестнадцать...

И начинает показывать ей отснятое через комп. Его граблевидные руки молниеносно прыгают по клавиатуре, словно отдельные существа. Кадры идут косо, в нервных ракурсах, но Дружанка узнаёт себя и не знает, нравится ли себе? Она знает себя бесцветную, почти стертую. А здесь сжаты губы и вытаращен глаз. Лицо с опущенными веками перечеркнуто косичкой и на фенечках теплятся звёзды. Что это такое-то? Видимо, Фред не просто шелкает. Глаза его ртутные видят иначе. Время летит незаметно. За окном темнеет. Фред дико психует, всё чаще роняет предметы из трясущихся рук.

– Сейчас я достану... сделаю... Бутерброды, кофе, етс. Сейчас мы кофе, и ты пойдёшь.

Потом опять.

– Сейчас ты пойдёшь.

И так час, другой.

– А что, – спрашивает Дружана осторожно, – родители скоро придут?

– Нет, – говорит он, – не сейчас. Придёт, может, психолог, но это свой человек. А может, и завтра.

– И ты справляешься один?

– Да, в основном...

– А что ты так нервничаешь?

– Ну...я же не знаю, сколько мне осталось.

– А-а-а. Это не шантаж, надеюсь?

– Какой шантаж? Шутишь!

Он открывает книжку и показывает ей страницу. «Синдром Гетчинсона-Гилфорда или прогерия. Впервые открытая на планете Гамма Гидра IV в 1690 году, болезнь старения была вызвана радиацией от кометы, прошедшей через атмосферу планеты, и уничтожила колонию ученых прежде, чем доктор Леонард Маккой смог найти способ борьбы с ней – адреналин, а не более современное средство – хироналин».

Дружана кусает губы.

– И что я должна?

– Да ничего!

Она ходит по его комнате, внимательнее разглядывает обстановку. Кровать высоковата, раскладная, на пружинах. Монитор поворачивается лицом и на кресло, и на кровать. На окнах жалюзи, полоч много, книг мало. Диски. Все зелёное. Палас – как трава со слабой рябью одуванчиков. Одним словом, минимализм.

– Где же я буду спать?

– Что, не понял?

– Где я буду спать, если останусь?

– Кресло раскладное.

И удивление смывает гримасу злости с его лица. Ожидал он этого или нет? Возможно, но никогда бы не произнёс вслух. А тут и она удивляется безмерно. Надо же телефон забыть дома! Нарочно, что ли?

Первые дни они друг к другу не прикасаются даже. Они передвигаются кругами, испуганно отдёргивая руки, чтобы не столкнуться случайно. В ванную по очереди. Около хлебницы, около чайника – после вопросительного взгляда и кивка. Комната отца заперта, он уехал на время. Мать не с ними, она не знает состояния Фреда. Она бы прибежала, наверное, но отец и сын не хотят. Может, сообщат ей, когда...

Из клиники ходят, в основном, три врача. Фред отказался от сиделки, хочет, пока может, обслуживать себя

сам. У него банковская карта, которой он оплачивает продукты и всё для фото. Фёдор сделает Дружане портфолио, отправит снимки на электронку и всё равно хочет печать на тиснёной бумаге.

Дружана варит невесомые сырные супы. Она бы отправила матери сообщение, но мать никогда не подходит к компьютеру. Решила отправить телеграмму через Интернет. «Мама, не волнуйся. Я у друзей за городом. Приеду через неделю». Но через неделю не получается.

– Скажи, ты долго шёл за мной по блошиному рынку?

– Нет. Просто заметил, что ты смотришь бисер, etc.

– А зачем ты смотрел? Что я там смотрю?

– Захотелось снять, а аппарата не было. Боюсь уронить.

– Ты рад, что получилось?

– Рад. Только ничего не получится. М-м-м... Ты так хороша, а я ...

– Иди сюда. Не бойся. Ты же герой...

В её закрытых глазах под веками мелькает его лицо, похожее на маску: громадные глаза с опухшими веками, маленький нос, жабий рот... Но она не дрожит. Она раскачивает его, даст ему уверенность, даст всё, что можно и нельзя... Так горяча её жалость, силен гнев против смерти в этом тощем развинченном теле. За что его так? Он немело отвечает, стараясь не стонать. Но стон из него так и рвётся.

– А говорил, не получится...

Тяга с каждым разом становится сильнее. Он догадывается, что первый её шаг, возможно, жертвенный. Но позже видит её горящие глаза. Что-то он такое в ней растревожил...

Через пару дней врачебный осмотр. А психолог звонит и не приходит вообще. «Скорей бы ушли!» Приезжает отец, причем рано утром, неожиданно. Молча варит кофе и ласково здоровается с заспанной девушкой. Отец невозмутим. Но Дружана долго сидит неподвижно перед включённым компом. Её что-то терзает. В каком виде она предстанёт перед родителем Фёдора? Или уж насовсем здесь, или уж конец баловству. Фред тоже молчит. Гладит её по

плечу своей тяжелой несоразмерной рукой. Складки на его лице разглаживаются, и он неуловимо молодеет. Яркие глаза влажнеют, в них тепло. Фред даже напоминает счастливого человека. Или счастливого уroda.

* * *

Что в это время переживает мать? Уму непостижимо! Мать не просто вспоминает все известные ей молитвы. Она тащится в церковь и заказывает молебен о здравии. Она уже готова идти в милицию, но боится, что дочь ее не поймет. Она же написала: «Мама, я у друзей. Приеду». Надо подождать. А вдруг её убили? Она сидит перед иконой, а девочка с пшеничными волосами валяется где-нибудь в канаве. Или в канализационном люке. Нет, вся эта любовь к блошиным рынкам – это полная дурь, нечисть. Мать слышно плачет, потом перестаёт есть, прибираться, молиться. И просто каменеет. Из института звонят подружки: «Где Дружана? Уехала? Куда, к кому?» – «Не знаю...»

Телефон Дружаны взрывается звонками, лежа в углу её дивана. Потом разряжается и гаснет. Мать долго и путано ищет зарядку, ставит его около розетки. Ничего не происходит. День за днем ничего не происходит.

Дружана приходит домой под утро. Она приходит как обычно, только в шесть утра. Мать стоит в прихожей в ночной рубаше, держит себя за сердце и за горло. Она боится закричать и того, что сердце вывалится. Но дочь тихо обнимает её.

– С тобой ничего? – всхлипывает мать. – Ты ведь живая?

– Со мной ничего, мама. Прости, но я не по своей воле. Меня не отпускали.

– Что значит – не отпускали? Ты попала к маньяку? Была взаперти? В наручниках?

– Не совсем. Трудно объяснить.

– У тебя болит что-нибудь?

– Нет, мама. Если не считать, что очень болит сердце.

– А у меня тоже сердце. Давай тебе накапаю.

– Давай.

– Ты не замерзла, пока шла?

– Нет, мама. Тепло.

Они выпивают по пятьдесят капель валокордина. Крякают. Ставят чай. Простое городское утро кажется нереальным. Солнце в окне невыносимо яркое, птицы как-то истошно кричат. Как во сне. Машины – вж-ж, вж-ж!

– Ты помнишь число, Дружанка? Возьмешься ты за ум или нет?

– Возьмусь за ум, за сердце, за себя и за тебя. Только посплю чуть. Несколько ночей не спала.

– Ах ты, боже мой!..

– Тише, мама. Всё потом расскажу. Только ванну приму. Меня тошнит от усталости.

К Рашиду Тоевичу Дружана пришла в апреле. В июне защита дипломного проекта, половина мая – праздники, и, как говорится по-местному, не у шубы рукав. Рашид сидел над этим дипломом почти ежедневно. Несмотря на обычную нагрузку в полторы ставки. Он понимал, что это не девочка диплом защищает, это он диплом защищает, готовясь сам же его принимать. Из телефонного плача матери ничего не понятно, да и не до того ему. На защите десять человек, всех не оплачешь. У того одно, у того другое. Поступят в этот институт, потом начинается. Дружана была сосредоточенная, бледненькая, без эмоций. Соображала.

– Ты на листе номер три всё поняла?

– Да.

– А что не так на пятом – тоже поняла?

– Да, я переделаю.

На майские её позвали поехать по путёвке. У подружки Сони путёвка сгорела, кто-то Соню подвёл. Она прибежала к Дружане и давай её трясти – поехали да поехали! Дружана лежала на диване, отвернувшись к стене.

– Выручай, дорогая! Денег с тебя не возьму. Сама потом отдашь, если захочешь. А не понравится – и ладно.

– Не поеду я, не поеду.

– Ну почему?

– Диплом не сделан. Буду чертить.

– Да брось, Жанка! Всего-то десять дней! За бесплатно! Развеешься!

Жгучая Соня излучала энергию и упоение жизнью. Но ехать по путёвке не хотелось. Хотелось сесть на желтый народный автобус и доехать до конечной остановки – «Улица Гобеленов». Там её ждут, там одно её появление – уже немыслимый праздник! Оттуда такие письма по электронке бегут... Только не надо себе врать! Это никакое не благодеяние! Это невозможность жить без этого человека. А ещё страх: сколько он протянет? Год? Два? Но это же шкурные мысли, так нельзя думать. Надо запретить себе... Нет! Если не можешь отдать жизнь, не надо никого обманывать и строить из себя сестру милосердия. Неужели даже отец признал ее? Так смотрел он тепло...

Дружана собралась за час и ушла. Мать потом изучала её маршруты по груде фотографий – валуны в полях, водопады на реках, луковки деревянных церквей, и озёра, озёра... До того были таинственны и притягательны карельские виды, что аж самой захотелось туда поехать. Но дочь она расспросами не дергала. Пусть уже учится, а то, не ровен час, бросит всё. Мыслимое ли дело – на такое решиться?!

* * *

Кроме фоток, Дружана положила перед мамой скромный документ. Это было свидетельство о браке.

– Прости. Вышла я замуж, мама. Ричарду надо было ехать на службу, он не успел зайти, поклониться. Военный человек.

– Что-о?

– Ничего, мама. Я после диплома уезжаю к нему...

– Да кто хоть такой?

– Сонин брат. Это судьба.

Соня уговорила брата точно так же, как Дружану. И точно так же он не хотел ехать. Отпуск заканчивался, да и вернуться он хотел пораньше. Объяснял потом, что у тебя с билетами не сложилось. Ричард не любил случайностей, поэтому билет заготовил. Понятно, что жгучая Соня поехала в тур со своим парнем, а Ричарду досталась в спутницы её безучастная и тусклая подруга. И как он ни

покупал ей шоколадки, буклетики музейные и даже цветы, она всё смотрела сквозь. Автобус каждый день мчал их к зеркальным озерам и гремящим водопадам. Но у неё лицо всегда было никакое. Будто стёрли ластиком с него все эмоции.

«Бедняга, – осенило Ричарда, – да ей ещё хуже, чем мне».

В том смысле, что он порвал со своей девушкой уже год назад. И хотя Ричард, по сравнению с Соней, был ещё более жгучий, соответственно их еврейстой внешности, сердце его всё до сих пор ныло.

Были пешие походы, в которых не соврёшь. Снимая котелок с костра, он обжёт палец. Зашипев от неожиданности, увидел, как тотчас расширились её глаза. Уж как она обхаживала тот палец! Как мазала его, как бинтовала. Так вот что выводит её из ступора – чужая боль.

– Дружана, – шепнул он, – ты случайно не сестра милосердия?

– Как раз наоборот! – ответила она, покраснев. – Было бы у меня милосердие, я бы тут не сидела.

Ну, и вся группа вокруг костра как-то притихла, потому что девушка впервые за всю экскурсию подала голос.

– Болит?

– Болит.

– Дай перевяжу.

– Так это внутри.

– Ах, внутри? И у меня внутри, – и глянула так, что веснушки побелели.

Ричард понял, что это не просто так слова. Верная будет. Как она вся вспыхнула и засветилась изнутри.

Соня потом жарко рассказывала, как они, будучи проездом, искали в чужом городе загс и как Ричард показывал свои железнодорожный и военный билеты. И что жена ради него бросила институт – и вот свидетели.

Но она не такая, чтобы бросить. Диплом Дружана защитила на пятёрку. Госы сдала, как положено, тоже на пять. А чего ей это стоило? Нет борьбы страшнее, чем с самой собой!

И она стремительно унеслась на поезд. Что за молодёжь! Не посидеть, не отпраздновать! Всё это мать Дружаны рассказала Рашиду спустя год, когда столкнулась с ним у института.

– Сначала ты делал курсовые и дипломы мне с мужем, потом и дочке. Я тебе так благодарна за поддержку! Знаю, просто целой жизнью тебе обязана. Вообще жаль, мы стали так редко видеться... Вчера были такие молодые, а сегодня уже всё, да, Рашид? Семья как?

– Семья потихоньку. Дети работают. Внук растёт.

– У меня тоже!

Тут она порылась в сумке и достала что-то.

– Смотри вот.

На снимке была Дружана с колясочкой. Глаза смотрели прозрачно и ясно. Она стояла у большого валуна, за спиной проступали старинные фонари, за ними – водная гладь. Рядом с нею был высокий молодой человек в полосатом джемпере. Да, хрупкая Дружана выглядела как сильная личность, которая знает, что делает. Характер, ничего не скажешь! Благодаря этому характеру мало кто знал, что её переписка с таинственным влюблённым никогда не прекращалась. Она была сильной, а он был жив.

– А это пришло по почте, когда уж она уехала. Откуда пришло – неясно.

Сквозь пшеничные волосы смеялись глаза Дружаны, перечёркнутые тонкой косичкой в бусинах.

Любовь СИДОРОВА

Москва

ОШИБКА ОХОТНИКА

Рассказ-быль

У меня, как наверняка и у многих, самые приятные воспоминания о детстве связаны с летом, с большими каникулами. Лето я обычно проводила на даче: чудесная природа Подмосковья, лес совсем рядом. У меня была заветная детская мечта: понимать язык природы. Я верила, что деревья могут разговаривать, просто мы не понимаем и даже не слышим их. А так хотелось понять! Я мысленно с ними беседовала: про себя задавала им вопросы и сама за них отвечала. Ну, в том, что у птиц есть свой язык, никто не сомневается. Люди даже слышат их речь, но не знают, о чем они говорят или поют. Мне казалось, будто я понимаю одну птичку. Она пела что-то похожее на «свет, свет». Еще я различала слово «цветет». Я ее не видела, только слышала и слышу до сих пор, но так и не узнала, что это за птичка.

Своими мечтами и фантазиями я делилась с бабушкой, которая каждое лето проводила со мной на даче. Она была благодарным слушателем: не только внимательно меня выслушивала, но даже иногда принимала участие в моих фантазиях. Бабушка была такой доброй, заботливой и такой беспокойной. Конечно, мой отдых не ограничивался фантазиями. Я вела бурную дачную жизнь, могла гулять в компании сверстников дотемна, а бабушка очень

волновалась. С наступлением темноты выходила забирать меня домой, а если отойду далеко от дома, с тревогой искала. Иногда мне очень не хотелось идти, бабушка уводила меня в самом разгаре какой-нибудь интересной игры.

Однажды я гуляла со своей компанией, когда уже совсем стемнело, и нам встретился взрослый дачник: писатель и к тому же охотник. С ним всегда было интересно, он много и увлекательно рассказывал о животных, о птицах, о разных случаях на охоте. В тот вечер он сказал:

– Знаете, ребята, я различаю птиц по голосам.

И тут же в ответ какая-то птица подала голос, словно загадывая загадку.

– Слышите? – оживился охотник. – Это сова кричит. Могу даже назвать, какая. Неясыть, – не без гордости добавил он.

Совиный крик раздался снова.

– Наверно, услышала свое имя и отозвалась, – улыбнулся писатель. – Хотите, я с ней поговорю?

И он засвистел как-то по-особому. Его свист был похож на крик той совы. Она опять ему ответила.

– Мы с совой понимаем друг друга, – удовлетворенно проговорил писатель.

Он снова засвистел, неясыть снова ему ответила, так они и «разговаривали». Было похоже, что писатель увлекся беседой с совой и забыл про нашу компанию, с восхищением наблюдавшую за ним. Я тоже увлеклась, вошла в атмосферу полуигры, полусказки. У меня даже возникла наивная мысль: «Неужели он правда понимает язык птиц? А может быть, прислушаться повнимательнее? Вдруг и я пойму?»

Мне показалось, будто у меня выросли крылья, я взлетаю, вот сейчас, сейчас пойму совиный язык, и вдруг – бах! Внезапное падение с высот на землю. К нашей компании приближается бабушка, она меня все-таки нашла и сейчас уведет. А ведь я почти поняла язык совы. Как не вовремя!

– Тебе не кажется, что пора домой? – беспокойным голосом говорит бабушка. – Уже совсем темно. Я искала

тебя, звала и даже свистела. Кто-нибудь слышал? Неважно, конечно, свистела, разучилась.

Пауза, и мы всё поняли. Так это была вовсе не сова неясить, это была моя бабушка! А писатель-охотник, понимающий язык птиц, не разговаривал с совой на совином языке, он пересвистывался с моей бабушкой! Наша компания старалась сдерживать смех, но не всем это удалось. А писателю-охотнику было не до смеха. Он так смутился, что мне даже стало его жалко. Бабушка тоже не смеялась, ее лицо выражало недоумение. Она не понимала, что происходит. Придя в себя, писатель все объяснил бабушке:

– Знаете, когда вы свистели, я принял вас за сову и даже определил ваш подвид: сова неясить.

После этих слов он весело рассмеялся. Тогда уж наша компания перестала сдерживать смех, бабушка тоже засмеялась вместе с нами. Потом писатель рассказывал эту историю знакомым, а я стала свою бабушку в шутку называть «бабушка Неясить».

Но почему ей пришло в голову свистеть, когда она искала меня? Я долго думала об этом и вспомнила. Разговоры со мной погружали бабушку в мир детства, и она часто делилась воспоминаниями. Я узнала, что она, оказывается, в детстве была сорванцом: гоняла по двору с мальчишками и любила свистеть. А сейчас, глядя на нее, не подумаешь. Наверно, бабушка вспомнила, как когда-то пересвистывалась со своими приятелями и, не дозвавшись, решила привлечь мое внимание свистом.

К сожалению, ни писателя-охотника, ни моей любимой бабушки с нами уже нет, но они живут в моей памяти. До сих пор мысленно переношусь в тот летний вечер, прислушиваюсь к разговору охотника с совой неясить, которая неожиданно превращается в мою бабушку. Когда, уже будучи взрослой, я ездила в Петербург, то, помимо Эрмитажа, Исаакиевского собора, Летнего дворца, посетила также Зоологический музей. Среди прочих экспонатов я увидела сову; рядом с ней была табличка с надписью... «Сова неясить»! Я, конечно, сфотографировала ее на память.

Может быть, со временем я услышу голос этой таинственной птицы, пойму ее язык и поговорю с ней. Главное – не перепутать, не повторить ошибку охотника.

...Голос птицы мне пока не довелось услышать, но, уже после того, как был написан этот рассказ, я узнала, что неясить очень заботливая и беспокойная родительница, она даже редко покидает гнездо, боясь оставить своих совят без присмотра. Видно, писатель неспроста перепутал тогда мою бабушку с совой неясью, интуитивно угадав в них что-то общее. Теперь я сомневаюсь: был ли тот давний случай ошибкой охотника?..

Владимир НИКИТИН

ЭТЮД

Маленькая печаль красноречива, великая – безмолвна.

Сенека

Эту картину я написал пять лет тому назад. Балерина в снегу исполняла на пуантах фуэте. Многие решили, что я изобразил зиму, потом зарисовывал девушку в теплом доме. Ну а затем добавил для верности пар изо рта и нежный румянец на впалые щёки. Но они забыли про легкую скованность, которая была ей несвойственна, но стянула движения на морозе, словно корабль во льду. Этого бы я придумать не мог – не такой уж я реалист, чтобы сделать хуже, чем просится.

На морозе человеческое тело не обманешь, и потому говорю как есть: писал я с натуры и ничего не приукрасил; а то, что девушка вышла такой воздушной и безнадежно красивой, так это спасибо ей и матери природе.

Снег на картине получился с синим отливом, немного сумрачный, будто с холодного кадра. А кожа девушки светилась – белоснежная и гладкая, как лёд. Фон разлетелся на краски, закружился в бокé и искрился, словно новогодний снег. Казалось, что своими быстрыми движениями балерина взбивает и перемешивает ожившие цвета; а позади неё вспыхивают разноцветные гирлянды.

Таю – так её звали – я тогда рисовал в первый раз, но никакой аккомодации не потребовалось; всё вышло скоро, резво, на одном дыхании, рука с кистью порхала, как

трудолюбивая пчела. Сопротивление материала я оставил математикам – холст сам льнул к моим краскам. Лишь падающая на нос снежинка отвлекала: она щекотала и вызывала у неё смех; тогда мы ненадолго прерывались, чтобы собраться, и продолжали дальше. Пушистый снег кружился и падал на её открытые острые плечи и недолго, пока живой, трепетал на горячих губах. Тая выглядела старше своих лет – на мои семнадцать, и со стороны нас можно было принять за ровесников.

После она накинула на плечи бело-серый полушубок и, поправив плотный пучок волос, с легкой и живой улыбкой ребенка, изучающего мир, смотрела на картину. Тая ничего не сказала, лишь брови умиленно взлетели вверх. И я знал, она погрузилась в холст, и для неё не было ни холода, спешившего взять над ней власть, ни художника, который маялся подле неё.

Едва заметный, почти прозрачный пар от дыхания девушки окутал картину дымкой. Казалось, что пейзаж теплел; и под снегом, словно под вековыми льдами Антарктиды, ждут своего часа горячие источники.

* * *

Картину я принес домой. Я не имел привычки сразу отдавать заказчикам полотна, мне надо было почувствовать себя хозяином своего создания; ощутить, что есть вещь, появившаяся из пустоты, которая сейчас занимает место в моей квартире – клетушке на чердаке, которую восторженные заказчики называли мансардой. Более твердые покупатели, видя моё жилище, поступали умнее – они молча давали чуть больше, чем я просил. Самые мудрые избегали забирать картины у меня, чтобы не стесняться за мою же убогость, которой, кстати сказать, я не чувствовал. Я держал открытыми окна, и в комнатах было так мало лишних вещей, что теснота не ощущалась. А главное, мне хватало места, чтобы есть, спать и изредка писать здесь картины. Гостей же я не водил, предпочитая встречаться на улице. Я не был замкнутым или не хлебосольным, просто считал, что на природе лучше творить и встречаться.

У меня была маленькая темная комната, что-то вроде подсобки, куда я складывал портреты, предварительно обернув их в ткань. Даже если я знал, что заказчик подойдет через день-два, всё равно убирал холсты, чтобы их не видеть. Вешать или ставить у стены я не решался, мне казалось, что я в доме не один и люди с картин нарушают мой покой и неприкосновенность жилища.

Портрет Таи я нес, держа на расстоянии – мне казалось неудобным прижимать полотно с её лицом к телу. В доме я принялся оборачивать холст и остановился. На меня смотрело её лицо, не скрытое еще материей. Ещё немного, и я больше его не увижу. В голову лезли неуютные мысли: как можно кого-то засунуть в мешок, закрыть человеческие глаза (полные смысла и эмоций), словно монетами перед рекой Стикс. Погрузить во мрак и завязать сверху шнурок, лишив воздуха.

Нет, так не пойдет. Я вынул холст и поставил у стены. Теперь она была низко, слишком низко, у ног. Так меня тоже не устроило, и я решил повесить картину на уровне глаз, как обычно делают. Гвоздей я не нашел, как и молотка, пришлось занять у соседей. Когда всё было готово, я сделал пару шагов назад, чтобы полюбоваться работой. На полотне не хватало света. Кожа девушки потемнела и состарилась, краски пожухли. В коридоре было темно, царил полумрак.

Как здесь вообще можно что-то увидеть! – взъелся я.

В люстре из четырех ламп горела лишь одна. С трудом отыскав замену, я осветил холл и картину как положено. Тогда я заметил, насколько запылена квартира, как стара и убога мебель. Подоконники потрескались, полы вздулись, полки перекоржило. Дом умирал, и я принял этот факт и на свой счёт. Свет обнажил все недостатки, которые я так упорно затемнял. Свет или... Я посмотрел на портрет. Мне нужно позвонить, пронеслась мысль.

Один из моих заказчиков занимался недвижимостью и в свое время, увидев мои хоромы, предложил помощь. Но я отклонил бартер, полагая, что деньги лучше конвертируются в краски и холсты.

– Да, я. Слушай, мне нужна другая квартира, – с неожиданным для себя нажимом сказал я. – Ты предлагал... Нет,

сам искать не могу, найми что-то приличное от моего имени — за мной не заржавеет. Только быстрее, здесь жить не хочу.

В ответ весело, но деловито задали пару вопросов.

— Нет, — отвечал я. — Убийства за это время здесь не случилось, и тараканы не завелись, так что сюда можно вселять, ведь лампочки я выкручу. Что не понял?! Не важно, по ценам будем смотреть, а сроки... на этой неделе должен въехать, до выходных! В общем, до встречи в моей новой квартире.

Я положил трубку, легкую, как перышко. Сердце рвалось из груди, воздуха не хватало. Я схватил куртку и выбежал на улицу, и просто так шлялся по оледеневшим набережным, пока вконец не продрог. Фонари у темной, загадочной реки сопровождали меня, словно почетный караул.

Тая позвонила чуть раньше срока и спросила, удобно ли мне встретиться. Я ответил, что мне пришлось доделывать пару штрихов, — надо подождать до выходных. Мне хотелось принять её в уютном доме, напоить чаем, пока она будет рассматривать портрет.

— Не страшно, — мягко ответила она. — Я сейчас на этой же набережной, мне надо куда-то деть часа два. Думала, ты тут часто бываешь, может, и сегодня пинешь...

— Да! — соврал я. — Как раз выхожу, мне нужен пейзаж.

Я понесся на встречу, лишь бы не упустить время, что она вынуждена скоротать.

Мы встретились у реки. Изредка она спрашивала о работе художника, о картинах, жанрах, цвете и рисунке. Я шел рядом и отвечал, прекрасно понимая, что ей просто удобно рядом со мной молчать и думать о чем-то своем; я не отвлекаю её от жизни, которая творилась у неё внутри; при этом моё присутствие обеспечивает комфортное, не пугающее пустотой ощущение времени и себя в нем.

Тая так и не спросила, как я собирался писать пейзаж без красок и холста; и я был благодарен ей за это.

* * *

Вечером в пятницу мне позвонил знакомый и сказал, что можно ехать смотреть квартиру. После звонка я взял

этюдник, холсты, палитру и выехал по адресу. Я не хотел рассматривать и взвешивать варианты, зная, что останусь там, куда еду. Вещи решил вывезти потом, благо, квартира была оплачена до конца месяца.

Знакомый встретил меня у дома и, судя по его виду, вопрос решился должным образом. Он лоснился и искрился улыбкой, демонстрировавшей насколько он доволен собой.

Квартира мне понравилась. Яркий свет щедро горел в каждой комнате, ничего не скрывая, – всё было скромно, но чисто и ново, без пыли, тлена, груза прожитых лет и чужой истории. Стены и обои были светлыми и чистыми. Я сделал две вещи, по которым сразу выдал себя, что остаюсь, упустив торг. Во-первых, я снял ботинки при входе. Во-вторых, сразу пристроил картину в самом светлом месте и посмотрел, как играют цвета.

– Кто она? – капризно спросил знакомый.

– Да... – я замялся, словно запамятовав имя. – Заказчица.

– Я думал, родственница или еще что. Ты вроде раньше никогда не вешал картины.

– Да, я знаю, – перебил я. – Не хотелось никуда убирать.

– Да ладно, скажи просто, что нравится ей любоваться, – он улыбнулся.

Потом долго смотрел на картину и девушку на ней.

– Она тебя не смущает в твоём доме?

– Да вроде нет.

– Неудивительно. Продай лучше картину на аукционе, что она тебе даст за собственный портрет? И кто увидит картину, которая повиснет мертвым грузом у неё дома. Скажешь девушке, что не вышло, что надо еще раз написать. Соседи вон квартиру залили, холст испортили. Оттого и переехал.

Я посмотрел на него с легким недоумением и завистью. Он говорил о вещах, которые я редко примечал. Соседи, потоп, аукцион. А он в них разбирался так легко, как я в оттенках. Я не успел ответить, меня отвлек звонок.

Номер был её.

– Да, привет. Сегодня вполне, сможешь заехать? Да, около набережной, – я назвал дом.

Я внес плату за два месяца вперед и выпроводил знакомого из квартиры – мне хотелось встретить девушку вполне по-хозяйски.

...Тая вошла с холода, пахнувшая морозом и свежестью, с белоснежными снежинками в волосах; с ходу скинула высокие ботфорты и впорхнула в комнату, где висела картина.

Она разглядывала её какое-то время, а потом попросила дать ей портрет. Я аккуратно снял и протянул. Тая отошла к окну, сказала, что хочет оценить, как играют краски при солнечном свете. Я не мешал, только крикнул, чтобы дома хранила подальше от естественного освещения.

Девушка вышла с тихой, еле намеченной улыбкой, чуть приподняв брови.

– Покажи мне другие зимние картины, – тихо попросила она.

Я кивнул. И пожалел, что у меня на руках только пейзаж, который я писал для себя, не по заказу. А значит, она не заметит большой разницы и не поймет, насколько её портрет отличается от того, что я делал для других. Я хотел достать холст из ткани, но она попросила сделать это сама. Тая взяла у меня нож и быстрым движением, слишком быстрым, с нетерпением взрезала ткань – лезвие легко прошло и поранило её руку до крови. Рана была несущественная, скорее царапина, но кровь стоило остановить, а порез обработать. Она же стояла и изучала кожу, из которой набухали капли крови; с любопытством, не двигаясь с места.

– Пойдем, нужно промыть. В ванную, – торопил я.

– Ладно, – неуверенно говорила она.

Я открыл синий кран, но Тая отдернула руку, сказав, что холодно.

– Так и надо, лучше останавливает кровь. Ты как будто никогда не резалась.

– Никогда, – ответила она. – Она такая яркая, алая.

– Ну а в больнице разве не брали кровь?

– Не была там никогда. Там же вроде лечат от болезней?

– Ну да, тех, кто болеет.

– А я всегда здорова...

– Как такое бывает?

– Везло, может, а может, оберегали.

«Кто?!» – чуть было не спросил я, но потом понял нелепость вопроса, посмотрев на нее.

Я промыл ей рану и перевязал бинтом.

Она только и сказала:

– Главное, не ногу порезала.

Я согласился, что это главное – что я мог еще сказать?

– Чай? – предложил напоследок.

– Нет, я опаздываю на занятие.

Я не знал, как стоит поступать в таком случае: надо ли проводить до улицы или метро, а может, и до дома.

Поколебавшись, я сказал без конкретики:

– Давай я тебя провожу немного.

– Не надо, спасибо. Мне только вниз спуститься, а дальше довезут.

В лифте она стояла и озиралась по сторонам, как будто первый раз видела самую обычную кабину, облепленную предупреждениями о пожаре. Двери сходились; на Таю легла тень. Она успела сказать «пока-пока» и уехала. Передо мной были только закрытые двери лифта. На них висели портреты, вернее сказать, фотороботы каких-то людей. Не читая текст, я ушел в квартиру и подбежал к окну. Я прильнул к нему, с облегчением приложив разгоряченный лоб к стеклу. Оно хрустнуло, словно бы из льда, и затуманилось, лишив меня вида.

Я стал яростно тереть стекло и успел заметить, как Тая открыла дверцу блестящей машины и упорхнула. И что хуже всего, увидел достаточно, чтобы понять – села она на пассажирское кресло.

* * *

По чести сказать, я ожидал звонка или хотя бы эсэмэс с какими-то словами после того, как она устроит картину, повесит её у себя. Но я ошибся. Спустя неделю я уже жил в прежнем режиме: гулял, писал и брал заказы. Первые дни я работал только на набережной, рассчитывая встретить Таю на прогулке. Но успевал промерзнуть, а её всё не было. Я стал чередовать дни, набрасывая пейзажи в саду.

Там было полно гуляющих, среди которых я нередко находил новых заказчиков.

Как-то раз я работал в саду с этюдником. Набережную покрывал снег, но лед не сковал реку, и навигация не прекратилась. Я рисовал эмоции, смех и радостные крики, старался всё передать через выражения лиц, через мимику, движения и даже падения. Я довольно быстро закончил набросок и заскучал. Доводить до ума мне не хотелось, хотелось поймать новый сюжет. Внимание привлекла старая женщина, сидящая у стены замка; она была тепло одета во всё вязаное.

Странно, но эти вещи не старили её, а скорее молодили; кроме того, было видно, как ей комфортно и тепло в них. Её руки находились в постоянном движении, она вязала, а перед ней на помосте лежали сделанные изделия. Она, как повар, готовящий при посетителях на кулинарном мастер-классе, демонстрировала свои творения, и как модель показывала результат.

Я улыбнулся и, сменив лист, приступил к работе. Она заметила, что мои пальцы запорхали вслед её, словно соревнуясь, но ничего не сказала. А потом неожиданно для своего возраста подмигнула, показав на вязаный кошелек, который продавала. И я понял – она благодарит меня за увеличение спроса после написанной картины, мол, спасибо за рекламу.

Этот жест я решил сохранить на полотне. Оставалось определить, что будет на фоне. Обычные гуляки меня не устраивали, мне хотелось увидеть второй, менее очевидный сюжет. К старушке подошла семья – муж и жена с маленьким ребенком, который только-только осваивался на двух ногах. По розовому цвету комбинезона я догадался, что это девочка. Они недолго выбирали, купив женский шарф и детские варежки, которые крепились меж собой на резинке. Мужчина, оплатив, сразу отдал подарок дочке. Мама продела варежки через куртку, чтобы они не терялись. Теперь их можно было снять только с верхней одеждой. Семья пошла дальше, и муж с женой остановились около треноги художника. Они смотрели, как он пишет шарж, и улыбались.

Ребенок за это время отбежал на пару шагов к белой – она почти сливалась с пейзажем – похожей на скакуна долговзлой и тощей гончей, которая пробовала на вкус снег. Псина невозмутимо жевала и продолжила это делать, когда радостная девочка стала её гладить. Собака отвлеклась и понюхала новые варежки девочки. Что-то ей понравилось, и она сняла одну зубами и стала заглатывать. По меркам животного делалось всё верно – ничто не могло доставить неудобств девочке. Варежка исчезла в пасти, дальше была резинка, а ребенок всё приближался

Сложно сказать, кто был больше удивлен, ребенок или пес, но у гончей вытянулась и без того длинная морда, а девочка, почти оказавшаяся в пасти, лишь улыбалась. Я не успел сделать и пары шагов, как рядом оказался глава семейства. То, что было дальше, вызвало смех окружающих. Он стал тянуть ребенка на себя, но собака не отпустила резинку.

Они больше минуту соревновались в перетягивании, пока подбежавшая мама не скинула с ребенка куртку. Растерянная собака, поджав уши, убежала переваривать явно несъедобную вещь. За ней гнался отец, чтобы отобрать хотя бы верхнюю одежду.

Годится, решил я и вернулся к эскизу.

Я скоро закончил – работа летит, когда приносит удовольствие.

Уходить не хотелось: на улице крепчал мороз, но ветер стих. Воздух был свеж и прозрачен в лучах зимнего солнца. Я жмурился под этими лучами, когда мне нежно закрыли глаза мягкими ладонями. Странно, я совершенно не сомневался, кто это, и оказался прав.

– Привет, – сказала Тая, когда я повернулся.

– Неожиданно.

– Я давно тут. Наблюдала за тобой, не хотела мешать, пока писал. А потом, как и все, смеялась от души... – и показала на незадачливого мужчину, бегающего за гончей.

– Я думал, сколько всего слилось, чтобы эта картинка стала возможной, – сказал я. – Двое встретили друг друга, у них появился ребенок. Женщина прожила большую жизнь и под старость осталась без работы; теперь вяжет и

продает тепло. А ведь где-то еще бродит хозяин этой гончей, которую взял еще щенком.

Тая посмотрела вдаль, мимо меня...

– И куда сейчас? – спросил я.

– К причалу.

– Пойдем, я на сегодня закончил, а мне надо краски по дороге купить.

Мы шли; я иногда останавливался и катал снежки, что-бы бросить во встречное дерево.

– Я тебя никогда не видела на холме, хотя не раз там гуляла. Конечно, там хватает прощелыг, но, кажется, легко... – она подбирала слова.

– На хлеб и соль заработать? – улыбнулся я.

– Да, именно это я имела в виду.

– Я не пишу на холме. В таких местах надо уметь толкаться, а я не умею.

На крыльцо вышел швейцар и махнул рукой дежурившему таксисту.

– Когда-то в этом замке жили, а сейчас гостиница, – сказал я.

– Слушай! – оживилась Тая. – В честь праздника здесь будет вечер: бальные танцы и концерт, и пригласят много разных людей, политиков и музыкантов, режиссеров и спортсменов. Я точно знаю, что будут директора картинных галерей, организаторы самых знаменитых выставок. Мне прислали уйму пригласительных, возьми один! Обязательно приходи, будет интересно и, может, полезно.

– Ты будешь? – спросил я.

– Конечно, я там выступаю.

Мы подошли к набережной, где стояли пришвартованные теплоходы и катера.

– Мне пора, – сообщила Тая. – Поплыву посмотреть салют. Я кивнул.

А потом, словно раздумывая, сказал:

– Может, тоже купить билетик? Никогда не видел салют с реки.

Тая согласилась:

– Обязательно. Очень красочно, тебе понравится.

– Ты на каком теплоходе? – спросил я.

Она покачала головой.

– Я на катере, пока!

И упорхнула, по ступеням спустившись на пристань. Я мог перегнуться через мост и увидеть, к кому она садится и кто ей помогает вступить на палубу.

Вот только – какой в этом смысл?

Я достал пригласительный – дата на нем жгла руки. Оставалось всего два дня, пролетевших, как одно мгновение.

* * *

В тот день шел дождь. Холодный и резкий, он косо лил без остановки. Я стоял около окна, время от времени поглядывая на часы. Улицы поначалу опустели, а потом расцвели разноцветными зонтами. Иногда пробегали мокрые парни: то ли студенты, опаздывающие на пары или свидание, то ли курьеры. Перед выходом я с грустью осмотрел свою ветровку с капюшоном – стоило идти в пальто и в костюме. Я не хотел ни на кого произвести впечатление нарядом, просто боялся, что в моей обычной одежде меня не пустят. Около дома я купил в лавке зонт – это был мой первый личный зонт.

По набережной быстрым шагом я добрался до сада, перед воротами которого каждую минуту останавливались машины, высаживающие нарядных людей. Они улыбались, притягивая вспышки фотокамер. В самом саду гуляющих не было – крупные капли бились о потрескавшиеся лица статуй и с хлопками падали в пруд. Швейцар на крыльце дворца не заметил меня, что уже было неплохо.

Среди гостей в фойе, где проходил фуршет, ее не оказалось. Я попросил показать мне сцену, на которой ожидалось представление, и меня направили на второй этаж. Я увидел Тая со спины – на ней была шифоновая «шопеновская» tunique, на которой, согласно задумке, крепились два белорозовых крыла. Девушка внимала хореографу, и только её правая рука незаметно поглаживала тугую шнуровку корсета в месте, откуда росли крылья; и я понял, что ей просто шекотно.

Я встал позади, как часовой, не зная, куда дальше идти. Тая дослушала, постановщик махнул головой и отошёл в

сторону к другим ряженным участникам. Услышав дыхание, она с улыбкой обернулась:

– Пришел! Вот молодец. Давай я тебя познакомлю...

– Подожди. Давай позже, а?

– Ладно, после концерта, но тогда я тебе покажу дво-рец, я тут уже освоилась. Начнем с ямы.

– С чего?!

– С оркестровой ямы! Сегодня туда можно попасть прямо из зала, по ступеням. Идем!

Мы отбежали в самый конец полутемного зала.

– Осторожно, не упади, лестница начинается. Вон видишь: здесь во время концерта располагается оркестр. Но пока никого нет.

И правда – яма была пуста, разве что у каждого стула одиноко стояли музыкальные инструменты.

– Пойдем, – звала она. – Внизу такая акустика...

Но спуститься по ступеням мы не успели, да и акустика не потребовалась – раздавшийся грохот и так был оглушитель-н и потряс каждую частицу тела.

От него мы одновременно присели, а Тая схватилась за уши. Далее последовала череда менее громких звуков, похожих на... выстрелы, – пронеслась мысль, – очередь выстрелов. Резкая тишина, а потом раздались леденящие, пугающие больше взрыва крики, и помещение пришло в движение. В нашу сторону неслись перепуганные гости, а позади у входа темнели какие-то люди в чёрном, словно злодеи из комикса. Я увидел, как Тая тянется на носках, пытаюсь рассмотреть, что происходит за моей спиной, тя-нется как балерина; и тут меня ужалила боль. «Попали!»

Я выбросил руки вперед и оттолкнул её: Тая падала в яму, и я спрыгнул вслед за ней. В полутемном углублении девушка лежала на полу, подтянув к себе вывернутую ногу, и легонько постанывая, морщилась от боли.

– Вывихов у тебя тоже раньше не было? – попытался пошутить я. Бедро жгло, но я молчал, чтобы не напугать ее.

Она замотала головой.

Сверху слышались отрывистые слова, команды или приказы; выстрелов и криков не было, только быстрые деловитые шаги.

– Они поднимаются выше на этажи. Там те, с кем я собиралась тебя знакомить, – грустно улыбнулась она. – Что будем делать, когда уйдут? Я не хочу всё время сидеть в яме.

Отсидеться только казалось безопасным. Здание могло взлететь на воздух или обрушиться – и любой камень, любая плита весьма иронично похоронили бы нас вместе.

Я огляделся. Выхода через подсобные помещения не было. Вероятно, «яма» как платформа опускалась ниже, но то, что приводило её в действие, находилось не здесь. Оставались только ступени.

– Надо выбирать, тихо идти на выход.

– Так просто... – с сомнением произнесла она.

– Если он будет перекрыт, спустимся со второго этажа, по пожарной лестнице.

Тая попробовала потянуть ногу и поморщилась от боли.

– Сильно болит? – спросил я.

Она виновато улыбнулась, мол, не с чем сравнивать.

– Я спущу тебя вниз, обещаю.

Девушка кивнула.

– Я умею падать, а ты будешь моим партнером.

– Что? – вздрогнул я от волнения.

– Тем, кто ловит в танце, – пояснила она.

– Идем...

Мы поднимались по широким ступеням, и плотный ковер, как по заказу, приглушал звук шагов. Наверху не оказалось людей на ногах – все неподвижно лежали: возможно, от страха или оцепенения, а вглядываться я не хотел. Когда Тая поднялась, я, не дав осмотреться, повел ее за собой. Наше счастье, что мы не дошли до входа в гостиницу – взрывная волна сбила нас с ног, и дальше по мостовой зашлепали выстрелы.

Вход простреливался. Мы медленно, нагибаясь, стали пробираться к окну. Передо мной колыхались бледно-розовые крылья, и я еле сдерживал неуместную нервную улыбку. Окно было большим; я торопился, хотел тихо, беззвучно приоткрыть его, но дело не шло. Шаги над нами то затихали, то снова раздавались прямо над головой, и казалось – вот-вот, и они спустятся к нам. Я собрался и со всей силой нажал на раму – она поддалась и с долгим не-

приятным скрипом распахнулась. Свежий ветер ворвался в помещение, и капли дождя забили по карнизу и лицу.

Шаги на этаже выше замерли; сквозняк нельзя было не заметить. Я полез первый; свесившись на руках, вытянулся, что хватало росту, и спрыгнул. Приземлился на ноги, еле удержав равновесие. Ступни гудели. Высота не была большой, но с больной ногой Тая бы не слезла.

Она смотрела на меня, не двигаясь с места.

– Давай, не бойся, – я ловлю. Свесься на руках, и я тебя схвачу.

Она медлила, думая как лучше спуститься. И вот тогда случились несколько подряд взрывов, и даже с улицы я почувствовал запах извести и гари; следом сразу же затрещали очереди: короткие, повторяющиеся раз за разом.

А потом громыхнуло еще сильнее, и выстрелы зазвучали на улице. Штурм, – решил я.

– Быстрее, – крикнул. – Быстрее.

Тая более не ждала: вылезла в окно и повернулась спиной ко мне, чтобы свеситься, и тут её тело вздрогнуло, перья разлетелись в разные стороны, а на спине расплзлось красное пятно. Пуля, взявшаяся невесть откуда, клюнула её, легко пробив костюм. Она падала мне в руки, и я еле смог схватить её и удержать, чтобы она не ударилась о мостовую.

Я нес её на руках, боясь только одного: что не хватит сил, что мышцы, в конец отяжелев, онемеют. На площади меня остановили люди и без слов затолкали в «скорую». По городу мы неслись с сиреной; Тая тихо лежала и чуть улыбалась. И это было самое лучшее, что случилось в тот вечер. Нелепые крылья, возможно, спасли ей жизнь.

В приемной клиники девушку переложили на тележку. Меня оттеснили от неё, и я лишь увидел захлопнувшиеся двери, в которые Таю увезли на операцию.

Врач велел мне не ждать – после к ней пустят только родственников, коим я не являлся. Сказал, что, возможно, я смогу её навестить спустя день-два после операции, если всё будет хорошо. Я понял, что спорить бесполезно; сейчас ей нужны только врачи.

Ни через день, ни через два меня не пустили. Операция прошла успешно, но пока с Тасей работали психологи, о визитах можно было забыть.

Как-то раз ближе к ночи мне позвонили. Это была она. Сказала, что приходить пока не стоит, что с ней всё хорошо: пуля вошла неглубоко, ранение легкое; другим повезло меньше...

– Но спина, спина не болит? – перебил я.

– Не очень, чуть ноет. Я, наверное, скоро уеду на какое-то время, родители говорят, надо пожить в другом месте, в одной тихой стране, у нас там дом.

– Куда? – почти крикнул я.

В трубке затрещало.

– Далеко, – ответила она.

– Но ведь всё кончено! Всё завершилось! – не до конца понимая, что именно я имею в виду, крикнул я.

Тая помолчала.

– Отец сказал, что тех, кто были в отеле, всех взяли. Но в меня стреляли из здания напротив. Значит, они еще здесь и ходят по улицам. Я позвоню тебе, если смогу. Я просто хотела попрощаться и пожелать удачи.

Я не послушался её. Потерпел два дня, а потом нагрязнул в больницу. Но было поздно, мне сообщили, что её перевели на лечение в другую клинику. Куда, сказать не могут, там она будет восстанавливаться. А узнав мою фамилию, попросили подождать. Вынесли папку, которую мне просили передать.

Я не сомневался, что увижу там, но все же, когда в саду достал холст, то слезы навернулись на глаза. Там была та самая картина; Тая возвращала мне свой портрет. Я сел на ступеньках дворца около полуразрушенной скульптуры и поднял голову.

Около причала швартовался теплоход; чуть поодаль художник писал картину зимнего порта. Рядом старушка, по-прежнему элегантная, продавала вязаные изделия.

У меня дрожали руки; я подошел к ней, чтобы купить теплые варежки.

Что мне еще оставалось делать?

Георгий ГЕРЦОВСКИЙ

Прага

СОБАЧЬЯ ФИЛОСОФИЯ

Дверь в мой дом заскрипела и отворилась. На пороге стоял большой взлохмаченный пес странной национальности, вода стекала с него ручьями. Шел дождь, а я сидел и писал.

– Здравствуйте, – сказала собака, – можно у вас немного погреться?

– Да, разумеется, – ответил я, но от изумления чуть не выронил чашку с чаем: «оно разговаривает?!»

– Вы, пожалуйста, не удивляйтесь. Вообще-то я обычно молчу. Так лучше. Но в такой ливень... Я совсем промок... А поскольку я бродяга... Очень хотелось где-нибудь погреться и обсохнуть... Да и вы здесь один... Все равно вам никто не поверит... Жаль было упускать такой случай пообщаться. Вы не возражаете?

– Я? Да... Нет... – челюсть отвисла, и язык отказывался подчиняться, – то есть, конечно, нет... То есть, да, давайте пообщаемся. Чаю хотите? – не придумал я ничего лучшего для начала беседы.

– Вы знаете, с удовольствием, – ответило животное.

– Горячего?

– Да, если можно.

– С сахаром?

– Если вас не затруднит.

– Нисколько.

Однако когда я трясущимися руками нащупал чайник, у меня возник новый вопрос:

– Вам... в чашку?

– Нет, в миску, если можно, – улыбнулся пес.

Я налил чай в миску.

– Коньячку капнуть? Чтобы вы не простудились, – я уже начал увлекаться этой игрой.

– О да, будьте любезны.

Я поставил миску рядом с собакой. Пес поднес морду к миске и принялся. Нет, даже не «принялся», а «ощутил аромат».

– Мой бог, как давно я не пил настоящего цейлонского... А коньяк, кажется, «Курвуазье»?

– Нет, это «Реми Мартин». ХО, между прочим, – гордо сообщил я.

– Превосходно. То есть, превосходно, что вы меня угостили. А вот в том, что я путаю коньяки, ничего превосходного нет. Отвыкаю от хороших манер, – кажется, пес огорчился.

Я поспешил переменить тему:

– Может быть, познакомимся?

– Лтолб, лтолб, – пес лакал из миски, – о да, прошу прощения, как же это я сразу забыл? Разрешите представиться – Оболтус.

– А я – Демиан. Какое странное у вас имя...

– Вообще-то, хозяин звал меня Оберон. Но дворовые собаки переименовали меня в Оболтуса. Что с них возьмешь?

– Но ведь это же обидно.

– О нет, поверьте, абсолютно нет. Ведь от того, как ко мне обращаются, я-то сам ни грамма не меняюсь. Просто я постоянно шляюсь везде, бродяжничаю, так сказать... Кроме того, они (собаки то есть) считают, что я... как бы это... недалекого ума. Дурак то есть.

– Ну уж нет, – возмутился я, – ты, то есть вы, кто угодно, но только не дурак. Я еще ни разу не встречал говорящей собаки, да и вообще...

– Ну вот, лтолб, лтолб, – и поэтому тоже.

– Не понял?

– Они считают меня дураком потому, что я общаюсь с вами, с людьми.

- ...?!
- Ну да, это не принято. Как бы собачий этикет.
- А они сами-то могут?
- Не знаю. Да мне-то какая разница? Бог им судья. Лтолб, лтолб. Чай у вас превосходный, я уже почти согрелся.
- Может быть, еще чаш... мисочку?
- Не откажусь.
- А вот насчет вашего последнего замечания, насчет судьи... Вы это к слову или веруете?
- Что, простите?
- Я говорю, вы веруете в Бога? Или просто идиома, так сказать?
- Ах, вот вы о чем! Дак ведь... Не знаю, как и сказать вам.

Пес задумался.

- Но он, по-вашему, есть или его нет? – не вытерпел я.
- Как бы это... – пес явно был озадачен. – В вашем, людском, понимании его, конечно, нет. Это я насчет облака и дедушки с нимбом. Но вообще-то, конечно, есть. Нет, не правильно, – Оболтус сделал резкое движение головой, как будто отогнал муху. – Скажем так, нет ничего, кроме него. Вот вы здесь сидите, вот я здесь лежу, чай, который я пью, «Курвуазье» этот... Все это – он. Бог то есть. Но с другой стороны... как бы это объяснить, – он усердно почесал задней лапой за ухом, – раз нет ничего, кроме него, то и его тоже как бы нет. Другими словами, кто может засвидетельствовать его присутствие или отсутствие, если все – он? А если бы кто и мог, то и сам он, и его вопрос, и то, где бы он в этот момент находился, снова были бы им, Богом. Понятно?

– Не очень, – искренне сознался я.

– Вот видите, именно в такие моменты я абсолютно согласен с моими братьями. Это насчет того, что я дурак. Невозможно это выразить словами, поэтому и лучше молчать.

Тема, кажется, задела Оболтуса за живое. Он встал, абсолютно по-собачьи отряхнулся водопадом брызг и принялся расхаживать взад и вперед по комнате, оставляя мокрые следы на полу.

– Почему собаки не разговаривают? И кошки тоже? Не умеют? А почему? Не хотят учиться. А зачем? О главном все равно словами не скажешь. Самое главное в жизни – уметь ею наслаждаться. Ею – жизнью, или Богом, если хотите. Ведь любая собака или кошка, любое дерево или цветок, любое животное или растение – все умеют наслаждаться жизнью – и это самое важное. И это то, что вы, люди, утратили, наверное, навсегда! Поэтому вам и нужно так много говорить. А нам (например, собакам) нужно только рычать, когда отнимают еду, лаять, когда надо кого-то напугать (или просто от нечего делать), и храпеть, когда спишь. Остальные звуки не нужны – они лживы. Ведь истинная радость – всегда в тишине.

– Но позвольте, – уловил я, как мне показалось, собачью логику, – а как же прогресс, культура, технологии в конце концов?

– Прогресс? А куда ведет ваш прогресс? – данная тема действительно, кажется, была излюбленным коньком Оболтуса, и он, в пылу спора абсолютно уже позабыв о всяких джентльменских условностях, разговаривал со мной едва ли не агрессивно. Этакий разгоряченный профессор, в сотый раз разъясняющий тугодумам-слушателям очевиднейшую, по его разумению, теорему. Впрочем, и я тоже не был похож на молчаливого олухастudenta, и мой внутренний накал вполне соответствовал температуре спора.

– Куда ведет этот ваш так называемый прогресс? Вы скажете – к изобилию, а я скажу вам – к гибели планеты, которая вас кормит. Вы скажете – в глубины морей и океанов, вы скажете – к далеким звездам, а в действительности – подальше от самих себя. Вы скажете, в конце концов, – этот прогресс (словечко-то какое выдумали, господа) помогает вам почувствовать себя царями природы, а мы, часть этой самой природы, скажем вам – нет! То есть, чувствовать-то вы чувствуете, но ведете себя совсем как дети, разбирающие на части собственные любимые игрушки. Что, скажите мне, – Оболтусу сейчас не хватало только кафедры, – что полезного привнес ваш

разлюбознейший прогресс? Он облегчил вам жизнь? Нет, потому что это не жизнь. Борьба – может быть, конкуренция – бога ради, война с самим собой и целым миром – тоже соглашусь, но только не жизнь.

Тут пес резко оборвал свою пламенную тираду и произнес уже совершенно спокойно, даже как-то обыденно:

– Прогресс облегчает вам смерть. Да-да. Ибо с того самого момента, как вы сменили свои детские подгузники на штанишки гимназиста, вы перестали жить. Вы умерли. Точнее, умираете. Ваше существо, загнанное в склеп чужих условностей – социума, по-вашему, оно еще посопротивляется, еще побарахтается. То тут вскочит не вовремя, то здесь засмеется не вовремя, то там крикнет не ко времени, но все – вас уже нет или почти нет. Вы уже болтик, вас уже замерыли, на вас уже нарезают резьбу, вас уже шлифуют и равняют по размеру, – пес подошел к миске и отпил, – вы уже маленький винтик в этой вашей сложной машине под названием «прогресс». Машине, несущейся в пропасть.

Пес улегся около миски, почти обхватив ее лапами, и полностью отдался лаканию.

Я заметил, что стою посреди комнаты, видимо, с дурацким видом и блуждающей улыбкой идиота.

– Но где же выход, по-вашему? – пытался я сохранить в вопросе оттенок иронии.

Пес лакал.

– Я спрашиваю, где выход? – повторил я громче.

– А нигде...

– То есть как...

– А никак. Нету выхода, и все. Оно спит в вас, – пес перестал пить, громко уронил голову рядом с миской и глядел на меня исподлобья, – оно спит в вас, то, что вы называете Богом. И никто не знает, когда оно проснется. Вам, конечно, сразу же хочется найти выход. Побороться с кем-нибудь, переиначить все, перекроить по-новому. Но это не поможет. Толк от ваших революций, простите, равен пользе от поллюций, если вы меня понимаете.

Я захохотал.

– Да-да. Какая разница, если вы все равно спите. Если оно в вас спит. Дергаетесь вы во сне или лежите спокойно – разницы большой нет. Ну, поменяют вам еще раз простыни...

На какое-то мгновение я вдруг осознал всю, так сказать, пикантность ситуации. Говорящая собака... Коньяк «Курвуазье», чай цейлонский... Речи, мягко говоря, нестандартные... Я тут посреди комнаты с идиотской улыбкой. Может, я просто сбрендил? Или сплю? Я почесал за ухом, почти по-собачьи – нет, окончательно сбрендил. Или сплю. Или сбрендил и сплю. Но потом вдруг подумалось: «Ну и что из этого? Если я “поехал”, так сказать, тогда все равно лечиться – какая разница? Часом раньше, часом позже... Если сплю – проснусь, не иначе. А разговор-то у нас ну больно уж увлекательный. То есть бред, конечно, полный, но во сне – почему не дослушать?»

Я с новой силой вступил в игру:

– И все-таки, – сказал я громко, так как пес задремал у миски, – и все-таки, если все, что вы сказали о нас, о людях, правда (а я нахожу, что в этом есть какой-то смысл), что вы посоветуете? Каковы ваши рекомендации?

То, что я своим вопросом поставил его так высоко, на Оболтуса, казалось, не произвело никакого впечатления.

– Осознать, – сказал он просто.

– Что?

– Осознать. Осознать, кто вы и что в вас – остальное придет само.

– И ничего не делать?

– Почему? Делайте, если хотите. Но осознанно. Барахтайтесь под одеялом – сколько вам влезет, только поймите, что спите.

– И тогда?

– И тогда, может быть, проснетесь, – пес зевнул, – со временем.

– А если все, что вы говорите, неправда?

– А вы попробуйте. Потом расскажете.

– Нет, постойте, зачем я должен пробовать, если я вам, допустим, не верю?

– Ну, значит, не верьте, – пес, кажется, снова задремал, – полтора часа назад, например, вы не верили, что бывают говорящие собаки.

– Это точно.

Я сел за свой письменный стол и задумался. Потом, так же задумавшись, побрел на кухню заварить кофе. Себе и Оболтусу, если захочет. Когда я через две минуты вернулся в комнату, пес сидел, вытянувшись в струнку, сна не было ни в одном глазу.

– Ой, вы меня извините, – начал он, – вот так всегда бывает. Заговорюсь, а потом... Чай горячий, коньяк... Сами понимаете. Вы, наверное, хотели ужинать? Вы уж извините, что задержал...

– Нет, нет, что вы, – поспешил я его успокоить, – кофе хотите?

– Да нет, ну что вы... Пойду я.

– Погодите, мне так хотелось еще с вами поболтать...

– Да нет, пора уже.

Пес встал и направился к двери. На пороге он остановился и оглядел комнату.

– Извините, что натоптал.

– Ничего, я вытру, – выпалил я, – может, все-таки останетесь – поужинаем?

– Спасибо, я уже ел сегодня, – Оболтус явно чувствовал себя виноватым – это было видно по его глазам, и я ничего не мог с этим поделать.

Он толкнул носом дверь и вышел во двор. А я все так и стоял посреди комнаты с кофейником и чашками в руках.

– Мы еще увидимся?

– Обязательно.

– Когда?

Нет ответа.

– Когда?

Шлеп, шлеп, шлеп – по лужам.

Я быстро поставил кофейник и чашки, кинулся к холодильнику, схватил большой кусок бекона и, догнав Оболтуса уже у самой калитки, сунул ему в пасть мясо.

– Ха-хи-бо ха-хое, – поблагодарило животное.

Потом он еще раз виновато взглянул на меня и... шагнул за калитку. А я еще долго стоял у этой калитки в тапочках, по щиколотку в луже, и смотрел ему вслед.

– До встречи, Дурак среди собак, – сказал я шепотом и улыбнулся, – я знаю, когда мы снова с тобой увидимся... когда я проснусь...

Я вернулся в дом, запер дверь, налил кофе и написал на чистом листе бумаги: «Дверь в мой дом закрипела и отворилась. На пороге стоял большой взлохмаченный пес странной национальности...»

Денис ШУЛЕПОВ

Чебоксары

ХОДИТЬ ПО ВОДЕ

Она услышала всплеск воды. Что-то в ванной? Память выхватила из «картотеки» тонкую папку с печатным словом «Ванная» и протянула ей. Она бегло просмотрела папку и, удовлетворенно хмыкнув, вернула Памяти. В ванной всё в порядке.

До уха донесся новый всплеск.

Кухня? Гора немытой, но замоченной посуды? Память скривилась в гримасе и покачала головой.

Тогда откуда всплеск?

Память услужливо выудила из «картотеки» папку со словом «Всплеск», но девушка отказалась. Её внимание привлекла открытая форточка. Вот откуда доносится всплеск!

И всплеск словно игриво поддакнул, многократно усилившись. Девушка прислушалась к всплеску. Тот был не одинок. Всплески накладывались один на другой, образуя речную симфонию. Девушка прислушалась сильнее и уловила, как речной симфонии аккомпанируют беспокойные ласточки и ветер, заигравшийся листвою.

Но что это за звук?

Девушка вопросительно посмотрела на Память. Та, пожав было плечами, встрепенулась, словно сонный адъютант, сообразивший, что перед ним его генерал, и с повышенным усердием принялась копаться в пыльной «картотеке». Девушка поморщилась и встала с кровати.

Ранний – совсем юнец – Склероз, небось, опять успел пошвыряться в «картотеке». Нет, ждать подсказки от Памяти терпения не хватит. Звук был до боли знаком... и в то же время непривычен. Она подошла к окну. И расцвела в улыбке.

Ну конечно же, это дельфин!

Девушка победоносно оглянулась на Память. Та смешно выпучила глазюки, чем еще больше развеселила девушку.

Дельфин снова свистнул, он звал порезвиться с ним. И девушка не возражала. В белой ночнушке ночным мотыльком она выпорхнула из дома и побежала к реке. У воды остановилась, ища дельфина. Дельфин с миллионом брызг выпрыгнул из воды и, весело перемахнув через буёк, плюхнулся на спину, подняв еще больше брызг. Девушка засмеялась и поспешила к нему прямо по лунной дорожке.

У Митрофаныча болел организм. Жутко, от костей до самой печени. Он весь извёлся и не знал, куда себя деть, в сто сорок пятый раз ругая себя по матушке и в третий раз давая себе зарок больше стеклоочиститель не пить. Ни от чего не бывало у него такого похмелья, как от проклятого стеклоочистителя. Ну дернул его чёрт-Васька выпить! Уговорил-умаслил, лишь бы одному скучно употреблять не было. Алкаш, кудрит его через корягу! Мучайся теперь, страдай...

Митрофаныч исторг из себя многоэтажный мат. Потом исторг из себя желчь. Тут же хотел повторить всё сызнава, но пока определялся с периодичностью, внимание его отвлеклось, а, вернее, привлеклось странным видением.

Вот и до чёртиков допился, подумал Митрофаныч, и с досады таки исторг из себя желчь, сдобрив крепким словечком.

Только вот не чёрта он увидел. Наоборот, скорее. Митрофаныч врезал себе оплеуху и всмотрелся в видение.

Или привидение?

Привидение тем временем стояло уже у воды и будто высматривало в темноте что-то. Или кого-то?

Митрофаныч струхнул было, но потом привидение звонко так засмеялось и с души Митрофаныча словно камень свалился: девчонка сумасбродная!

Вот только что же она задумала? С ума ли сошла? Да, да, да, смех без причины... Ах! А причина-то может там, в воде? Любовник в лодке или еще кто? Поди, пойми эту молодежь экстравагантную! Последнее слово будто заскрипело на зубах Митрофаныча. Слово из прошлого... не понимали этих слов его новые друзья. Да и сам он не хотел таких слов. Отмахнулся Митрофаныч от сложного словца и, как будто забыв про больной организм свой, побрел к дивчине, всё ближе подходившей к воде. Он всматривался в темноту, но не видел ни зги. Хоть бы луна подсветила, ан нет луны: хмарь небесная уж третий день! Что же там дивчина разглядела, чего он не видит? Воспалённые глаза его заслезились, и он их отчаянно потёр.

Когда слезливость прошла, он поморгал и посмотрел на девушку. Но девушки не было у воды. Куда?... И тут он увидел её. Она бежала прямо по воде! По воде! Митрофаныч не раз слышал, что шок – лучшее средство от похмелья, но не верил. До сейчас. Ноги его подкосились, и он грохнулся на колени. Я сплю? – спросил он себя. Я сплю, – ответил он себе.

Я сплю. Я сплю. Я сплю, – как мантру повторял себе Митрофаныч, пока девушка не скрылась во мраке. А, может, и не было девушки? А вдруг привидение? Вот же оно – растаяло в ночи! И смех не слышен, и плеск от её босых ног.

Она добежала до буйка, но дельфин... Где же он? Почему, куда? Уплыл, не попрощавшись? Как же так? Девушка с грустью посмотрела на Луну... и увидела дельфина. Тот плавал по кругу, словно в лунке рыбака. И девушка поняла, что молодого дельфина позвали домой, и он очень сожалеет, что девушка не успела с ним поиграть. Девушка улыбнулась и подумала, что ничего страшного, они поиграют в другой раз. Дельфин обрадовался и махнул хвостом, прощаясь. Девушка помахала рукой в ответ.

Пора домой.

Стоило Митрофанычу подумать о босых ногах, как он услышал плеск. Привидение возвращалось. Митрофанычу

хотелось убежать, но ноги не слушались. Даже ползти было невмочь, куда уж там – бежать!

Девушка словно возникла из темноты, пугая своим белым одеянием. Вид её был грустен. Видно, не нашла она того, кого искала. Сердце Митрофаныча готово было выпрыгнуть из груди, когда девушка ступила на сушу, как ни в чем не бывало (будто ходить по воде – в порядке вещей!) и прошла в самой близости от него, задев подолом лицо.

Прикосновение ткани окончательно отрезвило Митрофаныча.

Девушка вернулась домой. Закрыла форточку. Легла в постель, чтобы поутру проснуться с чувством счастья и легкой утраты чудного сна. Который не был сном. Но и реальностью как будто не был тоже. Ведь люди не умеют ходить по воде. И дельфины по луне не плавают.

А Митрофаныч до утра твердил себе, что это сон. Он спит и снится ему пьяный бред. К утру, когда разомкнулась темень, Митрофаныч и вправду задремал прямо на коленках, чтобы проснуться и понять, как сильно не хватает ему тех сложных слов из прошлого. И как осточертели ему междометия нынешнего.

Лирический портрет

Владимир ВИНИЧЕНКО

Кстово

ВСЕ СТИХИ НАЧИНАЮТСЯ С МУЗЫКИ...

* * *

Когда напрасно всё:
И встречи, и разлуки,
И некуда уйти
Из будущего дня,
Я вслушиваюсь вновь
В серебряные звуки
Поэзии, всю жизнь
Спасавшие меня

От замкнутых путей
И ложных направлений,
От трусости в любви
И пошлости за ней,
Рассеивая мрак
Моей природной лени
Блистанием вдали
Блуждающих огней

Неведомых миров,
Чьи сущности бумага
По-прежнему хранит
В окраинном быту,

В котором я ещё
Пройду свои полшага,
Переступив его
Последнюю черту.

* * *

Я возвращался утренними
Росами,
И наблюдал, безмолвствованье
Для,
Как возникает в дымке
Абрикосовой
Небесным светом
Русская земля,

Как чайка
Над речною гладью мечется,
Крылами ослепительно
Маша...
И до краёв наполнена
Отечеством
Была в тот самый миг
Моя душа.

* * *

То в холод, то в жар
Бросая,
Кружа, то в кабак,
То в храм,
Блуждает душа
Босая,
Как нищенка,
По мирам

Чужим, посторонним,
Встречным
(Бог весть что
Вообразя!),

В которых согреться
Нечем
И выплакаться
Нельзя,

В растроенности
Коснея,
И помня, спустя года,
О том, что как будто
С нею
И не было никогда.

* * *

Метельцей низовую заворсили
Ветра предполагаемых
Сторон,
И где-то здесь кончается
Россия,
И тьмою обрывается
Перрон

До взбалмошной трели
Перегона,
Что выблеснет прожектором
В глаза...
Как сладостно, сквозь полуголоса,
В дремоте грёз
Плацкартного вагона

В желанных временах
Произойти,
Переместившись в следующий
Вечер
Ещё совсем не скорой
Нашей встречи
На том конце железного
Пути.

* * *

Белой мглой наполняется
Узенький,
В жёлтых шторах,
Оконный проём,
Все стихи начинаются
С музыки,
Что рождается в сердце
Моём

И парит высотой
Голубиною,
Притяженья не зная
Черты...
Как же так получилось,
Любимая,
Что её не услышала
Ты?

* * *

...но всё же в этой мнительной
ненужности,
похожей на беспамятство,
и я,
создав надежд
чернильные окружности,
их суживаю
к центру бытия,

поддразнивая ими,
как мишенями,
небесного стрелка
в стеклянной мгле,
чей точный выстрел
стал бы утешением
моей случайной жизни
на земле...

* * *

Ветер мечется
И свищет,
Словно тать,
В осенней мгле,
По смиренному
Кладбищу
На украинской
Земле,

Задувая пламя
Спички,
Приглушая
Благовест,
И на куполе
Каплычки
Чуть покачивая
Крест,

Обрываясь эхом
Сверху
Под сердечный
Перебой...
Здравствуй, мама,
Я приехал
На свидание
С тобой.

* * *

Здесь где-то поблизости
Кажутся лица,
И небо, что звёздным
Висит полотном,
Здесь время как будто
Стирает границы
Меж смертью и жизнью,
Меж явью и сном,

Здесь нет ни надежд
Ни на что, ни ответа,
Ни смысла, ни вымысла,
Годы спустя,
Лишь море чешуйками
Лунного света
Искрится, волнами
У ног шелестя,

И улочка к дому
Вдоль клумбы цветочной
Внезапно теряется
В школьном саду,
Здесь всё так нелепо,
И всё так непрочно,
Случись оступиться мне
– И упаду...

* * *

Не собой становясь год от года,
В междусмертьях прощаний и встреч,
Слышал я и молчанье народа,
И его благодушную речь,

Сочиняя стихи в подзаборье
Безутешной мольбой к никому,
Я делил с ним и радость, и горе,
Белый свет и кромешную тьму,

Из которой не то, чтобы деться,
Даже выглянуть трудно, увы,
И жалел его так, что на сердце
Расходились вторичные швы.

* * *

Без ветреных надежд
И лишних слов,

С оттенками в душе
Стыда и срама,
На остовные рёбра
Куполов
Давным-давно разрушенного
Храма,

Неведомо кого благодаря
Пытаюсь выйти,
Полагая точно
О том, что там
Мой ангел полуночный
Не спит. И ждёт меня
У алтаря.

Из будущих книг

Владимир ТИТОВ

Москва

МОРОЗНЫЙ ЗВОН

Коли в дальней дороге вас застигла метель, утешение может быть одно: теперь ни волков, ни, тем паче, разбойников сторожиться не надо. Правда, от серой стаи альбо лихой ватаги можно при удаче отбиться. От ведьмы-метели, да ещё если ей мороз в помощь, не отобьешься. Тут одно спасение – были б кони сыты да сильны.

Четверка крепконогих коней, впряженных в невеликий крытый возок на полозьях, давно уже являла признаки усталости. Всё чаще она переходили с рыси на шаг, и возница, помянувший чёрта, дьявола, сатану и всю нечестивую родню его, не тревожил коней кнутом, понимая, что это бесполезно. К тому же он был уверен в своих конях и знал, что они вытянут. И не из такой передраги вытягивали.

Внутри возка, куда не проникало буйство стихии, тоже царило сонное спокойствие. Две женщины негромко переговаривались, посматривали в окно, слушали хищный вой метели. Третья путешественница, которую в беседу не приглашали, дремала впрок.

– ...и тогда твой покойный батюшка сказал пану Сбыславу: «Если это твоя первая настоящая битва, то чему же учили вот этих всех?» – и показал на трупы побитых та-

тар, иссеченных так люто, что на них не можно было смотреть без трепета, – говорила одна. – Они тогда, в начале Инфлянтской войны, были молоды, Ванда, звёздочка моя. Ненамного старше, чем ты сейчас. Батюшке твоему было годов двадцать с небольшим, а пану Сбыславу – не то семнадцать, не то ещё меньше.

– Матушка, а отчего пан Сбыслав не женился до сих пор? – спросила вторая собеседница.

– Он очень любил пани Ольгу, а та, бедняжка, умерла родами. Многие были бы рады отдать дочерей за такого славного рыцаря, но пан Сбыслав не хотел. Он говорил, что ни одна красавица не заменит ему пани Ольги.

– А я, значит, заменила? – Если бы в возке было чуть светлее, было бы видно, что вторая собеседница лукаво ухмыльнулась.

– Это ты у пана Сбыслава спроси. Уж не сомневайся, дочка, – любит он тебя.

– Ещё бы не любил! – самодовольно усмехнулась Ванда.

В это время в дверцу возка постучали и почти тут же отворили. В образовавшуюся щель немедленно сунула холодную лапу метель. Потом метель отсекло, потому что щель занял собой Владислав – старый отцов ратный слуга, из небогатых шляхтичей, у которых своего – горор, усы да сабля, а шапка уже панская. К слову, шапка, брови и усы Владислава были столь густо облеплены снегом и ледышками, что лица за ними было не видеть.

– Пани Марта, – сказал он, – стемнело уже, да ещё метель дьявол надавал, а кони притомились. Если ваша панская милость дозволит, через версту свернуть бы на восход, а там всего миля до фольварка Калинковича. Там бы отдохнуть да подкрепиться, а завтра до свету в путь тронемся.

– Опоздаем ведь! – вздохнула пани Марта, которая рассказывала дочери о славных сечах пана Сбыслава. – Свадьба уже послезавтра...

– Пани Марта, вот как Бог свят – завтра о полудне будем в палаце Чарнецких варенухой отогреваться! А сегодня уж не судьба до места доехать.

– Ну, делай, как знаешь, пан Владислав, – сказала пани Марта.

Дверца возка затворилась.

– А скажите, матушка... – заговорщическим шёпотом начала Ванда...

Однако давайте, любезный читатель, проявим благовоспитанность, и пусть благородные шляхтенки посекретничают без посторонних ушей. Тем более что разговоры вскоре сошли на нет, и все три путешественницы предались самому непритязательному дорожному развлечению – дреме.

А у нас есть возможность представить их.

Две путешествующие шляхтенки, юная панна и её мать, были из семьи Бельских (пани Марта – урождённая Глинка). Еще два поколения назад Бельские были сильным и богатым родом русской шляхты Великого Княжества Литовского, Руского и Жамойтского. Однако Инфлянтская война подкосила их. Слишком много храбрых мужей поженились на сырой земле, сосватанные саблями да пулями московских ваяров, как оба старших брата Ванды. А из тех, кто воротился, немало было калек да хворых, как Вандин отец. Вернувшись бледной тенью себя прежнего и промаявшись около года, страдая не столько от ран, сколько от гибели обоих сыновей, пан Михал отошёл в мир иной. Среди тех, кто провожал витязя в последний поход, был его старый боевой товарищ Сбыслав Чарнецкий. Неподдельно было горе знатного рыцаря, корившего слепую судьбу да костлявую дуру-смерть, что забрала не его, одинокого вдовца, а доброго мужа и отца. Но не зря люди частенько поминают жизнь да смерть чередую. Хотя похороны да поминки – не самое подходящее время для любовных дел, пан Сбыслав заметил, как расцвела дочка Михалкова, Ванда. Стал он наезжать к Бельским, помог поправить пошатнувшиеся дела, делал вдове и сиротке пристойные подарки. И, когда он попросил у пани Марты руки её дочери, та согласилась, и Ванда не стала противиться. Полюбила ли она Сбыслава Чарнецкого, как полюбил её он? Трудно сказать. Несомненно, ей льстило внимание прославленного и богатого рыцаря. Вот только пан Сбыслав, хотя был крепок телом и бодр духом, но всё-таки по возрасту годился Ванде в отцы. А молодость беспощадна к тем, кого покинула...

Бельских сопровождала в пути их служанка. Забегая вперёд, скажем, что она не сыграет значительной роли в нашем повествовании, а потому ограничимся сообщением, что кликали её Любкой.

...Тем временем стемнело уже окончательно, метель усилилась, так что несколько раз Владислав слезал с козел и проверял, едут ли они по дороге или свернули чёрт знает куда. Дорога, однако ж, была на месте. Наконец, впереди показались тёмные пятна строений.

– Добрались, сто чертей тебе в глотку, проклятая метель, – проворчал возница.

Так небезопасное путешествие сквозь пургу завершилось благополучно. Вскоре кони были вверены заботам местного конюха, возок нашёл пристанище в каретном сарае, работники перенесли в панский дом дорожный скарб да приданое Ванды Бельской – по совести сказать, оно было невелико – а сами путешественницы в ожидании вечерней трапезы отогревались возле печки, покрытой разноцветными изразцами.

Здесь, при свете свечей, зажжённых учтивыми хозяевами, мы можем рассмотреть их. Пани Марта была статной дамой со строгим овальным лицом. Голова её была покрыта белой намиткой тонкого полотна. Она была облачена в чёрную сукенку с высокой талией, подпоясанную золотым поясом, рукава кашули также были чёрными и украшены золотым шитьём. Прямой тонкий нос, серые глаза, маленький, но упрямый подбородок изобличали в пани Марте сильную породу, и видно было, что некогда она заставляла часто биться сердца молодых шляхтичей – да и сейчас была красива величавою красотою немолодых дам.

Дочка её, которую звали Ванда, чертами лица была похожа на мать, однако немного другая линия скул и подбородка, чуть вздёрнутый нос достались ей от отца. Щёки юной девицы раскраснелись от мороза, который успел поцеловать её, когда она переходила из возка в дом, а больше того – от неугасимого жара её собственных семнадцати лет. Голова панны Ванды не была покрыта, и светло-русая коса спускалась до самого низа спины. На Ванде была синяя сукенка, подпоясанная золотым поясом, и кашуля бордового цвета.

Любка, словно в оправдание звания чернавки, была темна лицом и волосом, круглощёкая, с быстрыми весёлыми глазами и подвывернутыми губами, которые так и тянет расцеловать, будь ты хоть простой кмет, хоть магнат. Одета она была в простонародную вышитую кашулю, с клетчатой панёвой да юпкой.

В покой, где отогревались три путешественницы, постучался и вошёл мужик лет сорока с небольшим. Хотя он был одет чисто и не без щегольства, видно было, что это человек простого звания. Это был Якоб Головня, управляющий работами на фольварке. Почему к нему приклеилось такое прозвище, не знал никто. Голова у него была не мала, не велика, а волос цветом напоминал солому. Должно быть, происхождение прозвища терялось в глубине веков, потому что и отца его звали Головня, и деда, и, как утверждал Якоб, прадеда и прадедова отца.

– Всем ли вы довольны? – осведомился он. – Ужин вашей милости скоро подадут.

– Всё хорошо, – кивнула пани Марта. – А где же сам пан?

– Пан Кастусь, пани Наталья да оба панича уехали ещё утром, – покачал головой Якоб. – Пан Сбыслав Чарнецкий скликает всю окрестную шляхту на свадьбу с... с вами, ясная панна! – Он поклонился Ванде. – А вы здесь. Вот ведь как выходит!

– Наверное, и братец Ян, да и дядько Юрий со всей семьёй уже у Чарнецкого, – с усмешкой сказала Ванда, обращаясь к матери. – Что ж, не беда. Я думаю, они нас подождут.

– С их стороны было бы невежливо начинать без вашей милости, – заметил Якоб. – Простите на дерзком слове.

Ванда и чернавка расхохотались, да и пани Марта улыбнулась, покачав головой.

– Это ты верно подметил, Якоб, – сказала она.

– И знаете, милостивая пани, – продолжал Якоб, – у нас нынче настоящий сойм. Верите ли, только что приехал на фольварк молодой шляхтич – его, как и вас, буря в пути застала, он и завернул до нас. Пригласить ли его с вами ужинать?

Пани Марта велела пригласить. Якоб кивнул и вышел. Вскоре в покой с поклоном вошел тот самый заблудший путник, о котором рассказывал Якоб. Ванда окинула его беглым взглядом, понимая, что паяльщик в упор неучтиво. Первые впечатления её о незнакомце были отрывочны. Высок, свитка брусничного цвета, лицо... так себе лицо, обветренное, под цвет свитки – хотя он, наверное, не в возке сидел, какому же ему ещё быть...

– Вечер добрый панству, – сказал вошедший немного осипшим голосом. – Зовут меня Микалай Немирович, по гербу Секира. Счастлив лицезреть прекрасных шляхтенков и шановного пана.

Пани Марта представила себя, дочь, не забыла и Владислава. Через некоторое время путешественники приступили к вожделенной трапезе. Блюда были не слишком изысканными, о чём успела посетовать девица, подававшая на стол – по виду, дочь Головни – однако для усталых путников обильная и сытная еда была приятнее, нежели разносолы. Два жареных гуся, да вареники, да блины, да пирог с рыбой, да варенуха, появление которой весьма порадовало Владислава, да прочие напитки, хмельные и нет – всё это богатство быстро заставило забыть о тяготах дороги.

Потекла учтивая беседа, без которой не обходится ни одно застолье, хоть в палате великого князя, хоть в самой что ни на есть простецкой корчме. Микалай, оказалось, был учёным человеком и постигал философию в Виленской академии. Оттуда он сейчас и направлялся до отцовского маёнтка – причём, как поняла Ванда из его слов, адукацию он по какой-то причине не завершил.

– Пан закону рымского? – спросила она неожиданно для себя.

– Нет, ясная панна, – ответил Микалай. – Семья наша держится закону грецкого...

– Мы тоже, – зачем-то сказала Ванда.

– ...академия же, хотя и основана иезуитами, принимает всех христиан, – продолжал Микалай.

– Коли так, то это правильно. Не один ли Бог? – заметила пани Марта. – И закон господаря великого князя

не делает различия между христианами греческого и римского закона. И, надеюсь, так будет и впредь.

Ванда слушала вполуха, во все глаза рассматривая молодого сотрапезника. На вид ему было лет двадцать, может, чуть больше. Широкие плечи и сильные руки, движения и обычай говорить – всё изобличало в нём шляхтича с крови и кости, что бы он там ни говорил про какую-то философию. Глаза были пронзительно-синие, как июльское небо, а медного цвета кудри, сбритые с боков и с затылка, нависали надо лбом копной, и Ванде неожиданно захотелось запустить пальцы в эту упругую медь. Ванда сердито фыркнула и с независимым видом занялась варениками.

Трапеза подходила к концу, когда снова явилась светло-волосая девица.

– Всем ли вы изволите быть довольны, панове? – спросила она, пряча руки под фартуком.

– Думаю, сам господарь король и великий князь не побрезговал бы таким столом! – улыбнулась пани Марта. – Как тебя зовут, дитя?

– Ядвига, милостивая пани, – улыбнулась девушка.

– Так скажи батьке, Ядзя, что мы щедро заплатим за добрый ужин и постой, – сказала пани Марта.

– Дозвольте, пани, я заплачу, – сказал молодой шляхтич.

– Как можно с вас гроши просить? – вытаращила глазки Ядвига. – Да простит меня милостивая пани, у нас не корчма, а фольварк пана Кастуся Калинковича. Пан наш будет рад, коли узнает, что мы принимали невесту пана Сбыслава Чарнецкого по дороге на свадьбу! А вас, пан, мы всегда рады принять! – она медоточиво улыбнулась Микалаю. Ванда нахмурилась.

Крупный угольно-чёрный кот, что проскользнул в дверь вместе с девицей, деловито подбежал к Ванде и вспрыгнул ей на колени. Ванда засмеялась и принялась гладить и тормошить зверя, а тот муркотал и выгибался под её руками.

– Чует доброго человека! – сказала Ядзя.

– Что ж, коли батька твой платы не возьмёт, так я тебя награжу, дитя моё, – сказала пани Марта. – Подарю тебе юпку тафтяную. Чтобы не только у нас, но и у тебя была радость.

– Благодарю, милостивая пани! – поклонилась Ядзя.

Тем временем Ванда подхватила кота под брюшко и положила себе на шею. Котище некоторое время изображал меховой воротник, потом подобрал лапки, спрыгнул на пол, потёрся о ноги панночки и вновь вскочил ей на колени.

– Он в тебя влюбился, дочка! – сказала пани Марта, с улыбкой глядя на забавы дочери с котом.

– Возможно, – улынулась Ванда. Она подхватила кота под передние лапки и поставила себе на колени. – А что? Чем не рыцарь? Вон какие усищи! И глаза огнём горят! А когти, верно, точно сталь! А гонору на трёх шляхтичей хватит! Он за тобой не приударяет, Ядзя?

– Да позволено мне будет молвить, – сказала Ядзя, – у нас говорят, что старый человек живёт, як тот кот. Вот вы смеётесь, ясная панна, а у нас стары люди так говорят: женился человек, альбо девка замуж вышла – конский век живёт, впрягся и тянет воз. Когда дети подросли – надо им хаты строить, тогда живёшь коровий век, начинают тебя все доить. Собачий век – это уже когда за семьдесят годов, уже дети забирают его добро их сторожить себе. А когда девяносто альбо сто годов – это уже котовий век. Вот что кот робит в хозяйстве? А мы и кормим кота, и погладим, и приласкаем просто так. Так и старый...

– Кот мышей ловит, – заметил пан Микалай. – В хозяйстве это не лишнее...

– А старый старичок аль старушка малым деткам басни сказывает, – ввернула Ядвига, – Вот дедушка – он не мне, он батьке моему дедушка, а мы, малые, всё одно его дедушкой называли – он такие басни знал, какие мало кто помнит! И про витязей, и про змеев, и про Верлиоку, и про ягую бабу, и про мудрую королевешну, и про храброго паробка Катигорошка. И так сказывает, что ты будто видишь это! Когда и страшно, а дослушать хочется!.. А ещё стары люди знают, как любую ссору миром поладить. Бывало, matka с тётей, дядиной жонкой, об чём-то разругаются, а дедушка только слово скажет, они и успокоятся, да ещё посмеются, что из-за пустяка спорили. А то, когда мы совсем малыми были, мой Дмитро, братишка-погодок,

с двоюродным братишкой Стаськой разодрался. Они оба меня любили, а поделить не могли, дрались, что кочета. Один кричит – «Моя Ядзя, я больше люблю!», а другой – «Нет, моя!». И меня за руки в разные стороны тянут. А тятя с дядькой в ту пору лесовали, а матушка моя с ними поехала, а тётка на огороде была. Тут дедушка встал, взял в одну руку посох, в другую нож-косарь, подходит до нас да молвит: «А вот сей час я её надвое разрублю, каждому достанется!» Мы все в слёзы, братишки меня обняли, режут – «Не надо, дедушка, не рубай нашу Ядзю!» С того разу и не ссорились.

Ванда посмеялась и почесала кота за ухом. Кот прижмурил глаза и замурчал.

– Котик, котик, как тебя зовут? – спросила Ванда.

– Баюнок мы его зовём, – ответила за бессловесного кота словоохотливая селяночка. – Он в лесу на Стась с дерева прыгнул, точно Баюн из басни, который людей сладкими песнями обморачивает да губит. Стась его поймал да принес, а он прижился. Бывает, в лес уходит на день, на другой, потом ничего, возвращается. А то молвят... кот не просто так муркочет, он пацеры говорит, только вот молится он не по-людски, – примолвила Ядвига.

Ванда улыбнулась и, выгнув пальцы птичьими когтями, провела ими вдоль спинки кота.

«Уммррррр, фрррр», – отозвался кот.

– Баюнок? А мне ты песенку споёшь? – спросила Ванда.

Кот неожиданно обернулся и посмотрел в глаза панночки, отчего та вздрогнула. Что-то недоброе показалось ей в жёлтых кошачьих гляделках. Как будто кот понимал всё, о чём они тут говорили, и даже больше. Наваждение тотчас же пропало. Баюнок спрыгнул с колен Ванды и убежал.

– Дозвольте идти, панове? – спросила Ядзя.

– Иди, голубка, – сказала пани Марта.

– Славная девица! – заметил после её ухода Владислав. – И как похожа на панночку! Если обрядить её в богатое убранье, так и подумаешь, будто шляхтенка... хотя с панночкой нашей ей всё одно не сравняться! Кто нашу панночку увидит, тот навек покой и сон утратит. Только зря очи про-

глядит. Панночка наша просватана за славного Сбыслава Чарнецкого! Воевал он в Инфлянтах вместе с нашим покойным паном Михалком Бельским против москвитцев, бил поганого татарина Саин-Булата, этого пса-людоеда, которого спускал на нас Иван Кровавый, лиховал под Полоцком да под Псковом. Из первейших ваяров был, не щадил ни себя, ни врагов, а пахолки его готовы за ним в огонь и в воду! А кто средь окрестной шляхты такой удачливый охотник, как пан Чарнецкий, а кто такой гостеприимный хозяин, что всякого мелкого шляхтича принимает почти как гетмана! И кмети, говорят, тоже довольны паном Чарнеким, потому что он господарь хотя и строгий, однако справедливый. А всякая... – Владислав вовремя спохватился, поняв, что его понесло не в ту степь. – Выпьем за то, чтобы панночке нашей счастливо жилось с таким супругом!

– За счастье панны Ванды! – поддержал его Микалай.

Окончив ужин, изрядно воодушевлённый хмельным Владислав надумал пойти посмотреть, «как здешний конюх обиходил наших коньков». Вместе с ним и тоже в направлении конюшни отправился пан Микалай, надумавший проведать своего скакуна. Воротившись, Владислав объявил, что буран, который перебил им дорогу, чтоб его дьявол забрал, стих совершенно, будто его и не было, небо ясное и луна светит, как... тут он сбился, видимо, не подыскав благопристойного сравнения. Ванда посмеялась, и, испросив у матушки разрешения, отправилась прогуляться по фольварку. Случайно ли она столкнулась с Микалаем, или они искали друг друга, или так распорядилась сама судьба, которая свела их в пути?

– Это я, – сказала Ванда, выходя из лунной тени, которую отбрасывал панский дом.

О чём они говорили, не спеша прогуливаясь под чёрной бархатной пелериной ночи, расшитой серебром и алмазами? Какие слова растворил хрустальный морозный воздух? Что видела луна, похожая на серебряный грош? Люди частенько говорят выпренное и исполненные чувства слова, которые идут от языка, а не от души. А бывает так, что двое молодых людей болтают о пустяках, смеются и вскоре забывают, над чем веселились, – а судьба тем

временем скручивает нити их жизней воедино, так что не разъединить их, а если и отрезать – так обе разом.

– Замёрзла я! – весело призналась Ванда. Микалай раскинул полы футры и, ни слова не говоря, укутал ею тихонько пискнувшую девушку. Ванда забыла дышать, не видела и не слышала ничего вокруг – только бешеное биение своего сердца.

– Я... пойду... – не то утвердительно, не то вопросительно проговорила девушка. Микалай не отвечал. Ванда выскользнула из его объятий и бесшумно побежала к дому.

Через некоторое время, когда Микалай вернулся в панский дом, он застал Ванду в просторном покое, в котором им подавали ужин. Запалив три свечки, она читала толстый том.

– Дозволено ли мне будет спросить, что панна читает? – осведомился Микалай.

Ванда улыбнулась и лукаво стрельнула глазками в угол, словно приглашая незримых духов в собеседники.

– Ля ви трэ оррифик дю гран Гаргантюа, пэр дэ Пантагрюэль, – важно прочитала она заглавие.

– Je ai lu ce livre, – ответил молодой шляхтич, стараясь выговаривать слова чисто и не спеша: произношение юной читательницы давало понять, что письменной речью она владеет куда лучше, нежели устной. – Нравится ли вам этот озорник, учёнейший мэтр Рабле? – продолжал он по-французски.

– О да! – весело воскликнула Ванда. – Хотя матушка полагает, что сия книга чересчур груба для благородной девицы. Но я этого не нахожу!

Микалай подумал, что матушка образованной панны в чём-то права – но благоразумно оставил это мнение при себе.

– А прежде ещё читала я старинный роман, написанный славным французским стихотворцем Берулем, – сказала Ванда, мечтательно глядя поверх пламени свечей. – Жил некогда в далекой западной стране храбрый шляхтич, равного которому не было. Он победил страшного змея, он убил великана, который, по слову короля соседней державы, требовал с его страны позорную дань девицами да па-

рубками. И так случилось, что полюбил он жену господаря своей страны, который, к тому же, приходился ему дядей. И прекрасная королева тоже полюбила его. Так велика была их любовь, что они не побоялись преступить Божеский и людской закон. – Ванда замолчала. – Много горестей выпало на их долю. И всё-таки они были счастливы, как может быть счастлив тот, кто соединился с любимым человеком.

– Я тоже читал этот роман, – негромко сказал Микалай.

Некоторое время они молчали, глядя в глаза друг другу. Всё было сказано. И они друг друга поняли.

Растворилась дверь, и в покой вошла пани Марта.

– Дитя моё, время уже не раннее, – ласково сказала она Ванде. – А нам завтра дорога предстоит. Шла бы ты лучше почивать.

– Конечно, матушка, – сказала Ванда, сложила книгу и неслышно удалилась.

– Слушай меня, пан Микалай! – сказала пани Марта, когда они остались одни. – Вижу я, что моя дочка тебе приглянулась. Не говори, будто не так. Вижу, иначе плохая я была бы мать. Ты, наверное, славный рыцарь, и для своей жены мужем будешь добрым. Только вот что, пан Микалай: дочка моя уже просватана. Послезавтра быть свадьбе. Прошу тебя, пан Микалай... поклянись пред Богом, поклянись добрым именем отца и матери и всего рода своего, честью своей поклянись, что не станешь мою Ванду с пути сбивать.

– Клянусь, – помедлив, ответил молодой шляхтич.

– Благодарю тебя, – сказала пани Марта.

...В ту ночь из всех случайных гостей фольварка Калинковичей хорошо спали, пожалуй, только пан Владислав да Любка, служанка Бельских. Юная Ванда ворочалась и вздыхала, ей было то жарко, то знобно. Несколько раз она принималась тихонько плакать. Не спалось и пани Марте: не каждый день везёшь единственную дочку на свадьбу! Не спал Микалай в своём покое. Он то ложился на лавку, не раздеваясь, то вскакивал и принимался ходить взад-вперёд, то садился и смотрел в одну точку.

Ближе к утру шляхтич вышел во двор, прошёл к конюшне, там растолкал сонного калинковичского конюха.

Через некоторое время он вёл по двору в поводу осёдланного дрыгганта.

– Надумали уехать не прощаясь, пане Микалаю? – слышался звонкий голосок, который молодой шляхтич узнал бы из тысячи. – Ужели наше общество для вас столь противно, что вы не боитесь честь шляхетскую невежеством запятнать?

Микалай остановился.

– Панна Ванда, – проговорил он – и видно было, что нелегко даются ему эти слова, – как только я увидел вас – понял, что не встречал никого прелестнее, когда слышал ваш голос – навеки пропал. После нашей встречи я не люблю больше ни одной девицы, будь она хоть королевной, потому что сердце моё принадлежит вам. Однако судьба нам расстаться и не вспоминать больше друг друга. Вы осчастливите своего мужа, ну а я постараюсь как-нибудь дожить, сколько мне отмеряно, зная, что не будет со мною рядом той, которая дорога мне больше всего на свете.

– Чем я оскорбила тебя, рыцарь, что ты признаёшься мне в любви и тотчас меня отвергаешь? – тихо спросила Ванда.

– Я дал клятву, панна Ванда, что не стану мешать шлюбу, о коем ваши батьки с паном Чарнецким домолвились, – сказал Микалай.

Ванда схватила его за рукава.

– Не будет ничего, – сбивчиво заговорила она, глядя на него полными слёз глазами. – Никакого шлюба. Потому что я того не хочу. И не в чем тебе клясться! Слышишь, милый? Не хочу за Чарнецкого. Хочу за тебя! Ничего и никого не боюсь, хоть весь свет встанет против! Увези меня, сделай женой своей... или возьми пистоль да застрели здесь, потому что не будет у меня жизни без тебя!

Некоторое время оба молчали.

– Коли так, – сказал Микалай, – знай, голубка моя: нет той силы, которая сможет разделить нас. Ни христианин, ни басурманин, ни ангел Господень, ни нежить пекельная. Счастье найдём – так на двоих, загинем – так вместе. Но знай – покуда я жив, никто не посмеет даже косо глянуть на тебя.

– Микалай... – тихо сказала Ванда, – матушка моя не даст согласия, даже если оба у неё будем на коленях просить. Коли ты готов меня взять – надо бежать, не мешкая.

– Нет, – ответил, подумав, Микалай.

– Нет? – не поверила своим ушам Ванда. – Это... потому что я против матушкиной воли замуж иду и от имения отпадаю?

– Не то ты молвишь, голубка моя, – улыбнулся Микалай. – Об имении я вовсе не думал. А пришла мне дельная мысль. Слушай...

* * *

Ещё и не начало светать, как Бельские выехали со двора. Ванда сидела скучная и, укрыв пол-лица убрусом, не то хандрила, не то дремала.

– Я, матушка, кажется, дурно спала сей ночью, – пожаловалась она, собираясь в дорогу. – Я уж в пути посплю. А вы разбудите меня, как приближаться станем! Не годится мне перед наречённым зевать! – закончила она с измученной улыбкой.

– Добро, дочка, – сказала пани Марта. Про себя она подумала, что девка тоскует по красивому молодому шляхтичу. Что ж, пан Микалай всем угодил – и лицом, и статью, и беседу ведёт учтиво. Так что ж с того? Много ещё ей встретится пригожих молодчиков – что ж, каждому на шею кидаться?

Отъезд, впрочем, не обошёлся без приключений. Уже сев в возок, Ванда вдруг всплеснула руками:

– Что ж я сегодня сама не своя! Матушка, извольте подождать, я книгу свою забыла!

– Вандушка, да сиди, пускай Любка сбегает! На то она и чернавка, чтобы тебе по пустякам ноги не бить!

– Ах, матушка! – улыбнулась Ванда. – Я-то знаю, где её искать!

Вскоре Ванда вернулась, держа в руках томик французского безобразника. Не говоря ни слова, она поплотнее завернулась в шубку и, кажется, мгновенно уснула.

Владислав свистнул, щёлкнул кнутом, захрустел снег под копытами четвёрки, зашипел под полозьями. Вот пропали из виду постройки фольварка, вот промелькнули поля, потянулись леса. Вот переехали мост через невеликую речку и из лесной страны, как в басне, оказались в полях, которым не видно конца и краю, мелькнула и пропала вдаль безымянная вёска... Владислав был прав – сегодня ехали быстрее.

И вправду – ещё было светло, когда Владислав сказал, что скоро будут в поместье Чарнецких. Пани Марта принялась будить Ванду.

– Ванда! Доченька, открой ясны очи! Ведь мы уже приехали! Да что с тобой? Вчера весь день вертелась, а нынче тебя ровно подменили – клюёшь носом. Уж не захворала ли?

– Я здорова, матушка... – тихо просипела девушка, будто боялась подать голос.

– Как же «здорова»? Голос как чужой...

Тут страшная догадка мелькнула у пани Марты. Она схватилась за край убруса, которым девушка старательно закрывала лицо, и отдернула его в сторону.

Ядвига – а это была она – в ужасе закрыла лицо руками. Любка ойкнула.

– Мерзавка! – Пани Марта замахнулась на сжавшуюся в испуге девчонку, но в последний момент опустила руку.

– Нет, голубушка! – сказала она, ласково улыбаясь – но от этой улыбки Ядвига мало не умерла от ужаса. – Накажет тебя твой батька по слову пана Калинковича, которому я обскажу, в какие игры ты играешь. Уж он-то из тебя душу вытрясет.

– Не надо, милостивая пани... – прошептала девушка.

– А может быть, ты, «доченька», – пани Марта язвительно подчеркнула последнее слово, – расскажешь мне, сколько грошей тебе посулили панна Ванда да тот молодой пан, который не стыдится клятву преступить? А тебе? – она обернулась на съёжившуюся от страха Любку.

– Помилуй, ясная пани! – затараторила чернавка. – Я знать ничего не знаю! Панна Ванда утром просила только её милость в дороге не тревожить и глупыми разговорами не донимать, будто я посмею с её панской

милостью вот так запросто болтать, как если бы она была мне ровня!..

– Цыц, сорока! Что бы ты ни говорила, я всё одно до правды дознаюсь. И тогда молись, чтобы сейчас ты не лгала! – Про себя пани Марта подумала, что это не так уж важно – помогла ли Любка её беспутной дочке да её дружку, или всё-таки нет. А важно то, что свалилась на неё беда, о которой и помыслить не могла: любимая доченька Вандушка взяла да и уткнулась из-под венца! И с кем? С валацгой переходим, которого она и дня не знала, с голозой, которому одна дорога – проситься в ратные слуги какому-нибудь богатому пану, да и то не всякий возьмёт такого!.. Срам! Совсем как в этих глупых романах, которыми она зачитывалась! А они-то с Михалком-покойником радовались, что дочка растёт умницей! Сама Марта могла объяснить с ляхом, с москвитцем, и с гостем из украинских южных земель, Михал – тот знал немного латынь, говорил по-немецки да по-шведски – а Ванда по-немецки знала получше отца, да ещё добре разумеет французскую и итальянскую мову. Михал посмеивался – не дочка у меня, а премудрая королевна из басни, такую отдам только за того удалца, что жар-птицу изловит и молодильных яблочек добудет... Вот и нашёлся лихой человек, изловил нашу жар-птицу. Что теперь? С паном Чарнецким сговор порушился: он человек незлой, но честь свою блюдёт. А кто польстится на невесту-беглянку, у которой в голове ветер свищет? О том, что дочка может выйти за пана Микалая, пани Марта и думать не хотела.

Пани Марта недолго предавалась мрачным мыслям. Послышался рёв рогов – не азартный и тревожный, как на сече или на охоте, а радостный. Сбыслав Чарнецкий приветствовал невесту и будущую тещу, ещё не ведая, что свадьбе не бывать. Кони замедлили бег, а вскоре возок остановился. Послышался хруст снега под копытами дрыгантов свиты Чарнецкого. В оконце сунулась конская морда, затем обзор загородил конский бок.

Распахнулись дверцы, и на фоне слепящего снега путешественницы увидели самого пана Чарнецкого. Был он невысокого роста и изрядно тучный, однако, судя по дви-

жениям, сильный и проворный. На нём был чёрный жупан с золотым шитьём, шаровары синего сукна да бурые калиги, плечи покрывал чёрный плащ, отороченный мехом. Он стоял на одном колене, так что ножны его сабли утопали в снегу, и держал на отлёте шапку. Лицо его, показывавшее пристрастие к веселящим напиткам и сабельной потехе – через лоб наискось тянулся рубец – сияло от торжества. Снег таял, не долетая до бритой головы.

– Не можно вам дальше ехать! – весело гаркнул он. – Любезная матушка, пани Марта, где моя невеста наречённая? Выведите мне ясную панну Ванду, я её на дрыкганта посажу, плащом укутаю, поедem ко мне, а завтра, как расцветёт, ждут нас в божьей церкви!

Тут замолчал пан Чарнецкий, ровно подавился. Потому что вместо панны Ванды показалась заплаканная Ядзя, крепко ухваченная пани Мартой за ухо.

– Вот, пан! – сказала она. – Обманула нас моя дочка непутёвая – и тебя, и меня! Сбежала по дороге, а вместо себя эту дурёху подсадила!

Пан Чарнецкий поднялся. Если бы это был другой человек, можно было бы сказать, что он растерян. Но Сбыслав Чарнецкий не знал, что это значит – быть растерянным. Он был сильно удивлён и разгневан, хотя внешне оставался невозмутим.

– Садитесь обратно в возок, да поедem ко мне, матушка, – сказал он. – Негоже вам посреди дороги мёрзнуть. Устройтесь у меня в покоях, а там и поговорим.

Устроив своих гостей, включая злополучную самозванку, пан Сбыслав выслушал рассказ о ночёвке в фольварке, о встрече с молодым шляхтичем, который, надо думать, сманил Ванду и подговорил дурёху Ядвигу изобразить панночку.

– Ну, негорюйте, пани Марта, – добродушно сказал он. – Отдыхайте и ни о чём не думайте.

– Микалай Немирович... Знал я лет пятнадцать назад пару Немировичей. Один – так себе, а второй – и рубака, и пьяница, и великий охотник до женского пола, за что и поплатился головой... – рассуждал он, оставшись один, окружённый одними лишь ратными слугами. – А про этого

сорванца прежде не слышал. Значит, надо свести знакомство! – Тут пана Сбыслава посетила некая весёлая мысль. Он усмехнулся, расправил усы и крикнул: – Дмитро! А подойди-ка сюда!

Седой, костистый, без половинки левого уха, зато с длиннейшими усами ваяр приблизился к пану.

– А скажи-ка мне, Дмитро, ты ведь десятый год уже вдовеешь?

– Так, пан, – кивнул Дмитр. – Ганнусю мою скоро десять лет как пан Бог прибрал.

– А дети твои уже возросли, так ли?

– И это так. Сынки мои, Пётр да Гриц, – Дмитр указал на двух рослых усачей, – уже и сами твоей милости служат, да обженились оба и своих деток завели. Старший Стась на бою загинул, когда ходили мы под Полоцк с паном Астрожским. Обе дочки мои из батькиного гнезда упорхнули, свои свили.

– А не думал ли ты, Дмитро, сам новое гнездо свить? – продолжал пытаться пан.

– Как сказать... Вроде бы закон Божий да господаря нашего великого князя статут того не запрещает, только староват я для нового шлюбу.

– Уж не хочешь ли ты сказать, любезный Дмитро, будто клинок твой затупился? – усмехнулся пан Чарнецкий.

– Ну, с молодыми хлопцами мне не равняться... – с притворным вздохом ответил старый служака.

– Ты не ври тут, кобеляка старый! – оборвал его пан. – Мне добрые люди молвили, что ты ко вдове мельника Степанка едешь не только ради пива да блинов, а она тебя чем-то послаще угощает.

– Может, и так, – философски заметил Дмитр.

– Так вот тебе моё панское слово. Поездки эти к мельничихе брось, потому что завтра, край – послезавтра ты честь-честью перевенчаешься с новой женой. Гей, приведите-ка сюда эту самозванку, как её... Ядвигу!

Ядвигу привели. Бедная девушка дрожала и не смела поднять заплаканных глаз на грозного пана. Она поняла, что вмешалась в очень опасную игру, и ждала чего угодно.

– Подбери возгри, панночка-самозваночка, да очи протри. Негоже тебе рыдать – счастье тебе привалило! Хотела ты замуж выйти да на моей свадьбе невестой быть – так вот, сбылось твоё желание. (Бедная Ядзя подумала, что она ничего подобного не желала – но, разумеется, не осмелилась произнести это вслух.) Быть тебе женой этого славного ваяра!

От изумления Ядзя позабыла плакать и вытаращилась на «славного ваяра», который приосанился и ухмыльнулся ей самым молодецким образом.

– Не журись, девка, что у твоего наречённого сивый волос в усах да чупрыну снегом присыпало – старый конь борозды не испортит, – продолжал пан Сбыслав. – Свадьбы наши разом справим – мою с невестой моей, панной Вандой Бельской, да вашу. Потом внукам расскажешь, что Сбыслав Чарнецкий на твоей свадьбе мёд пил. Я сказал! – прикрикнул он, видя, что девушка приоткрыла ротик, между тем как у неё и в мыслях не было возражать. – Как только вернёмся – быть свадьбе. Двум свадьбам! А вы, товарищи – по коням! Переведаюсь с этим щенком из логова Немира!

* * *

А где же была тем часом Ванда? Вскоре после того, как возок Бельских покинул фольварк, со двора выехал простой мужицкий воз, запряжённый соловым тяжеловозом. Воз этот Микалай Немирович сторговал у Головни поутру, пообещав, что отправит мужиков пригнать его обратно. На том возу не было ничего, кроме охапки сена, на которой восседал пан Немирович собственной персоной. Он правил тяжеловозом. Его боевой конь неспешно трусил на привязи сзади, всем своим видом показывая пренебрежение простому трудяге.

Когда фольварк остался позади, солома разлетелась, точно под ней взорвалась мина, и из-под неё явилась хохочущая Ванда.

На панночке был простой мужицкий кожух, голова была покрыта белым платком, поверх которого была надета шапочка, отороченная мехом.

– Микалай, любимый, единственный, как ты здорово всё придумал! – говорила она, обнимая и целуя своего рыцаря. – Далеко ли нам ехать?

– Я здешние места немного знаю: если не начнётся метель, если не повстречаем ни змея, ни великана, ни лихого человека, то ещё до темноты доедем до села, – весело отвечал ей Микалай. – А там, Бог даст, уговорим священника нас обвенчать.

– А если он не согласится? – спросила Ванда.

Микалай запустил руку под футру, долго шарил там, после чего извлёк на свет божий небольшой, но приятно брякнувший мешочек.

– Согласится! – тряхнул головой шляхтич. – Отчего бы не согласиться, если платят честным золотом?

Ванда расхохоталась и откинулась в сено. До чего же прекрасна жизнь! Солнце, бледно-синее морозное небо, искристый снег, что визжит под полозьями воза, и запах сена, и мелькающие мимо кусты, деревья, и могучий круп тяжеловоза – всё радовало её, как никогда.

Ни змей, ни разбойник, ни метель не заступили им дорогу. Солнце клонилось к закату, когда они подъезжали к селу, хатки которого расползлись по трём холмам.

...Отец Александр хмуро смотрел на золотые, и было видно, что ему всё равно – гроши там или черепки от битых горшков.

– Всякое я видал, – сказал он. – Видал и то, чему не полагается быть на свете, однако ж, оно есть. Но не видывал я прежде, чтобы пан, у которого водятся золотые, приезжал жениться на мужицком возу, да сам-друг с прекрасной невестой. Думается мне, что ты, пан, не тратил время на сватовство да с батьками этой панны не сговаривался.

– Скажи, панотче, где в святых книгах сказано, что не можно жениться, если невеста и жених оба-два согласны на шлюб? – нахмурился Микалай.

– Того я не знаю. Однако в Писании сказано – «чти отца своего и мать свою», это, разумею, пану ведомо?

Ванда закусила губу и подумала, что, если она сейчас позволит упасть хоть одной слезе, то такого бесчестия не простит себе никогда.

– Однако, возлюбленные чада мои, негоже нам время терять. Не о полночи ж вам венчаться! – Ванда распахнула глаза в радостном изумлении. Микалай позабыл дышать. – Гроши свои спрячь, пан... не все, оставь мне с полдюжины. А остальное тебе больше пригодится.

Ванда извлекла из ушей серьги и с отчаянной улыбкой протянула священнику.

– Бери, отче Александре! Поповне своей подаришь.

Отец Александр нахмурился.

– Не надо, ясная панна, – сказал он. – Мне они не потребны, а поповне моей – тем паче. Матушку рано Бог прибрал, дочка наша только ходить начинала. А иных деток мы не нажили. Не было для меня большего счастья, чем глядеть в валошковые глазки Иванки моей, слышать, як она смеётся, як зовёт меня тятей да спрашивает обо всём на свете. Для неё жил, и мыслил, что счастье ей устрою. Да, видно, за гордыню покарал меня Господь. Сговорил я её за славного парубка, а она, зорька моя ясная, иного на сердце держала. А в тот час меня гордыня окаянная обуяла – пойдёшь, сказал, за кого велю, и Святое Писание и закон людской велит детям батьков своих слушать! Вот и добился, что дочка родная чёрту водяному досталась! Под самый Великдень утопилась.

Ванда прерывисто вздохнула и украдкой промакнула глаза шёлковой хусткой.

– Нет в том её вины, – продолжал отец Александр. – Я в упрямстве своём довёл Иванку до самогубства, мне перед Господом и ответ держать. И ваш грех, деточки, если вы согрешили непослушанием против воли батьков, я на себя возьму.

* * *

Вчерашний день, когда они ехали от Калинковичского фольварка, виделся Ванде самым счастливым днём за все семнадцать годов её жизни. Нынче утром, пробудившись со сладким стоном, она поняла, что такое настоящее счастье.

Минувшие часы она помнила плохо. В памяти осталась непривычная тяжесть венца на голове, липкий жар

оплывающей в руке тонкой свечки, слова венчальной службы, смысл которых она плохо разумела, бешено колотящееся сердце и неожиданно близко оказавшееся лицо Микалая. От прикосновения его губ она содрогнулась, словно он вдохнул в неё новую жизнь. Но ведь так оно и было – не стало панны Ванды Бельской, появилась пани Ванда Немирович, законная жена Микалая Немировича!..

Обвенчав беглецов, отец Александр невыразительным голосом, будто речь шла о чём-то обыденном и само собой разумеющемся, предложил им переночевать в его хате.

– Живу я с давних пор один-одинёшенек, детушки, – словно оправдываясь, говорил он. – Работница из тутошних селянок ко мне приходит, чтобы убрать, да сготовить, да постирать, а ночует у себя. Оно и к лучшему. Если баба живёт у вдового попа – тут один соблазн для мирян. Да хоть и привык я к такому иноческому житию, а иной раз так одолевает тоска, что впору в петлю лезть, прости Господи. Оттого я всяких проезжих привечаю да у себя позволяю ночевать. Гроши я за то не беру – грех: я ведь священнослужитель, а не корчмарь! Ночуйте, детушки, а завтра в путь тронетесь.

...По правде сказать, Ванда побаивалась того, что ждало её. Боль её не страшила – пугало её то, что она будет полностью открыта другому человеку, как не открывалась прежде никому. Но ласки Микалая – её Микалая! – смыли все страхи и сомнения, как весеннее половодье смывает всякий сор. Она поняла, что это значит – принадлежать другому человеку и завладевать им, она пила любовь и не могла напиться.

«А со Сбыславом Чарнецким было бы так же?» – вопрохнулась на краешке сознания предательская мысль. Появилась и тут же спряталась, точно мышь, на которую топнули ногой. Сбыслав Чарнецкий... да кто он такой? Ну, Сбыслав Чарнецкий. И всё. А Микалай... он один!

– С добрым утром, пани Немирович! – услышала она голос, слаще которого не было на свете.

Она обернулась. Микалай смотрел на неё и улыбался. В это время Ванда заметила то, на что не обратила внима-

ния вчера («ещё бы ты на это обращала внимание!», – сказала она себе и чуть покраснела). Левая ключица Микалая была перебита, и вниз по груди спускалась ниточка шрама.

– А это что? – спросила она, трогая место давнего ранения – так осторожно, будто там и посейчас была рубленая рана, из которой торчал обломок кости.

– А это, прелесть моя, ещё в Вильне я с одним жамой-том повздорил, – почему-то неохотно ответил Микалай.

– А из-за чего?

– Не помню уже!

На самом деле, Микалай отлично помнил, из-за чего, точнее, из-за кого они повздорили с белобрысым Зигмунтасом, с которым прежде были не разлей вода... но пани Немирович об этом знать не следует.

– Думаю, не надо нам здесь задерживаться. И стеснять добрейшего отца Александра мне бы не хотелось, да и...

Микалай снова себя оборвал. Он подумал, что его менее удачливый соперник вряд ли смирился с тем, что у него увели невесту из-под носа. И чем быстрее и дальше они окажутся от здешних мест – тем лучше. Однако не следует давать любимой даже малейший повод заподозрить его в нехватке доблести.

Микалай не ошибался. Едва они успели одеться, как в дверь постучали, и в покоец вошел нахмуренный священник.

– Беда! – сказал отец Александр. – Конных наехало с дюжину, да тринадцатый – сам пан Сбыслав Чарнецкий. Вашу милость шукуют.

Ванда тихонько ахнула и прикусила губку.

– Вот и добре, – усмехнулся Микалай. – А то, разве это веселье без гостей благородных? Чай, у тебя, отче Александре, есть, что на стол выставить? Пойдём, встретим славного пана Чарнецкого. Может, добром разойдёмся, а может, моя секира подсечёт крылья его орлу, – недобро пошутил он, намекая на свой герб да на герб своего соперника – Орлец.

Пан Немирович с молодой женой и отец Александр спустились с крыльца. Микалай величаво улыбался – точно и в самом деле встречал званных гостей, прибыв-

ших на пир, где стучат кружки, а не сабли, где льются пиво да мёд, а не кровь, где звучат учтивые хвалы хозяевам, а не стоны и проклятья. Отчаянно и дерзко смотрела пани Ванда Немирович, побледневшая лишь самую малость. Хмуро и решительно смотрел перед собой отец Александр.

Во дворе было тесно от конных, окруживших крыльцо полукольцом. Люди пана Чарнецкого восседали на громадных чубарых дрыгантах, сами – все, как на подбор, крепко сбитые, в добротных футрах, крытых чёрным сукном, в щегольски заломленных шапках, отороченных бобровым да волчьим мехом, при саблях и пистолях. Все они смотрели на пана Немировича нагло и с вызовом, однако молчали.

Вперёд выехал пан Сбыслав Чарнецкий. Несколько мгновений соперники рассматривали друг друга, словно пытаясь угадать слабинку.

– Доброго утра пану Микалаю! – пан Чарнецкий, не покидая седла, истово поклонился и только что шапку не снял.

– И тебе поздорову, пан Сбыслав! – как ни в чём не бывало, ответил Немирович. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда встретятся!

– Верно молвишь. – Чарнецкий приосанился и подкрутил усы. – А я, пан, заехал разузнать, добро ли ты изволил почивать, чужую невесту, честную шляхтенку, кгвалтом похитивши! Да утек, только свет не без добрых людей, подсказали, где тебя шукать да панну Ванду.

– Это ложь! – крикнула Ванда. Немирович приподнял левую ладонь. Ванда, рванувшаяся было к Чарнецкому, остановилась.

– Прошу прощения пана, не совсем разумею, что пан изволит молвить, – церемонно, так что издёвка почти и не была слышна, ответил Микалай. – Пани Ванда – пред Богом и людьми моя законная жена. О том отца Александра спрошай, если шляхетскому слову моему не веришь.

Воцарилось молчание – только снег похрустывал под копытами коней, переступавших с ноги на ногу, да ещё

слышалось фыркание и звяканье сбруи. Пахолки Чарнецкого, ошеломлённые неожиданным поворотом не меньше своего пана, только что рты не пораскрывали в изумлении. Сам же Чарнецкий, услышав эту весть, как-то резко осел и погрузнел, отчего, и так не бывший юношески-стройным, да ещё и в зимнем убранстве, он и вовсе стал похож на жёлудь.

– Ласково просим пана до нашего стола! – сказала с улыбкой Ванда. – Правда, палац наш ныне небогат и стол скуден, уж не прогневайся, пан Сбыслав, но чести шляхетской в том урону нет...

Чарнецкий издал горлом непередаваемый звук и проворно спрыгнул с седла.

– Со мной... шутить вздумали?! – рявкнул он. – Лжешь ты, пан Микалай! – с усмешкой сказал он. – Не быть ей твоей женой, а быть ей твоей вдовой! Это я сказал, Сбыслав Чарнецкий! – Он лихо соскочил на снег. – Подержи! – Это относилось к ближайшему пахолку, который тотчас спешился и схватил уздечку панова дрыганта.

Чарнецкий выступил на несколько шагов вперёд. Молниеносным движением он выхватил саблю. Венгерка холодно блеснула под солнцем. В следующее мгновение саблю выхватил и Микалай. Пахолки Чарнецкого, все, кроме одного, остававшиеся в седлах, заставили коней податься назад, освобождая поле для двубоя.

Отец Александр, дотоле молчавший, бросился к поединщикам.

– Что творите, окаянные? – закричал он. – Не дам на своём дворе забойство чинить!

– Уйди, отче! – внушительно сказал один из спутников пана Чарнецкого, немолодой вояка с сабельным рубцом через всё лицо и вытекшим левым глазом. – Уйди по-доброму, а то под руки утащим.

Отец Александр развернулся к нему.

– Что? Еретик поганый, на христианского пастыря руку поднимешь? – Глаза священника сверкали нешуточным гневом, и видно было, что прежде гнева Господня пахолкам Чарнецкого, если они захотят оттащить строптивного попа, придётся испытать гнев и силу отца Александра.

– Отче! – прозвенел от крыльца голосок пани Ванды. – Прошу тебя, отойди!

– Дитя моё... – заговорил священник... но неожиданно послушался Ванды и отошёл к крыльцу.

Рыцари сбросили на снег футры и стали неторопливо сходиться. Чарнецкий держал саблю в поднятой кверху руке, вдоль земли, обратя остриё к небу. Немирович, напротив, опустил клинок к земле, как будто не осознавал опасности. Эта беспечность была кажущейся. Едва Сбыслав Чарнецкий, выждав подходящее время, ударил наискось – так, что у неумелого противника отлетела бы прочь голова – Микалай отвёл саблю врага и, описав клинком красивую дугу, ударил в свой черёд. Но пан Чарнецкий был опытный рубака и успел поставить свою саблю накрест.

Сталь натолкнулась на сталь.

Есть на что посмотреть, когда сходятся два великих ваяра – в учебном ли бою или в смертельной схватке. Немало удивления сулит это зрелище неискушённому в военной науке зрителю. Грузный с виду рубака может явить опасную ловкость, пожилой воин – нестариковские проворство и выносливость; слабый с виду боец, вложив в удар разворот всего тела, может одним ударом прорубить панцыр врага, а если панцыра нет, так и развалить противника напополам. Ванда во все глаза смотрела на двубой, вцепившись побелевшими пальцами в резной столбик крыльца. Щёки юной женщины зарумянились. Страшная красота благородного боя очаровывала её всегда – и в те дни, когда отец наставлял её братьев и пахолков в сабельном искусстве, и даже сейчас, хотя она понимала, какая опасность грозит её Микалаю. Он был моложе и увёртливее своего противника – но Сбыслав Чарнецкий был славный рыцарь, и впервые взял вражескую жизнь, наверное, ещё до того, как Микалаю подарили игрушечную сабельку.

Рыцари неистово крестили воздух клинками, и каждый удар, если бы он достиг цели, мог бы оказаться смертельным. Они кружили по заснеженному двору, то один, то другой наступал на противника – но верх не удавалось взять ни одному. Вот удача улыбнулась Микалаю – он под-

нырнул под удар пана Чарнецкого и, выпрямляясь, секанул противника по лицу. От радости Ванда подпрыгнула на месте и взвизгнула, тотчас зажав себе рот ладошкой, устыдившись неподобающего благородной даме выражения чувств. Но, должно быть, удар оказался недостаточно силён, а Сбыслав Чарнецкий успел в последнее мгновение уклониться, поэтому рана, страшная с виду, оказалась неопасной. Сабля пана Немировича рассекла врагу щёку и скользнула по кости: если выживет пан Чарнецкий и в этой схватке – будет у него ещё один знатный рубец, показывающий лихость. Тотчас же последовал ответ – пан Чарнецкий рубанул врага с разворота. Микалай успел подставить саблю, но так силён был удар, что он не удержался на ногах.

Пан Чарнецкий дождался, пока противник поднимется. И стоит заметить, что ждать ему пришлось не слишком долго – едва успел подкрутить усы. А если бы и зарубил сбитого с ног – никто бы не упрекнул его. Однако он дождался, пока Микалай утвердится на ногах – и тогда ударил снизу вверх. Будь противник менее ловок – его требуха уже дымилась бы на снегу. Однако Микалай дважды увернулся, не пытаясь отбить удары, и в третий раз ударил сам, не дав противнику начать замах, и легко отпрыгнул на безопасное расстояние. Удар вышел не в полную силу – но скоро рукав жёлтого жупана старого рыцаря потемнел от крови, и видно было, что правая рука слушается пана Чарнецкого не так, как прежде. Однако его молодой противник уже подисчерпал свою прыть, и Сбыслав Чарнецкий справлялся даже раненой рукой. Только бледнел при особо сильных ударах.

Но всякой крепости положён предел – дрогнула вооружённая рука пана Сбыслава и едва не выпустила саблю. Однако не прост был Сбыслав Чарнецкий, вышел живым из многих десятков схваток, не боялся боли и не поддавался слабости: перехватил саблю левой рукой, стремительно нагнулся, пропуская над собой жутко свистящий клинок врага, и уколол с неожиданной стороны.

Если бы удар пришёлся чуть ниже – исход схватки был бы решён. Но сабля проскрежетала по рёбрам.

– Надеюсь, пан Микалай не посчитает за бесчестье, если я зарублю его не правой рукой, а левой? – усмехнулся пан Чарнецкий.

– Ничуть! – прошипел Микалай, прижимая локоть к раненому боку. – Потому что ты, пан Сбыслав, всё равно изойдёшь кровью прежде, чем я вспотею.

С его стороны это было не совсем правдиво – оба противника тяжело дышали и, несмотря на морозный день, по спине каждого уже сбегали ручейки пота. Но и пан Чарнецкий уже не мог рубиться в полную силу. Он хотел закончить бой одним мощным и стремительным ударом, но раз за разом Микалай отбрасывал его саблю, а вскоре молодой соперник решительно перешёл в наступление. Бывалый витязь отбивал удары, стараясь сберечь силы и притом казаться более измождённым, чем он был на самом деле. Он ждал, когда самонадеянный и нетерпеливый молодой враг совершит оплошность, чтобы одним ударом получить возможность жениться на молодой вдове.

Развязка наступила неожиданно. Справа от пана Чарнецкого прогремел выстрел. В тот же миг с головы его противника слетела шапка, а сам пан Немирович молча упал лицом вниз. Снег возле его головы стремительно пропитывался кровью.

Пани Ванда вскрикнула.

Пан Чарнецкий развернулся в сторону, откуда прозвучал выстрел. Молодой рыжий пахолок, которому он доверил уздечку своего дрыкганта, держал в руке пистоль с ещё дымящимся дулом.

– Что ты наробил, скаженник! – зубром взревел пан Чарнецкий, надвигаясь на пахолка. Тот попятился и едва не выронил пистоль – никогда прежде ему не доводилось видеть пана столь разъярённым.

– Тебя ж боронил, пан... – пробормотал хлопец – он понял, что сотворил нечто непоправимо неправильное.

– Кабы ты на битве меня оборонил, я бы тебя за то похвалил! А что такое двубой рыцарский, тебе неведомо? У, дурной же ты, як варона! Да як ты посмел? Осрамил навеки, падлюка! Лучше б ты мне в спину выпалил!..

Неизвестно, что бы сделал оскорблённый пан Чарнецкий, и, может статься, не по уму усердный пахолук пал бы жертвой его ярости, но тут случилось то, чего никто не ожидал. Побелевшая пуще свежего снега Ванда, что смотрела остановившимися глазами на бездыханное тело Микалая, соколицей метнулась через двор и взлетела в седло дрыкганта пана Сбыслава.

Дико завизжал дурноезжий конь и встал на дыбы. Бестолковый пахолук, получив копытом по затылку, молча сунулся лицом в снег. Пан Чарнецкий отскочил от расви-репевшего зверя.

– Прыгай, пани Ванда! Не мешкай! Убьёт! – крикнул он.

Ванда, вцепившись в гриву дрыкганта и сидя в седле совершенно неприличным образом, ловила стремяна. Удавалось ей это плохо – конь негодуяюще визжал и то вставал на дыбы, то накидывал задом. Пан Чарнецкий кинулся схватить коня под уздцы, но разъярённый скакун сшиб хозяина с ног.

Ванда, кое-как уловившая ногами стремяна, ударила коня шенкелями. Конь заржал и бросился через двор, перемахнул ограду и вихрем полетел по полю к темневшему неподалёку лесу.

– Ну что? – проревел пан Чарнецкий, оглядывая свою свиту. – Болваны! За ней! Стецко, жив ли? – Он перевернул на спину тело бестолкового пахолка. Тот был без сознания, однако на движение отозвался глухим стоном. – Жив, хвала Иисусу. Очухается, дурням счастье! – Дрожащими руками он вогнал в ножны саблю и вскочил на Стецкова коня. – За ней!

* * *

Сколько раз Ванде доводилось на вопрос «О чём думаешь?» отвечать «Ни о чём, батюшка» или «Ни о чём, матушка» – когда мысли, занимавшие её в это время, были не таковы, чтоб их можно поверить кому-то другому. Но сейчас она действительно ни о чём не думала. Она не думала даже о Микалае, застреленном у неё на глазах. Не думала о том, что ей делать теперь. Пропал самый страх, хотя она

в любую минуту могла упасть и расшибиться насмерть. Она помнила только, что ей нужно во что бы то ни стало держаться. И она держалась за гриву.

Взбешённый дрыкгант стрелой летел через поле. Для него, привыкшего нести в бой семипудового пана Сбыслава – не считая панцыра да сброи – сто двадцать фунтов всадницы были незаметны. Погоня безнадежно отставала и скоро превратилась в горсть тёмных горошин, катящихся в десятке стрелищ позади. Но Ванда не смела обернуться и не видела этого.

Лес возник впереди серо-зеленой стеной. Миг – и вот по сторонам мелькают деревья. Через некоторое время Ванда заметила, что скок дрыкганта стал медленнее – усталость взяла своё, да и не мог чубарый нестись по лесу так же скоро, как по чистому полю. Сжавшаяся комочком всадница набралась храбрости и приподняла голову.

В тот же миг перед лицом её появилась ветка. От удара, немного смягчённого меховой оторочкой шапочки, всадница вылетела из седла.

* * *

Когда Ванда пришла в себя, она не сразу поняла, почему она лежит навзничь в снегу и как она оказалась посреди леса совершенно одна. Она приподнялась, изумлённо оглядываясь. Внезапно лицо юной женщины исказила гримаса беспредельного отчаяния, а из глаз брызнули слёзы. Она вспомнила нелепую смерть Микалая и свой невероятный побег на дрыкганте пана Чарнецкого. Она оглянулась в поисках коня, но, разумеется, его уже и след простыл. Да и вряд ли ей удалось бы укротить боевого коня: удивительно, как она сумела оседлать его там, во дворе...

Мороз усиливался. Ванда чувствовала его, несмотря на грубый, но тёплый кожух, который она надела во время бегства с фольварка, и черевика с мехом внутри. Прежде она напугалась бы: одна в зимнем лесу, без коня, без огня, без оружия – так и сгинуть не просто, а очень просто. Но теперь ей было всё равно. Совершенно всё равно. Волки съедят – и ладно. Замёрзну – и пускай...

Однако страх здорового молодого тела возобладал над отчаянием – или просто сидеть на месте было совершенно невыносимо. Юная женщина поднялась на ноги и побрела вперёд, вытаскивая ноги из глубокого снега, чтобы на следующем шаге снова провалиться по колено.

Так она шла некоторое время, пока не заметила, что идти стало легче, и что ноги проваливаются не так глубоко. Ванда поняла, что выбрела на лесную стёжку. Прерывисто вздохнув, она двинулась по ней дальше.

Терзавшее её душу горе не отступило, но страшное оцепенение, из-за которого она не замечала ничего вокруг, медленно таяло, как туман. Ванда почти с любопытством смотрела на опушённые инеем деревья, на ветках которых, улавливая солнечные лучи, вспыхивали и тотчас угасали ледяные искорки, на бледно-голубое ясное небо над головой. В лесу стояла невероятная тишина, нарушаемая, казалось, только хрустом снега под ногами одинокой путницы. Да ещё слышался еле уловимый нежный перезвон – точно от неосязаемого движения воздуха звенели тончайшие ледяные иголочки. Временами звон становился более отчётливым, наплывал со всех сторон, а деревья как будто принимались кружиться в бесшумном танце. Ванде грезилось, что она вступает в сказочный мир, заманчивый и жуткий. Наваждение подкатывало и отбегало, точно озёрная волна, но не исчезало вовсе. Дивный звон окутывал Ванду, и нежные чарующие звуки заставили её забыть горе и усталость. Она шла, как во сне – и этот сон был подобен смерти.

Она сама не заметила, как вышла на небольшую круглую полянку, которой почему-то не достигали солнечные лучи. Здесь, точно кузнечики на летнем лугу, звенели тысячи незримых ледяных колокольчиков, и сквозь перезвон доносилась прелестная и страшная песня, навевающая забытьё.

Ванда почувствовала на себе странный нелюдской взгляд. А потом она перестала что-либо видеть и чувствовать и медленно повалилась в снег. Зыбкие видения закрыжились перед её мысленным взором.

* * *

– Пане Сбыславе! – Дмитр был бледен – настолько, насколько может побледнеть старый рубака, никогда не отворачивавшийся от ковша с мёдом или пивом да ещё и раскрасневшийся от скачки на морозе. – Повернуть бы! Чтoб мне в пост блином подавиться, дело нечисто! Не видишь, кони нейдут!

Дрыкганты отряда, преследовавшего пани Ванду, и вправду вели себя странно: брыкались, вставали на дыбы, ржали, роняли пену и отказывались идти дальше. Пахолки ругались на чём свет стоит и осаживали взбесившихся коней – но видно было, что им тоже передаётся страх.

Пан Чарнецкий, поняв тщетность попыток успокоить своего коня, прыгнул с седла на снег.

– Долой с коней! – рявкнул он. – Не дурнее вас, вижу, что тут смердит колдовством! Так что с того? Если кони бесятся – пеши пойдём! Пойдём, я сказал! – добавил он медвежьего рыку в голос, видя сомнение на лицах свиты. – Вы кто? Ваяры или, может, бабы? Так и знайте: хто попятится – того, когда вернёмся, лично посажу за веретено! Михал, ты с конями останешься, а остальные – за мной!

Десять бойцов волчьей цепочкой шли за паном Сбыславом по следу. Хотя нападения ждать было неоткуда, ваяры тревожно смотрели по сторонам, а замыкающий ещё и оглядывался назад. Всем было жутко – непонятно отчего. Один только пан Сбыслав, кипя от негодования, не думал ни о каких страхах и шёл вперёд.

– Пане Сбыславе! – окликнул его Дмитр.

– Ну что опять?

– Сам погляди! Хлопцы ровно три ночи не спали.

Пан Сбыслав почесал в затылке, крикнул и сплюнул на сторону. Творилось что-то непонятное. Пахолки, ещё недавно бодрые и готовые следовать за ним хоть в пекло, просто валились с ног. Семнадцатилетний Юрко – тот и вовсе валяется в снегу, точно перебрал хмельного и не устоял на ногах, да где свалился, там и захрапел.

– А ну встать, пёсье семя! – гаркнул пан Чарнецкий. – Вы что?..

Плечистый и длиннорукий Рыгор, точно пьяный, подошёл к Юрку, поддёрнул его за шиворот, точно кутёнка, и поставил на ноги. Оба вперили в своего пана бессмысленные глаза.

Пан Сбыслав плюнул и пошёл дальше по следу, не тратя времени на призывы. Он знал, что его люди за ним пойдут. Не смогут идти – поползут. А не смогут ползти... что ж, он всё равно пойдёт. И кто бы там ни ворожил, бесову отродью не поздоровится.

Творилось и в самом деле что-то непонятное. Сбыслав Чарнецкий чувствовал себя так, точно не спал двое суток, да ещё и выпил две кварты стоялого мёду. Голову сжимал мягкий обруч, перед глазами всё кружилось, и временами – вот ведь дьяволово наваждение! – слышалось как будто мурлыканье исполинского кота. Откуда в пуще взяться коту? От этого «мррр, мррр, мррр» по телу раскатывалась истома, хотелось лечь в снег, что мягче пуха лебяжьего, свернуться калачиком и унести на тёплых серых волнах сонной реки. Откуда-то, из глубин младенческой памяти, зазвучала колыбельная, которую давным-давно напевала ему матушка:

Бай, бай да побай,
Малый Сбышек, засыпай,
Котя, котенька, коток,
Котя, серенький лобок,
Приди, котя, ночевать,
Мала Сбышека качать...

Голос был похож на матушкин – и в то же время не похож. Какая-то хищная нелюдь подделывалась под родной напев, да не могла скрыть природной злобы порождений ночи. Пан Сбыслав тряхнул головой, выбранился матерно по-русски да по-польски. Оглянувшись, он увидел своих пахолков, лежавших вдоль тропы, точно беглецы, побитые на погоне. Дмитр да Юрко – бывалый ваяр, потерявший счёт сечам, да зелёный юнец, побывавший в двух-трёх пустяковых сшибках да убивший агульным счётом всего пять врагов – оказались самыми стойкими.

Однако и они еле стояли на ногах, цепляясь за деревья и понутив головы. Только и разницы, что Дмитрий к ели приклеился, а Юрко берёзу обнимает.

Пан Сбыслав плюнул, вытянул из ножен саблю, взял в левую руку пистоль и двинулся дальше по следам Ванды.

Идти ему пришлось недолго. Вскоре он очутился на небольшой округлой поляне. Именно очутился: шёл-шёл по лесной стёжке, перебивая зевоту чёрной бранью, и неожиданно-негаданно обнаружил вокруг себя открытое пространство, точно деревья расступились в стороны. Пан Чарнецкий в изумлении огляделся и увидел Ванду. Она лежала на спине, разбросав руки, и как будто спала.

– Пани Ванда! – не своим голосом вскрикнул пан Чарнецкий и бросился к ней, на ходу убирая саблю в ножны.

Чутьё бывалого бойца заставило его оглянуться. И он увидел тёмное тело, молчком падающее на него сверху. Пан Сбыслав вскинул пистолет, выстрелил и, судя по гневному рёву, попал. Только невиданный дотоле хищник оказался крепок. Он вцепился в рыцаря четырьмя когтистыми лапами и примеривался пастью к шее, но пан Сбыслав, извернувшись, сунул в пасть пистоль. Зубы лесной твари заскрежетали по железу, сминая его. Противники покатались по снегу, рыча совершенно одинаково – что человек, что невиданный зверь.

За свою некороткую жизнь пан Сбыслав прошёл множество сражений, а полеванье на зверя считал доброй рыцарской забавой. Доводилось ему брать на рогатину и медведя, и вепря, и биться с волком, имея нож против клыков, и рысь однажды прыгнула на него сверху. Но нынешний противник напоминал рысь лишь внешне – да и то насколько удалось рассмотреть. Он боролся с силой и проворством лесной твари – и с человеческим разумением. «Дотянуться б к ножу – и я спасён...» – думал пан Сбыслав, выламывая лапы и награждая коварную тварь ударами по чему попало. Лесной боец урчал, а его стальные когти легко пронзали футру, колет, жупан и кашулю и рвали тело человека.

Пан Чарнецкий выбрал момент и с оттягом ударил зверя по голове. Противник обмяк. Рыцарь поспешно вскочил,

выхватил саблю и рубанул поперёк мохнатой туши. Но за мгновение до того, как сталь врезалась в него, лесной житель откатился в сторону, и клинок пропахал снег. Лесной житель вскочил на четвереньки и притиснул передней лапой саблю пана Чарнецкого к мёрзлой земле под снегом.

Тут-то пан Чарнецкий рассмотрел своего противника. Он был похож на небывало крупную рысь – или на чудовищно громадного кота. Но страшнее всего было совершенно человеческое выражение морды лесной твари и разумный, злобно-насмешливый взгляд.

Пан Чарнецкий дёрнул прижатую котом саблю. Хищник заурчал, замуркал, и рыцарь услышал произнесённую нараспев складную похабщину:

– А у нашего дьячка доит жонушка бычка, а у нашего попа дочка младшая глупа: под Великий пост привязала к дупе хвост, разделась догола да села на вола, поехала в пушу, где лещина гуще, схапал её вурдалак да поставил враскоряк...

От дикости всего происходящего пан Чарнецкий не утерпел и расхохотался. Последнее, что он увидел, была когтистая лапа, летящая в лицо.

* * *

Сперва была багрово-чёрная тьма, заставшая весь мир. Величественный гул, рождавшийся нигде, наплывал волнами и неспешно таял, рассыпаясь шорохом. Потом стали слышны другие звуки – какие-то постукивания, неясные голоса, которые напрочь отказывались складываться в слова. Затем багрово-чёрные облака медленно разошлись в стороны, и Микалай увидел над собой доски. «Гроб!» – жуткая мысль мелькнула и угасла: он понял, что лежит под дощаным потолком. Он украдкой пошевелил руками и ногами. Тело слушалось, хотя и не совсем уверенно. Значит, он не связан и не отшиб хребет; он уже понял, что с ним случилось что-то неладное, вот только он напрочь не помнил – что именно.

– Пане Микалаю! – Больной развернулся на шёпот. – Ну наконец-то!

– Ты, отче? Это что ж со мной было?.. – процедил сквозь зубы Микалай. Память возвращалась к нему. Он уже вспомнил двубой с паном Сбыславом, но никак не мог вспомнить, чем дело закончилось, и почему он лежит на лавке в поповой хате...

– Пулей в тебя стреляли, пане Микалаю. Да милостив Господь, пуля тебя по голове щёлкнула и прочь улетела. Однако оглушила знатно. Я уж думал, придётся согрешить да знахарку позвать. Есть тут у нас такая: лечит добре, но еретица сущая, в церкву Божию ни ногой. У мужиков ведьмой слывёт. А может, ещё и придётся пойти поганке этой поклониться. Рана у тебя уж больно нехороша, а я лучше умею врачевать раны духовные, чем телесные.

– К дьяволу знахарку, отче... Где Ванда?

– Пани Ванда, как тебя подстрелили, на пан Сбыславлева дрыкганта прыгнула да и была такова. В пушу её унёс коняка бешеный. А пан Сбыслав со всеми пахолками своими – за ней. Один только здесь остался – его конь копытом пришиб. Он раньше тебя очухался, сейчас на двор вышел, продышаться. – Отец Александр решил не говорить, что второй пострадавший – тот самый пахол, что подстрелил Микалая: как бы горячий шляхтич не срубил бестолкового.

– Так что ж я здесь-то прохлаждаюсь?!. – Микалай подхватился с постели и с коротким стоном схватился за голову.

– Да ты что, скаженник! – рассердился отец Александр. – Тебе сутки надо лёжнем лежать да лечиться, если не хочешь пани Ванду молодой вдовой оставить!

...Через некоторое время бледный до зелени пан Микалай, полностью одетый, при сабле и пистолях, вышел во двор. На крыльце он столкнулся с тем самым лихим стрелком, что вмешался в его спор с паном Чарнецким. Пахол, шархнул в испуге, а шляхтич, который всё понял, презрительно дёрнул щекой и прошёл мимо.

Еще через некоторое время он ехал по сельской улице, провожаемый опасливыми взглядами мужиков и баб, которые уже прослышали о том, что случилось в поповском дворе. Происшествие обрастало слухами, один другого

страшнее и чудеснее. Ребятишки, держась на почтительном расстоянии, бежали следом за рыцарем.

...Что отец Александр был прав, стало ясно ещё до того, как пан Микалай доехал до леса. Его мутило, голову пронзала тошнотворная боль. Вновь наплывал волнами могучий гул, заглушая звуки явного мира. Микалай искусал до крови губы, пытаясь во что бы то ни стало не провалиться в забытие, которое для него сейчас означало смерть. Но не столько пугала его смерть, сколько опасность не исполнить задуманное – не отыскать Ванду. Он безразлично смотрел на коней отряда пана Чарнецкого, потерявших всадников и жмущихся возле опушки, точно стадо глупых коров. Он отметил про себя, что в пуще, должно быть, случилось что-то страшное. Но он уже пересек ту черту, за которой человек боится чего-либо.

Лес принял рыцаря в пушистые ледяные объятия, отсекая от людского мира. Микалай ехал по следам, оставленным предшественниками, пока его конь не встал как вкопанный, а потом и не попятился, храпя и вскидывая задом. Микалай, поморщившись от нахлынувшей головной боли, слез с седла и усмехнулся своей неловкости. «Слава богу, что ни одна живая душа не видит меня сейчас, – подумал он. – Дед столетний, изрубленный в сотнях сражений, и тот бы двигался резвее...»

Он пошагал по стёжке, которой прошли люди Чарнецкого, а прежде них – безутешная Ванда, бежавшая куда глаза глядят. Чудный звон, доносившийся отовсюду и ниоткуда, звучал то громче, то тише, и Микалай сам не заметил, что улыбается этой странной музыке. «Слушай нас, человече, – молвили колокольцы. – Открой свою душу песне, что слагают наши неживые голоса. Забудь горе, забудь печали, забудь радость и все заботы. Останься здесь, среди пушистого инея, среди стылого покоя...»

Микалай увидел стоящего впереди человека и на всякий случай положил руку на саблю. Он узнал одного из пахолков пана Чарнецкого. Видать, и сам пан Чарнецкий неподалеку. Добре. Значит, удастся довести дело до конца.

– Эй, любезный! Где пан твой? Увидал меня да в кусты отлучился? – задиристо окликнул Микалай ваяра. Тот повернулся к нему, и рыцарь едва не подался назад при виде неживого стылого лица.

– Иди, пане, как идёшь, мимо судьбы не пройдёшь, – без выражения ответил пахолук.

– Шутки шутить вздумал? – нахмурился Микалай.

– Отшутили мы своё, пане Микалаю. Мы тут все мёртвые. Посмотри, вот трупы наши вдоль стёжки лежат.

Микалай сморгнул и увидел, что перед ним и впрямь лежит в снегу труп с белым бесстрастным лицом. Черты лица были точь-в-точь как у того пахолка, с которым он только что разговаривал. Даже неживая, навеки застывшая усмешка под рыжими усами. Через десять саженей он увидел ещё одно тело в снегу, ещё дальше – два разом. Микалай вздохнул, снял шапку, перекрестился и пошёл дальше. «Мало мне Чарнецкого – и нечистая сила против меня, – думал он. – Господи, Пресвятая Богородица, Миколай Чудотворец, ангел мой добрый, укрепите дух мой и руку мою. Пращур Немир, соратник славного князя Всеслава Волка, да все предки мои, не дайте мне осрамиться, помогите быть достойным шляхтича с крови и кости... Чтоб секла моя сабля всякого человека, зверя лютого и нежить поганую...» Звон наплывал со всех сторон и пел страшную чарующую песню, от которой путались слова молитвы, а в голову лезла срамная нелепица. Станные образы, притягивающие и пугающие, мелькали между опушённых инеем веток. Мерещилось, будто деревья кружатся, покачиваются и с лёгкими поклонами отстраняются с дороги.

– А ну, покажись, нежить лесная! – Микалай остановился и вынул саблю. – Переведаемся по-рыцарски, если не боишься!

Колокольчики отозвались тихим насмешливым звоном.

Впереди показался просвет. Микалай, сам не зная почему, прибавил шагу – и выбежал на поляну.

Первое, что он увидел, было кровавое пятно шириной в конскую шкуру. Рыцарь подошёл ближе и вытащил из толщи снега утонувшие в ней саблю да пистоль пана Сбыс-

лава Чарнецкого. Поодаль лежала бобровая шапка, выпачканная в крови. Больше ничего.

Вздохнул пан Микалай, снял шапку и поклонился месту, где его соперник принял последний бой и лютую смерть.

– Вот, значит, как, – проговорил он. Оглянувшись вокруг – и истомлённые болью глаза вспыхнули от радостного изумления.

– Ванда?

– Ум-мр-р-р! – послышалось с высоты, и молодого шляхтича ожёг хищный нелюдской взгляд.

* * *

Услышав в зимнем лесу нежный звон колокольчиков – когда, кажется, лёгкий ветерок играет с тонкими прозрачными сосульками или звенит сам перемороженный воздух, – не ходите на звук.

Потому что звук этот сулит неведомую смерть.

Многие ходили за ним, да никто не вернулся.

Игорь ЛЕВИН

**СОН. ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА
ИЗ АПОСТОЛА ПАВЛА**

(Отрывок из романа «Разомкнутая черта»)

Сонный Коринф похож на гигантскую раковину, где каждый гребень из каменных глыб грезит о прохладном бризе в летнюю ночь. Красные камни домов омрачены аметистовым томлением неба, тускнеющего в предрасветном сумраке.

Павел чем-то встревожен. Он выходит из задымлённого атрия, идёт тёмным коридором к широкой двери и, выходя во двор, чувствует, что не может найти выход. Прямоугольный дворик будто бы приобрёл клиновидные очертания. А две колоннады по бокам центрального портика, кажется, уже замкнулись, сближаясь друг с другом во встречном ритме, стараясь вытеснить его нескладно передвигающуюся фигуру из геометрических коллизий иллюзорно сокращающегося пространства. Стройные великаны – колонны угрожающе выстроились, окружая его, как будто склеиваясь и перекрывая проход там, где он желает выйти, словно прохода вообще нет. Колонны массивными телами подпирают небо. Головы их срослись с квадратными шапками – антаблементами. Они, расправившись в вышине, угрюмо идут вдаль, сплющивая и подминая под собой крепкие базы.

Павел несколько раз качнулся, как будто оказался на отчаливающей от берега лодке. Подошёл он к каменному кувшину и, пытаясь омыть лицо свежей влагой, расплескал струи воды, молниеносно пробежавшие между пальцев. Да вышло так, что лицо отёр полусухими руками. Тут же он почувствовал, что плотная шелуха скопившихся безразличных воспоминаний опала, как если бы смылись в памяти все нависшие сухой скорлупой наслоения событий, отделяющие его от рокового дня, изменившего всю его жизнь.

Вздыбленный конь, сплошной свет, слепота, голос – Его голос – снова и снова, будто ничего не происходило и не менялось с тех пор. Время повернулось вспять и навязчиво застряло на нескольких минутах. Затем он растерянно очнулся и двинулся обратно в тёмное помещение. Потемнело в глазах, закружилась голова. Дымные струи, потягивающиеся из очага, отравили дыхание. И тут он увидел внезапно вспыхнувший свет – яркий свет, сплошной свет, больше ничего – всепроникающий, всё поглощающий, всё пронизывающий свет, словно разорвалась металлическая спираль, стягивающая пространство. И больше нет никаких преград, никакой боли, никаких сомнений. Его судорожно затрясло, он ощутил покалывание под лопатками и сладковатый привкус тёртого миндаля во рту. Ему показалось, что его руки выросли в несколько раз, когда пытаясь подняться, он ощупывал ими шершавые стены. Но куда бы он ни глянул – сквозь стены сочился ярко-белый свет, обжигая зрачки, накаляя всё тело, испепеляя, как цветную пыль, всё, что имеет форму и вес, и заставляя сильно зажмуриться, прикрывая глаза сжатыми в замок руками.

– Кто здесь, Господи!? Неужели опять Ты явился мне огненным световым потоком? Не мучь меня! Ты ли это?

И был голос в щемящей, напряжённой, яркокрылой тишине:

– Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Сущий и Грядущий, Первый и Последний. Слушай Меня! То, что видишь и слышишь, сохрани в веках! Помнишь ли, как встретил Меня по дороге в Дамаск? Тогда ты ослеп на три дня. Я сделал тебя избранным сосудом, чтобы возвещать имя Моё перед народами и царями, и дал тебе новое имя.

Как часто в мыслях Павел возвращался к этому моменту! Вздрыбленный конь, молотящее тело и душу падение, резкий свет и голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?.. Трудно тебе идти против рожна». В удушьях падучей, вонзающей «жало в плоть», в утомительных странствиях, в дурмане сновидений слышал он этот укоряющий вопрос: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» и вспоминал ясноокое лицо казнённого Стефана и назарейцев, которых влачил в темницы. И липкой морской водой прошибал телесные галуны холодный горько-солёный пот. И глаза изливали слёзы раскаяния, как сплывали капли росы по лепесткам звёздчатого эрантиса.

— А помнишь, как с глаз твоих спала чешуя, когда ты прозрел и крестился? Разве не говорил, что должен ты пострадать за имя Моё?

— Помню, Господи! И я исполняю свой долг. С тех пор, понуждаем духом, проповедую повсюду я Твою Истину.

— Помнишь ли, как в Дамаске, спустившись в корзине, бежал от убийц, которые стерегли тебя денно и ночью? Я предупредил тогда тебя во сне об опасности. А помнишь, как в Листре отказался ты от славы Гермеса и был побиваем камнями, когда пытались оклеветать тебя иудеи из Антиохии и Иконии? И выносили тебя как мёртвого. Только Я вытолкнул тебя из смертного одра. И именем Моим ты сам стал воскрешать мёртвых и исцелять калек.

— Да, Господи, лишь именем Твоим и верую в Тебя!

— А помнишь, как в Фиатире заточили тебя в темницу по наговору и ноги твои обули в колодки, и били жестоко тебя палками? Ты пел и молился с назарянами. Я тогда разрубил узы, сотворив землетрясение. И спас ты от самоубийства стражника, а воеводы сами вывели тебя из темницы.

— Помню, Господи, всё помню! Но почему Ты спрашиваешь меня об этом сейчас, когда я оказался на земле древней Эллады? Разве утратил я доверие Твоё? Разве не предан Тебе всем сердцем?

— О чём ты говорил в эллинской общине? О необходимости единения, о чистоте духа и тела, о пище земной и пище духовной. Когда ты говорил, я охранял дух твой и ни одной ошибки не допустил ты в толковании Законов.

Но что сказал сверх того, что сказано в Торе и Танах? Ты читал буквы, но не видел слов. Двенадцать глав изложил ты – двенадцать по числу святых колен Израилевых, двенадцать по числу Моих Апостолов. Но один из них покинул этот круг и был низвергнут в десятый круг ада. Тогда его место среди двенадцати занял Матфий. И вот заступила новая стража! И ты – тринадцатый по счёту должен завершить то, что не сумели окончить двенадцать. Я больше не буду диктовать тебе, что надо писать. Ты теперь должен сам подняться до Моих высот и силой духа превзойти всех Моих учеников!

– Господи! Неужто отнимется у меня благодать Твоя и я не смогу слышать голос Твой?

– Не отнимется, а прибавится! Когда говоришь о жертве, ты должен быть распят вместе со Мною; молвив о Воскресении, вместе со Мной воскреснуть. О скорбных днях вещаешь – скорби вместе со Мной! О веселии скажешь – радуйся вместе со Мной! И проживая жизнь во Мне, со Мною и одесную Меня, ты вдруг ощутишь, что сердце твоё до краёв наполнено светом Фаворским. И услышишь ты, о чём говорил Я с Илиёй и Моисеем до того, как проснулись Пётр и его братья. И бодрствовать будешь в тот час, когда Ангел ободрял Меня испить чашу сию в ночь перед распятием. И донесёшь это людям. Вот тогда Я увижу, что ты – Павел, преданный Апостол мой, а не Савл Тарсянин!

– Господи, но что же сейчас должен сделать я?

– Повторю тебе снова: двенадцать глав написал ты, двенадцать по числу предшествующих тебе учеников, двенадцать по числу святых колен Израилевых. Но вот пришёл ты! Я дал тебе ключи от церкви, как Петру – от Царствия небесного. И твоя тринадцатая глава должна быть опорным столпом церкви! Мир может рухнуть, но церковь Моя устоит! Думай, Савл, думай, а затем действуй!

– Господи! С тех пор, как был обращён Тобой к истинной вере, ношу имя Павел. Ибо мал я пред Святостью Твоею, но только в ней обретаю величие.

– Так оправдай же его! Ответь Мне: какое из чувств связывает человека с Богом неразрывной нитью?

– Благоговейный страх пред Господом. Ибо святыню совершают в страхе Божием, никого не обижая, никому не вреда, ни от кого не ища корысти. Зная страх Господень, мы вразумляем людей и со страхом и трепетом спасение своё соделываем.

– Ты так ничего и не понял, Савл. Даже благой страх, отрывающий от страхов земных, не может стать основанием веры, ибо вера – это твёрдость стопы, а страх – лишь душа в пятках. Страх не может быть выше совести, а совесть – выше любви. Страх – это сигнал об опасности, он заставляет сдерживать порыв, иногда спасает от безрассудства чувств и идей, но дух в нём слеп и порабощён. Страх – это узы воли. Он – камень на шее, влекущий в омут бесилия и бездну уныния. Страх – это колодки разума, это – надорванный голос, ставший хрипом. Страх – грабитель целей, убийца мечты и попутчик подлости. Страх – это темница с незапертыми дверьми. Великие свершения не знают страха. Разве не сказано Аврааму, который даже милостей Божиих страшился: «Не страшись»? Неужели ты, Савл, забыл высшие из Моих заповедей? Мой любимый ученик Иоанн ближе всех подошёл к их разумению.

– Господи! Я сделаю всё, лишь направь стопы мои и разум мой к угодному Тебе пути!

– Нет, Савл. Тебе самому предстоит подняться сердцем так высоко и так широко распахнуть врата его, чтобы всё Царствие Небесное со своими вратами вместились туда. И в проповеди покажи его во всей славе, красе и величии. Тогда не молчи, но говори! Если поверят тебе, то и в Меня уверуют. Тогда и будет воздвигнут главный столп Моей церкви на земле. То, что видишь и слышишь, сохрани в веках! И лучистыми мостами скрепятся звёзды. И луна застрянет в неводе солнца. И пространная тьма станет плоским зеркалом света. И голоса сольются в безмолвии. И поплывут облака в кружевах. И ветви сойдутся в стволы. И капли поглотят моря. В мутных пучинах птицы выключают дно и нырнут в волны света. И верблюды пройдут по тучам. И киты будут плавать в барханах. И дельфины научатся петь. И по вздувшимся жилам Вселенной потекут молоко и мёд. И ледяной хребет тверди небесной растопит биение сердца!

Павел очнулся, лёжа ничком на базальтовых камнях. Влажные губы судорожно дрожали, в зобу спирало дыхание в тяжёлом удушье, в груди – вязкая боль. Зрение вернулось. Глаза обводили ритмично выстроенные по геометрически выверенным схемам силуэты зданий, тающие у горизонта, и лопоухие кроны сочных олив. Сквозь мутную пелену взгляд ухватил крупные грушевидные облака, плывущие на фоне ярко-синего неба. Значит, солнце давно взошло! Очертания фигур становились всё конкретнее. Только мешали смотреть постоянно вспыхивающие в глазах хвостатые искры, похожие на миниатюрные кометы. Хорошо стало заметно подбежавшего к нему шестнадцатилетнего худощавого и лупоглазого юношу Тимофея, сильно обеспокоенного увиденным, со слезами на глазах кричащего: «Равви! Что с тобой? Только не умирай, равви!» Очнувшийся Павел успокоил своего духовного сына. Не было невыносимо яркого, безумно слепящего света, нигде не было видно никаких следов появления Его. Являлся ли Он вновь? Что же это было и что означает? Было ли всё в действительности или Он являлся в бреду? На эти вопросы Павел не мог ответить. Только откуда-то пришла твёрдая уверенность, что он знает, о чём должен говорить на сегодняшней проповеди в коринфской синагоге.

– Как хорошо, что ты очнулся, равви! – выкрикнул обрадованный Тимофей, глотая слёзы. Но как ты оказался в этом дворе? Дом Акилы дальше.

– Сам не разумею. Почему-то ноги понесли меня сюда. И мне снова явился Он.

– Равви, с тобой говорил Всевышний, когда ты был в беспамятстве?

– Он говорил со мной, Тимофей. Не знаю, во сне или наяву, – но говорил о том, что должен я исполнить свою миссию. И тринадцатая глава моего послания к коринфянам должна быть выше всех глав и стать опорным столпом Его церкви.

– Через час нас уже ждут в синагоге, равви, – негромко произнёс юноша всё ещё возбуждённо-дрожащим голосом. Глаза у него были напряжённо красными, с отпечатком прошедшего испуга и непринуждённо выраввшегося

в минуту слабости рыдания. — Народ туда скоро прибудет, чтобы услышать твою проповедь. Крисп говорил мне, что твои речи многих коринфян увлекли, обещал сам быть с женою. Молва о праведном назарейском учении разнеслась повсюду. Возможно, придут также люди из других церквей и назарейских общин. Я приготовил листок папируса, чтобы проворной кистью быстро наметить слова твоей речи знаками, и скрижаль из сухих самшитовых досок, куда потом перенесу строгий текст, начисто аккуратно процарапывая и выводя каждую букву. Но ты сильно ослаб. Нужно ли идти сейчас? Хочешь — я сообщу собранию о твоей болезни и сам буду растолковывать всем смысл глав твоего послания?

— Нет, Тимофей. Говорить буду я! Слишком важна сегодняшняя речь. Не беспокойся за меня! Я почти оправился от приступа. Боль проходит. Я смогу говорить — в этом моя миссия, моя жизнь. Что бы ни случилось, но сегодня я буду читать тринадцатую главу! Ты же, мой верный помощник, не отрывай руки от скрижали! Благодарю тебя, сын. Но сегодня прошу лишь записывать то, что намерен сказать народу. Пойдём в храм прямо сейчас!

Они шли молча — учитель и ученик, посланник и преемник, адепты одной веры, старатели одной миссии, подвижники одного культа, избранники одной церкви, проводники одной идеи, частицы одной души. Громоздились высокие стены, величаво сияли авантажные храмы Афродиты и Аполлона, царапали небо тупые зубцы фронтонов. Подобно грубо рубленным камням фигуры домов коралловых цветов вытягивались в геометрический ряд друг за другом, чередуясь в строгих интервалах, как размеренно лепятся рельефные фризy в прямоугольных рамах — метопах, между которыми втыкаются вертикальные полосы тригливов. Так квартал за кварталом через паузы стен и каменных заборов, рядом с которыми на покровах густорастущей травы порхали бабочками белые лепестки каперсов и лиловые — цикломенов, зажигались алые огоньки гранатов, соревновались статью кипарисы, пышногрудые смоковницы с резными листьями и зеленозвонные оливы, возникали и исчезали в поле зрения картины древнего города.

Прямоугольники, квадраты и треугольники, полуциркульные дуги – полный набор простых геометрических комбинаций обретал смысл форм жизни целой цивилизации. На этом фоне появлялись и исчезали мужчины в хламидах и коротких хитонах с поясами, в грубоотканых нарядах и колпаках; неторопливо проходили изящно задрапированные женщины, свободно дефилирующие или привычно несущие амфоры и лекифы с водой. Вот прошли мясной рынок. Дальше вдоль мостовой – стройные ряды общественных зданий. Наконец стали видны ворота в храм из массивных каменных глыб. За ними – колонны главного входа, как бы вышагивающие распиленными арками. Сквозь высокие оконные проёмы, увенчанные лучеобразными сандриками, вензельно вырисовывая светозарные круги, просачивался солнечный свет.

У портика главного входа в еврейскую синагогу вдоль мостовой собрался народ, ожидающий после утреннего чтения Торы проповеди назарейцев. Теснящаяся толпа оживилась в движениях, заёрзала, заголосила, когда по каменным ступеням невозмутимо вошёл в храм Павел с учеником. Народ устремился вслед за ним.

– Мужа братия, – обратился к прихожанам начальник синагоги Крисп, – сегодня апостол назарейской церкви Павел снова желает обратиться к вам с проповедью о Законе и наставлениями в вере. Прошу: выслушайте его с вниманием, прежде чем вступить в спор.

Тут из толпы вошедших в храм отделилась группа людей в фарисейских одеждах, которые переливались, подобно чешуе кобр на солнце, смолой и золотом. На лбу и на руках у них горели повязки с цитатами из Торы. Струями свисала бахрама с белых молитвенных покрывал, расшитых продольными полосами и напоминающих прозрачную кожу с натянутыми тёмными жилами, а прямоугольные филактерии на лбу и руках походили на резные щитки или же сколы древесного угля.

– Постой, Крисп! – властно, рикшетируя гласные, завопил один из них.

Ему было на вид около сорока лет (самоуверенный мужчина плотного телосложения, со склонностью к пол-

ноте). Над головой у него кислым зелёным плодом вырос-
тал колпак, а его рыжая борода с редкой проседью была
складно зачёсана плавными зигзагами.

— Почему же кошунникам даёшь ты слово? На что они
променяли Закон и мудрость пророков, как могли пренебре-
речь вековыми традициями? Лишь врагам выгодно, чтобы
хилый народ поклонялся хилому человеку, а не грозному
лику Всевышнего!

— Я узнал тебя. Ты ходил за мной по пятам в Антиохии
и Иконии. Ты подстрекал прихожан в Листре: «Бейте его
камями!» Стоило ли тебе гнаться за мной в такую даль,
Гевор, неутомонный шпион Кайафы?

— Да ты же и сам, Шауль из Тарса, служил Кайафе до
того, как связался с назарейцами. Было время — неплохо
ему послужил. Когда казнили пойманных тобой назарей-
цев, ты же подавал голос их умертвить. А потом вдруг
стал ни кем-нибудь, а апостолом Павлом, шелухином это-
го лжепророка, хоть и не знал никогда главу этой секты —
Иехошуа ха-Ноцри. А всё же жаль, что тебя в Листре не
добили...

— Равви, дозвожь... — нервно вздувая губы, пробормотал
Тимофей.

— Нет, сын. Не будь скор на гнев. Разве не видишь? Они
только и ждут, чтобы сорвать проповедь.

— Братия, не будем нарушать порядок, проявлять невоз-
держанность и разжигаться в гневе, — громко и спокойно
прозвучал голос вовремя вступившего в разговор Криспа. —
Много было лжепророков. Кто сейчас их вспомнит? Если
вера назарейская не укреплена вековой мудростью, то она
отомрёт — время её задушит. Лишь Господь вправе судить
о крепости веры. Дайте же высказаться назарейцам, а там
уж рассудим, хороша или плоха эта вера.

— А сейчас что — будем им потворствовать и позволим
нарушать Закон? Кого они называют Мешихой? Подве-
шенного на древесных досках и поруганного еретика,
лжепророка, кто осмелился сказать, что в три дня может
разрушить и построить храм? О Мешихе сказано, что с
приходом его воцарится мир и перекуют мечи на орала,
а копыя на серпы, что не будет между народами вражды

и войн, что объединится Израиль и будет жить в безопасности, что очистятся языки и будут славословить Господа. Что же изменил Иехошуа из Ноцрата? Да ровным счётом ничего. Очистились ли языки? Лишь голосите вы на собраниях ваших как безумцы. Ни по-арамейски, ни по-эллиниски вас не понять. Прекратились ли войны? Не утихла вражда. Сильный будет давить слабого – так заведено в мире, пока не явится истинный Мешиха и не изменит мир. А кто сейчас из них проповедует, – позёрски обратился он к толпе. – Не тот ли, кто обещал Кайафе вырвать, как сорняки, ростки назарейской секты?

По синагоге волной прошёл слабый шумок. Прихожане, недоумевая, обернулись в сторону Павла. Некоторые оживлённо вполголоса что-то обсуждали между собой, но после смущённо умолкли.

– Что назарейцы тебе посулили, Шауль? – повернулся он в сторону Павла. – Ты фарисей и сын фарисея. Зная законы, нарушаешь их со злым умыслом, чтобы ослабить веру отцов, чтобы в вере воспитывать хилых и немощных. По одной щеке ударили, так другую подставляй! Так велит тебе твой Мешиха, Шауль? Чья это вера? Слабых и калек, мытарей и блудниц. Где страх Господень – начало начал всякой веры?

– Правильно говоришь, так и есть – насупившись и властно вцепившись растопыренными пальцами в колени, отозвался седовласый мужчина, что сидел на скамье по правую сторону от Гевора.

Его все знали по имени Сосфен, он слыл в фарисейских кругах большим знатоком и ярким ревнителем Закона.

– А я скажу больше, так считаю: вознамерились они, разделив нашу веру, и народ иудейский разделить и известить. Так и придумали: и Тора от Бога, и лжепророчество этого срамного мамзера якобы от Бога. Моисей справедливого возмездия требовал – «око за око», чтобы укрепить силу нашего духа и не отдать святыню на поругание, а этот учит врагов любить и ближних искать из самых дальних и самых низших.

– О жестоковывные! – отвечал Павел. – Сила Господа в немощи совершается. Разве не знали? Спрашиваешь ты

о языках. Есть лишь один богоугодный и чистый язык, где слова текут от сердца к сердцу. Да, я – фарисей, сын фарисея, да, совершал гонения на невинных, но раскаялся и был обращён самим Господом в назарейскую веру. Не повешенного, но распятого во искупление грехов наших и воскресшего Христа мы проповедуем.

– Значит, ты думаешь, что ты мудрее нас... Хочешь нам растолковать разницу между повешением и распятием? – лукаво улыбаясь протянул последнюю фразу Сосфен. – Полюбопытствуем, братия...

– Придя к вам, я пришел не в преимуществе слова или мудрости, возвещая свидетельство Божие. Ибо я рассудил ничего не знать у вас, кроме Иисуса Христа, и Иисуса Христа распятого. Распятый на кресте, Он простёр руки, объяв неиссякаемой любовью всех сынов человеческих как сынов Божиих. В безумии креста и тяжести страдания от крестных мук открылась высшая мудрость и победа над смертью: лишь через Него раскроются врата в неземные обители царствия Божия и жизнь вечную. Хочешь увидеть изменённый мир, Гевор? Так он давно изменился в сердцах любящих Господа в каждом Его создании. То, что разрушил и построил за три дня храм, так толковать следует: он разрушил мир зла и тревог, приняв на себя бремя искупления, и, вытерпев муки распятия, на третий день воскрес. Так возник Его храм – не от мира сего, как и Его Царство. Его храм – это духовный путь от человека к Богу. Говоришь о страхе? Но страх лишь с одной стороны сдерживает от недостойных поступков, а с другой – разобщает и ведёт к одиночеству. Размыкает же порочный круг только любовь. Страх поработит твой дух, но лишь любовь освобождает. Служи Всевышнему не из страха, а из любви! Любимый ученик Иисуса Иоанн, Заведеев сын, так сказал в послании всему миру: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И ещё: «...в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Вот это и есть изменение мира, что совершается внутри нас.

Братия церкви Божией, что слушают меня здесь! – продолжал Павел, перехвативший инициативу в разговоре. – И к вам хочу обратиться. От Стефана, Фотуната и Ахаика узнал я, что происходят душераздирающие ссоры в общине и не всем ясен смысл. Я переписал некоторые главы. Сегодня же зачитаю тринадцатую главу, где суть нового учения будет ясна, как ясен безоблачный день, увенчанный солнечной короной.

– Повремени-ка, назарец! Лучше сначала скажи: правда это, что церковь ваша зовётся церковью бедных? – опять прервал речь Павла пожилой фарисей в светлых одеждах, с благородными чертами лица и густыми бровями, наползающими на глаза, пугающие своим сверлящим, как коловорот, взглядом. – И что же ты не ответил ничего, когда спрашивали тебя о том, что создаёте вы секту для нищих, скорбящих и убогих, неся орудие пытки как символ своей веры? Они хотят быть всем, но остаются ничем.

– «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе... ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – призывал Иисус. Богатство человека в Боге. Если в огне человеческой мечты являются сокровища царствия Божьего и мир преобразается из земли зол и нечестия, войн и насилия, бед и болезней, бедности и нищеты в мир добра, любви, истины и справедливости, значит, всё же меняется мир, когда в душе меняемся мы. Вы ждёте, когда кто-то изменит мир за вас, а вы останетесь прежними, в помыслах своих нечистых, служа мамоне, а не Богу? До чего же вы ленивы духом, фарисеи! Мир не изменится, пока человек не увидит себя в зеркале Бога. Но и тогда мир может не измениться. Никогда не пройдёте вы по идеально гладкой земле, нигде не увидите идеально ровных стен, не узрите идеально безоблачного неба, не утолите жажду из идеально чистого источника и не будет вечно светить вам идеально яркое солнце. И только знание, какими должны быть вещи, помогает сделать их полезными. И только знание, каким должен быть человек, ведёт его к совершенству. И только знание, каким должен быть мир, может сделать его лучше. Идеал, возвращённый

любовью, есть указатель пути к Богу. Нет идеала – и блуждаете вы впотьмах, шагая по ухабам, спотыкаясь и падая в ямы. И не поможет посох Закона тому, кто не знает пути. Мы – церковь истинного Пути к Богу. Не канон, но вера, побуждаемая любовью, не даст свернуть нам с этого пути. Ибо буква убивает, но дух животворит!

– И оттого нищий дух ублажаете? – искоса поглядывая на Павла, спросил фарисей в белом. – Вы возвысили душевный порыв черни и воспели последних овец в стаде. Как золотые слитки собираете вы пыль мироздания. Во всём живом мире Всевышний выделил сильных мира сего, имеющих от рождения право на всё самое лучшее в жизни, и рабов, которым дано лишь прислуживать первым. Крепости сильных, знаниям мудрых и власти избранных хотите вы противопоставить благородство немощи и безумство раболепия. Всякий народ, кто примет такую веру, будет ослаблен и развеян, как песок среди камней. Вместо веры отцов, не умудрившись тайнами познания, распространяете вы по земле миф о божественном происхождении и небесном царстве нищего. Последние никогда не станут первыми, они могут лишь уверовать в то, что стали выше в другом мире, чтобы не пытаться занять место хозяина в этом мире. Ваша вера восполняет духовную пустоту рабского стада и не способна вывести народ к рубежам державного владычества.

– Как же вы не поймёте, фарисеи, что мудрый человек, упивающийся своей гордыней, всё равно что красивый цветок, разносящий трупный запах. Кто потянется к лилии, если она источает зловоние и привлекает лишь мясных мух? Надеющийся на Бога стремится к великому в духе, а мнящий себя великим, как спесивый Валтасар, будет взвешен на весах судьбы и найден очень лёгким. Были грозные завоеватели, но с прахом смешалась их слава, и державы их как осколки чаши разбитой. Были владыки могучие, построившие неприступные крепости с высокими стенами и башнями, но только содрогнулась земля – рухнули крепкие строения, и обратились они в каменную пыль. Были также суровые магнаты, стяжавшие несметные богатства, но развеялись по земле алмазы и изумруды,

как опавшие листья на ветру. Известны и мудрецы – чародеи, для которых открыты были все тайны познания, но чары их и умения растворились в реке времени ледяным потоком. Вы одержимы суетными страстями. Но конец жизни у всех один – у эллина и иудея, у раба и свободного, у мужчины и женщины, у нищего и богача. Вы ожесточили сердце своё, стремясь к престолу гордыни и тратя время на бесполезные ритуалы. Вы хвалитесь грузом традиций, строгостью Закона и упиваетесь мнимым благочестием. Но что есть Закон, если он умирает в узах канонов, а не оживает в духе? Звёзды с леденящим светом падают снопами в бездну. Что вам почести, посрамляющие честь, что вам сила, преодолеваемая кротостью? Не заменит Закон любви, а жертва – милосердия. Не прочнее шатры покровы небесного, сила власти не уступит торжеству добродетели, не заслонят колоссы солнца, триумф побед не заглушит голосов молитв, а огонь славы не будет ярче благой искры.

– Ты неправ, Шауль, – снова вступил в разговор Гевор.

На этот раз речь его была вкрадчива, спокойна и выдержанна. «Показное миролюбие на устах и скользкая враждебность в сердце», – мгновенно оценил Павел.

– Традиция – это камень, скинутый с небес и выточенный духом народа, это источник прочности жизненного уклада и праведности помыслов и поступков. Вселенские основы миропорядка в жизни каждого человека закрепляются традициями и объединяют людей прочнее, чем плоть смыкает части единого тела. Закон был дан Моисею Богом. Его никто не может изменить. Тора – Божественное учение. Каждый прописанный знак, каждый ритуал, каждое действие – кованое звено в единой могучей цепи Завета, мощная скрепа, объединяющая тех, кто избран дать всем народам пример выполнения воли Творца. Никто не чтит Закон так ревностно, как мы. Никто, кроме нас, не владеет такими тайниками мудрости. Никому другому не зримы секретные горнила, где куются человеческие души и судьбы. Тора едина и неделима. Нарушение прописанного в ней Закона есть разрыв Завета.

– Нет, Гевор. Тот, Кто творил всё новое, не разорвал Завет, а создал Новый Завет. Потому мы во Иисуса Христа

уверовали, чтобы быть оправданными этой верой, а не делами Закона, ибо ими не будет оправдана никакая плоть.

– Каков наглец! – негодуя, встрял в разговор Сосфен. – Тора, Священная Тора вам уже не нужна?!

– Закон был дан как бремя, удерживающее от соблазна до прихода Того, Кто сделает дух свободным. Но вы связали себя рабскими узами, мысли заковали в кандалы, мускулы надрезали плетью, а сердца затворили в мраморных склепах. Но пришёл Спаситель – и ты уже не раб, но сын; кто же сын, тот и наследник через Бога. Для свободы Христос освободил нас, на том стоим – и не подпадём под иго рабства! Ибо вся полнота Закона в одном слове: возлюби ближнего своего, как самого себя.

– Опомнись, образумься, Шауль! – вновь старался внушить Гевор. – Твои слова кощунственны. Неужели ты поверил, что сын плотника из Ноцрата, бесстыдно объявивший себя Божьим посланцем и набравшийся наглости объяснить все неясности в Торе, в самом деле тот Мешиха, что был обещан нам всеми пророками? Это лишь глава назарейской секты, который задумал протолкнуть идеи нищевродов и полоумных ессеев даже ценою собственной жизни. Их губительные ростки вынашивались в мглистом чреве кумранских пещер. Ты же один из нас! Твоя родословная восходит к колену Вениаминову, ты изучал богословские науки у самого раббана Гамалиила. А сейчас отвергаешь наставления Торы; утверждаешь, что лишнее – обрезание, и, забыв о долге правоверного иудея, разделяешь молитвенную трапезу со всеми, не спрашивая, кто еврей, а кто грек. Ты ешь с ними за одним столом нечистую пищу!

– Чистота должна быть в душе, Гевор. И наивысшей чистотой во всём человеческом роде обладал лишь Иисус Назарянин. Его учение выше мира сего. Оно – свет, который отражается в мире греховных помыслов, как блики на воде, и теребит ярким мерцанием мутную влагу.

– Шауль, ты принял лжепророка за Мешиху. Как же ты мог так ошибиться?!

– Это не ошибка, Гевор! Он – Мессия! Иисус явился мне в откровении сердца. Он призвал меня для великой

миссии быть его свидетелем пред всеми земными народами и царствами.

– Слышал я уже эту историю. Мало ли что кому может померещиться в припадке падучей? Просто ты устал от того, что выполнял тяжёлую для души работу искоренения вредоносной секты. Ты стал задумываться над тем, прав ли был в своих решительных праведных действиях, тебя в слабости духа обуревали сомнения. Вот и стали тебе слышаться голоса. Но те, кого преследовал, – лишь горящая известь, тернии отсечённые. И ярость расправ с врагами веры была оправдана. Так вернись же в нашу среду! Пойми: если назарейская секта широко распространится по миру, то принесёт нашему народу много бед. Это учение станут просто использовать новые владыки, чтобы убивать и бесчинствовать уже под назарейскими стягами. Им нет никакого дела до богословских споров. Греховной природы людской ничто не изменит.

– Есть лишь одна сила, способная переделать человеческую природу по законам Божьего царства. Его учение абсолютно, потому что лишь одно чувство в человеке обладает абсолютной силой. Учение Иисуса Христа не приспособлено к миру. Мир в запредельном идеале должен приспособиться к нему. Но пока стрела времени не сломалась, никто из живущих на грешной земле полностью не достигнет идеала. И вот идеал сошёл с небес и обрёл страдающую, гибнущую и непрерывно воскресающую плоть и кровь, чтобы спасти тонущие в пучине греха души.

– Ты продолжаешь упорствовать, распространяя эту сектантскую ересь! Сколько бы ты ни говорил о горнем мире, на земле, на этой грешной земле, неизменно чтут лишь власть Закона и закон власти. Или забыл Соломонову мудрость – «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти»?

– У него же – «любовь покрывает все грехи». Значит, и у страха Божьего есть неиссякаемый источник.

– Какой же ты упрямый! И вот что тогда я тебе скажу, Шауль ха-Тарси: твоя вера делает тебя безмерно одиноким и обречённым на непонимание. Ты даже не один из Двенадцати. Ты тринадцатый! Понимаешь? Тринадцатый –

лишний, последний из шелухинов. Они хоть знали своего раббана. Иехошуа тоже знал своих шелухинов. Ты же для них чужой, и навсегда на тебе будет печать гонителя. К тому же слишком вольно ты обходишься с их верой. Правовверные иудеи о тебе скажут: вот кто пытался разорвать Тору надвое и предал веру отцов! Сильные мира сего будут ненавидеть тебя за то, что привнёс в непримиримую веру постыдное миролюбие и плебейский дух равенства. Рабы же скажут: вот идёт новый жрец – что нам до него? Кто-то будет чтить тебя как новоиспеченного галилеянина, а кто-то – считать недостойным выскочкой, что взялся стяжать славу Мешихи. Пока не поздно, Шауль, отрекись от назарейской чумы, откажись от лжепророка! Вернись в лоно отеческой веры! Кайафа простит и не осудит строго! Пока не поздно, Шауль...

– Поздно, Гевор! Слишком поздно! Нет такой силы, что заставила бы меня предать Иисуса! Нет такой веры, что пересилила бы веру в Него... Я распят со Христом, и живу теперь не я, но живёт во мне Христос. А что я живу во плоти, то живу в вере в Сына Божия, возлюбившего меня.

Холёное лицо Гевора на несколько секунд застыло в холодном гневе, кожа побледнела, переливаясь мраморным лоском, глаза спокойно смотрели прямо перед собой, брови криво насупились, чуть сдвинувшись к переносице. В тёмных глазах замелькали рыжие искры, отражающие огненные пряди бороды. Что-то выдало вдруг в этом самодовольном лице-маске коварную мысль проявить внезапно своё превосходство и разом покончить с назарейской проповедью. Гевор с показной досадой слегка причмокнул губами.

– Готовьте камни, – протяжно и с ледяным спокойствием лютого ожесточения негромко проговорил Гевор, повернув толстую как у быка шею к фанатикам-единоверцам.

– Вывести зачинщиков беспорядков из храма! – раздражённо-резко прозвучал в сторону охранников голос начальника синагоги. – Здесь Коринф, Гевор, Коринф – город философов, путешественников и мудрецов! Никто не будет побиваем в храме из-за споров о вере. Жестокости и расправ в святом месте не допущу! Если назарейское

учение – вымысел человеческой фантазии, то оно будет разрушено, как рушатся сны в лучах дневного света. Но если от Бога... Берегитесь оказаться среди богоборцев, фарисеи!

– Да ты же сам, Крисп, первым должен призвать побить кошунников камнями! Тебя тоже увлекли их речи?

– Не только увлекли. Скажу больше того. Если сегодняшняя проповедь Павла убедит меня в истинности назарейской веры, то при всём собрании говорю тебе, Гевор: я сам приму крещение от этого апостола и родных своих поведу креститься!

И снова по синагоге пронёсся ветер роптаний, будто ураган силится наклонить ветви деревьев, но пока не ломает их.

– Ты ответишь за это, Крисп! Ты больше не начальник синагоги, уверяю тебя! – возмущённо кричал Гевор. В унисон звучали и другие голоса фарисеев: «Да ты кофер, апикорос, позорящий храм!», «Братия! Этот мумар морочит вам головы, он не иудей, сорвите с него гранатовую ризу, снимите с головы кидар и выкиньте его из синагоги!», «Вашей заклятых врагов иудейской веры!», «Да кувырком его прокатите по лестнице храма!».

– Стража, займитесь уже этими людьми! Выдворите их из храма! – велел Крисп охранникам. А затем он как ни в чём не бывало обратился спокойным голосом к Павлу: – Читай свою проповедь, Павел! О чём возвестишь нам в тринадцатой главе?

Павел поблагодарил Криспа и шепнул Тимофею: «Сейчас пиши, сын. И что бы ни случилось, не отрывай руки от скрижали!».

Лицо Павла преобразилось, тело расправилось, как парус, а мачта-позвоночник слегка покачивался взад и вперёд, будто надёжно смастерённый корабль стремительно поплыл по лёгким и свободным волнам. Изрекавшиеся в радужном экстазе слова, казалось, были готовы прорвать перекрытие храма и кристаллизироваться литыми мантиями небес в хрупкотканном эфире. Он говорил одухотворённо, вдохновенно, отрешённо, громогласно, раскрепощённо, без остановок и напряжения. Шауль ха-Тарси (нет, он уже

снова Павел!) и не говорил, и не пел, а как будто парил в словах, вознесшись над миром в глубоком катарсисе. Его словами говорило его сердце. И трубы аорт стали первыми органами тубами, и кровь вливалась в мехи, вскрывая клапаны души, и регистры мыслей в стройных комбинациях перестраивали линии судеб. И вера сердца рождалась, сокрушая фарисейское словоблудие. Так в чреве морских раковин из песчинок возникают упругие жемчужины, так застывает золотистый нектар в зобе медоносной пчелы, так упорядоченные соцветия выстраиваются в колосьях пшеницы. Так ошеломительная и благозвучная речь Павла оседала на дне чутких сердец и побуждала души к вере. Тимофей еле успевал очерчивать слова простыми знаками, будто пытался ухватить рукой за хвост вылетающих из-под кисти райских птиц.

И небо над храмом, искромсанное лучистыми мечами солнечных ангелов, брызнуло осколками переливающихся точёными гранями голубых бриллиантов. И дельфины пятого океана, воспарив облаками, запели.

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

В этот момент десять воинов охраны храма постепенно под гулкий шумок вытесняли из здания небольшую толпу враждебно настроенных ортодоксов, выбивая из их рук камни. Но вот кто-то из этой группы, резко повернувшись и освободив руку от захвата, успел кинуть камень. Он пролетел, задев вскользь скулу и поцарапав висок Павла. Щека распухла и побагровела, как сливовая мякоть, треть лица окропилась редкими ярко-алыми каплями, обильные сгустки крови внезапно застыли спрутами клякс на папирусе. На несколько секунд Павел потерял сознание. Голова

опрокинулась назад, рот был полуоткрыт. Павла успел поддержать Тимофей, объяв его левой рукой за плечо. В этот момент Павел снова услышал внутренний голос: «Не бойся, Павел! Говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто к тебе не подступится и не причинит тебе зла, ибо у Меня много народа в этом городе».

– Равви! Равви! – испуганно и беспокойно кричал Тимофей.

– Не отрывай руки от скрижали, Тимофей, не отрывай руки! – скороговоркой дунул очнувшийся Апостол и продолжал вещать:

Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Лирический портрет

Эльвира КУКЛИНА

МЕЖ НАЧАЛОМ И КОНЦОМ – ПРОЧЕРК...

Письмо

«Не пишите нам о душе –
Надоели стихи про души нам!»

...Пахнет бабушкино саше
Гиацинтом, слегка подсушенным.

Чемодана облезлый бок...
Ты заглядывал ли когда в него?
Вышит крестиком голубок –
Эсэмэска от «очень давнего».

Он не гладью вышит – крестом.
Пара крыльев любовно вышита.

О твоём потайном. О том.
Он расскажет тому, кто выше – там.

Он опустится на плечо,
Слово скажется –
Молча –
Лишь оно.

....И не спросится ни о чем –

Всё услышится.

Всё

Услышано.

Шанс

В месяце – тридцать дней.

В каждом из них

Ты – есть.

...В чашке моей – на дне –

Нашей неустрахи вестъ...

В месяце – тридцать дней,

И тридцать первый – Он.

...А накануне мне

Вещий приснится сон.

Сон, где среди вещей –

Вечности нежный свет.

Сон – на подсказки – щедр,

Словно молитва – спет.

Тайный зажжется луч –

Лишь на секунду-две.

...И повернется ключ.

И распахнется дверь.

И развернется путь.

Сделай лишь первый шаг.

Освободись от пут.

Не проворонь свой шанс.

Есть Тридцать Первый день –
Важен. Неотвратим.
Не упусти. Владей.
Падай, взмывая, с ним.

Есть Тридцать Первый, твой.
Прочие – просто дни.

...А упустил – не вой.
Снова отсчет начни.

Аквариум

Смешная рыбка – «петушок» –
В семье – не без уроды...

...Опять к поверхности пошёл –
За дозой кислорода.

Средь прочих рыбок он – маньяк.
Он не надышится никак.

...Средь прочих –
Шепчущих «виват!»
В стране своей обманной,
Где дважды в сутки удивят
Слетевшей с неба манной.

...Им – не потребен кислород:
Его довольно в толще вод.

...А этот странный «петушок»
Ершится-петушится.
Чего-то ищет, дурачок,
Мечтать о чём-то тщится.

Такой забавный «петушок»...

Он рыба-взрыв, он – рыба-шок.

Он – не такой, он – не сякой.
Он – лермонтовский непокой.
С далёких пушкинских времён –
Рука судьбы. Возмездье – он.

«...Довольным стань, удобным стань –
И не стремись туда, за грань...»

Ему ж – в любые времена –
Без кислорода – всё –

Принцип Феникса

Когда кончается история,
Когда подводится итог –
Гуманней помощь крематория,
Чем протяженный эпилог.

Конечно, это испытание -
Предать огню былую жизнь.
Зато закончатся метания.

Остановись и отдышись.

Сгорело тленное и брренное.
Осталось вечное.
Ну что ж,
Зола и пепел – удобрение.
Ты прорастешь.
Ты – прорастешь.

О первом и последнем

Обещает первый снег –
счастье,
А с последним – боль конца
делим.

И запомниться навек
тщатся
«Серединные». Но зря.
Где им?

Остро ранят
рубежи-границы.
В межсезонье «снежий» век –
малость.
Слишком поздний,
чересчур ранний –
Оба тают, от тоски
Маясь.

Знают, что обречены –
оба.
Мир не любит, если ты –
«слишком».

«Середине золотой» –
проба,
Ну а крайностям – всегда –
«крышка».

...Долгий век себе
сулим-прочим,
Но завидует закат –
полдню.

Меж началом и концом –
прочерк.

...Мой последний, первый мой, –
Помню.

Конец сказки. Андерсен

Свеча мерцает, но не меркнет...
Мелькают тени за окном.

Перо натруженное медлит,
Как будто борется со сном...

Но дело близится к развязке,
И значит – сон не за горой.
В непоправимо грустной сказке,
Что смог, то выполнил герой.

Он не боялся испытаний,
В болотах вяз, блуждал в лесах.
Бессонней был и неустанней
Минутной стрелки на часах.

Он так устал, что безразлично –
Хоть эшафот, хоть пьедестал.
Не романтично, а обычно –
Не по-геройски он устал.

Финала скучная отсрочка
Его измучила: пора!
Давно готова капнуть точка
С едва ползущего пера...

Но думал сказочник иначе:
Он бегло труд свой перечел –
И счел творенье неудачей.
И скомкал. И швырнул под стол.

...Лишь утром старая служанка,
Придя с метёлкой и совком,
Вздохнет:
– Опять бумага. Жалко...
Теперь в растопку целый ком.

Конец игры

...А лето приближается к излёту –
Воланчиком, запущенным в зенит.

...Как проступает медь сквозь позолоту,
Как седина предательски сквозит –
Вот так сквозь август проступает осень.

...Как ни мечись с ракеткою в руке,
А всё-таки воланчик грянет оземь,
Неотвратимо завершив пике.
И ты предощущаешь каждой клеткой –
Мгновенье – и закончится полёт.
Беспомощный, упущенный ракеткой,
Он на траве подстреленно замрёт –

И будет ждать, когда рука подкинет:
Лететь, лететь, не кончена игра!

...А осень сзади подойдет, обнимет,
Прошепчет: «Закругляться не пора?»

Русский вопрос

Дмитрий ФАМИНСКИЙ

РОССИЯ: ПРАВО НА СВОЙ ПУТЬ

Сколько ни существует этот мир, а всегда кто-то кем-то управляет. Для человека, верующего в Бога, Бог управляет этим миром и вообще всем мирозданием. И именно здесь нужно искать ответы на возникающие вопросы и первопричину всех вещей. Человек неверующий также ощущает на себе зависимость от кого-то или чего-то. Другое дело, чем он это объясняет.

В Библии, Книге книг, даны не только духовные правила поведения и самосовершенствования человека, но и описана священная история Нового и Ветхого завета. Особенно в истории Ветхого завета фигурирует множество исторических лиц – от первых людей и пророков до судей и царей израильских. Новая эра развития человечества, отсчитываемая от Рождества Христова, во многих странах проходит под сенью данного Им Нового завета. Его заповеди положены не только в основу духовного совершенствования каждого отдельного человека, но и в основу гражданских законов многих стран, а значит, и в систему государственного управления. Конунги, цари, великие князья в основе и источнике своей власти видели Божье благоволение или поущение. Властители помазывались на царство духовными владыками, предстоятелями Церкви, а значит,

имели в своих управленческих действиях духовную основу и ответственность перед Богом. Так же воспринимал эту власть и народ. Он полагал, что царь может потому давать законы, что источник этих законов Бог – высшая справедливость. Царь может потому управлять народом, что он пришёл к власти или за заслуги, или по великому уму или происхождению, либо по стечению обстоятельств, неведомых народу, но ведомых Богу, и потому его власть оправдана.

С течением времени управленческие сущности умножились, образованность возросла, появились отрасли права, власть и приход к ней демократизировались. Умножились сущности и в повседневной жизни – появились отрасли народного хозяйства и, соответственно, новые специальности. Сам уклад жизни изменился в бытовых мелочах кардинально.

Изменилось и отношение к власти народа. Подчинённые на работе признают ли начальника безусловным авторитетом в служебных вопросах? Выполняют ли его распоряжения в случае несогласия со всем тщанием? Выполняют ли вообще? Граждане часто считают, что пробиваются наверх одни лишь, за редким исключением, проходимцы и воры. А вот их, достойных, зажимают. И вот если бы они... То тогда... А что тогда? Без должного понимания вопроса – всё то же самое! А властители, называемые сейчас президентами, министрами, губернаторами, на более низком уровне директорами и так далее, по всем уровням политики, промышленности, бизнеса от скромного начальника почтового отделения до главы государства воспринимают ли свою должность как данную Богом, как служение подчинённым и стране? Все ли полагают, что за свои действия они дадут ответ не только перед земным властителем или земным законом, к которому сейчас всё чаще идёт отсылка, но и перед Богом? Конечно, далеко не все верят в Бога. Или верят в различных религиозных традициях. Но почти все, по моим наблюдениям, уповают на некую высшую справедливость и оперируют понятием «совесть». То есть признают вмешательство высшей силы и её суд в случае несправедливости земного суда.

Наша великая, но многострадальная страна, Россия, за последние более чем 1000 лет своей истории пережила множество эпохальных событий, коренных изменений устройства жизни общества, которые и сделали её той уникальной страной, которая подошла к 1917 году великой империей. За последнюю же сотню лет, на мой взгляд, были две основных всеобъемлющих ломки. Это октябрьский переворот 1917-го и крах СССР в девяностые годы прошлого столетия. Причём, думаю, события 1917-го были намного масштабнее, привели к более кардинальным изменениям и, несмотря на обилие исследований и материалов на данную тему, ещё недостаточно изучены. Сегодняшнее положение вещей – отголосок событий вековой давности.

Россия, сформировавшись на огромной территории из родовых и племенных общин, прошла сложный путь объединения и централизации. Иногда опережая, но чаще отставая в развитии от европейских народов по объективным и субъективным причинам, наша страна всё-таки двигалась вперёд, создала свою государственность, систему идеологии и управления. Но в 1917 году произошла катастрофа, и всё, что было наработано за 1000 лет и ранее, подверглось практически полному разрушению. Советская власть построила новую систему управления и новую идеологию, которые оказались столь несовершенны, что просуществовали лишь 70 лет. Конечно, неразумно отрицать явные достижения СССР, но многие из них были «благодаря», а многие «вопреки». И цена уж больно высокая, обильно политая кровью и страданиями. Всё бы ничего, но в результате сейчас мы имеем плачевную ситуацию, которая, если не менять её к лучшему, может закончиться распадом страны или превращением её в сырьевой придаток передового мира уже в полном смысле этого слова.

В чём же причина нашего ослабления? Думаю, в первую очередь, – человеческий фактор. Большую часть элиты после 1917 года репрессировали или вынудили уехать. Кое-кто, конечно, остался, но лишь некоторые были допущены к строительству нового общества. По-

явилась новая элита, чаще всего, из бывших неграмотных бедняков, которым, правда, были созданы все условия для личностного роста и образования. При помощи уцелевших представителей старого мира как некоей прививки к народному таланту сформировалась советская элита, которая в первых двух поколениях выстроила советскую науку, производство и сделала мощное вооружение. Но научно-техническую и творческую интеллигенцию в 90-х годах прошлого столетия снова поставили в бедственное положение. Вследствие чего часть её выехала за рубеж, часть значительно понизила социальный уровень, а часть приспособилась к новым обстоятельствам.

Но не может страна так часто и помногу терять представителей передового и образованного слоя, сформировавшегося в результате преемственности поколений, и оставаться сильной державой! Результат налицо. Несмотря на многие позитивные тенденции, уже 25 лет мы живём в так называемом демократическом государстве без чёткой цели и программы развития. Мы (или за нас) отвергли монархию, затем социализм, а теперь пытаемся построить (или за нас выстраивают) общество потребления по иностранной кальке! Но копия всегда хуже оригинала. Те, кто разрабатывал демократические стратегии на своих территориях и для своего народа, опирались на национальные особенности, задачи и специфику. Мы же живём по плохо прочитанным иностранным учебникам. Во все сферы и особенно в бизнес пришли зарубежные технологии, термины, цели и методология. Как будто ничего своего у нас нет и придумать не можем!

Царь, князья, дворяне, помещики стремились создать отечественную систему управления, которая развивалась от Рюрика (а может быть, уже и за несколько веков до него) через св. Владимира, св. Ярослава Мудрого, св. Владимира Мономаха, св. Ал. Невского, св. Иоанна Калиты, св. Димитрия Донского, Ивана III, Ивана IV, Петра I, Екатерины II, Александра III. Начиная от кажущихся нам сейчас простыми и небольшими по объёму

уложений и судебников до целой управленческой системы к революции 1917 года. И это были не скороспелые заимствованные законы и принципы, а адаптированные к России духовные и юридические нормы, уходящие корнями в римское право, в византийскую государственность. Дворяне получали свои титулы и вотчины за служение Отчизне, а не просто так. Им приходилось жертвовать жизнью, думать головой, доказывать свое право на распоряжение людьми и землями. Приходилось и смиряться, например, когда в период централизации власти их предки из великих князей должны были превратиться в удельных, а из удельных князей в служивых, а потом и просто в помещиков.

Передовые и разумные помещики аккумулировали на своей территории новейшие достижения науки и техники, сельского хозяйства, культуры и вовлекали в этот процесс своих крестьян. Крестьяне работали, изучали новое, кормили семьи и понимали, для чего они это делают и на чьё благо. И благо России в целом, как одна из основных ценностей, занимало здесь не последнее место. Когда подавляющее число усадеб порушили и сожгли свои и чужие (французские, немецкие оккупанты), а большая часть из уцелевших догнивает уже в наше время от безалаберности, недомыслия или нехватки денег, стало понятно, какая ценность утрачена. После 1917 года усадебные комплексы широко использовались советской властью и используются настоящей до сего дня. Инфраструктура, созданная помещиками (дороги, паромы, больницы, библиотеки, системы прудов, оранжереи) сильно выручала во время Великой Отечественной войны и в период социалистического строительства. Ну а уцелевшие главные дома усадеб с парковыми ансамблями – шедевры архитектуры, не имеющие современных аналогов по красоте, стали визитной карточкой страны.

Сейчас в сфере бизнеса россияне либо работают на иностранные корпорации, которые жёстко предписывают внутреннюю структуру российских подразделений, вводят и требуют неукоснительно соблюдать корпоративные правила и даже законы иностранных государств (например, законодательство Англии и США в сфере

противодействия коррупции), либо организуют свой бизнес, малоконкурентный по сравнению с иностранными компаниями. Иностранцы оставляют разработчиков передовых коммерческих продуктов у себя, а россиян заставляют делать механические операции по продажам или обслуживанию бизнеса, облекая эти малоквалифицированные обязанности в сладкие и соблазнительные, тешащие самолюбие работников термины и идеологию. Создаются и продвигаются целые теории личностного якобы лидерства, вводимые при помощи психологических приёмов и НЛП-программирования. По сути – это простенькие бизнес-стратегии, возвеличенные до псевдо-искусства ведения бизнеса. Успех западной цивилизации при элементарно-внимательном анализе оказывается новой колонизацией при помощи экономических приёмов. Отечественные же предприниматели часто не уважают законы своей страны, стремятся уйти от налогов, решить вопрос мздой и честную конкуренцию воспринимают с усмешкой. Что это? Необразованность и некультурность? Глупость, жадность и недоразвитость? Колоссальное отличие от продуманного на века подхода к делу отечественных купцов и помещиков или представителей иностранных торговых и ремесленных династий, ведущих отсчёт ещё со Средневековья или того ранее.

Конечно, трудности настоящего момента понять можно. Какой сейчас выбор у человека, решившего заняться предпринимательством? Либо делать всё по-честному – тогда, если в обществе на всех уровнях негласно существуют коррупционные стандарты, окажешься в экономическом проигрыше. Либо играть по общим правилам, но тогда придётся переступать через собственную совесть и принципы, а в конечном счёте и нарушать закон. Большой минус – серьёзная финансовая и юридическая безграмотность населения, которая позволила и позволяет сажать граждан в долговую яму. Думаю, западные кредиторы прекрасно понимают, что, обещая красивую жизнь на ещё не заработанные деньги, они узаконенным способом превращают россиян, как когда-то туземцев, в своих должников!

Отечественные банкиры – талантливые их ученики. Но «де юре» всё чисто.

Таким образом, в результате двух катастроф мы получили вместо помещиков и купцов, работающих на благо страны в далёкой перспективе и собирающихся продолжать свой род на русской земле, либо слабых, вороватых, некомпетентных предпринимателей (я говорю не обо всём бизнес-сообществе, а о его части), либо филиалы иностранных компаний, жёстко и эффективно управляющиеся и имеющие в России свои бизнес-интересы, направленные на укрепление национального и корпоративного капитала своей страны, а отнюдь не российского. Иностранная компания всегда будет качать из России деньги в свою юрисдикцию и заботиться о победе над россиянами-конкурентами. А российские талантливые и честные предприниматели будут удивляться: «А почему кредиты такие дорогие, чиновники вороватые, когда это кончится и что делать?» Наверное, подобным образом или ещё сильнее сокрушались после 1917 года дворяне и учителя, офицеры и купцы, аристократы и головастые рукастые крестьяне и кустари, священство и мещанство: «Что случилось, почему всё перевернулось с ног на голову? Почему нельзя иметь частную собственность? Почему нужно отдать новому правительству всё заработанное предками за века? Почему нельзя открыто молиться Богу и устраивать приходскую жизнь? Почему учитель с университетским образованием, преподававший в гимназии, не может преподавать в новой школе? Почему ребёнок дворянского происхождения не может поступить в институт при новой власти?»

Многие помещики изначально были не только собственниками, но и управленцами. Можно попытаться уподобить владельца усадьбы собственникам современных предприятий. Может быть один владелец, а могут быть акционеры (аналогия с членами семьи помещика). Барин мог сам управлять (генеральный директор), а мог нанять управляющего, а тот в свою очередь ставил приказчиков по различным направлениям хозяйствования. Управляющий и приказчики – аналогия современным топ-менедже-

рам и управленцам среднего звена. Как правило, это были образованные, умные, расторопные люди из мещанского сословия, разночинцы, даже из крестьян. Усадьба побольше – масштабы крупнее. Здесь барин властен собрать совет директоров (родственники, единомышленники), а сам стать его председателем. Какой-нибудь член совета директоров становился генеральным директором или председателем правления.

Но усадьба, как и современное предприятие, не могла существовать без рядовых работников, бригадиров, старших смен, начальников участков и так далее. В дореволюционной России, понятно, эту роль исполняло крестьянство. Как принято подавать тему – необразованное, безграмотное, бескультурное, пьяное, дерущееся, униженное, которое дворяне и за людей не считали. Сейчас данную социальную нишу занимает всё больше людей с высшим, не говоря уже о средне-специальном образовании. И к станку встают, и в дворники идут, и в продавцы. Это сейчас чаще именуется отечественным работодателем «менеджер», в русле всё той же не совсем, на мой взгляд, правильно понятой западной теории о лидерстве, но суть остаётся прежней. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что сейчас многие продаваемые товары столь сложны технически, что разобраться в них и грамотно продать или сделать закупку – есть труд почти интеллектуальный.

Крепостное крестьянство часто признавалось рабами, но эти рабы имели свои дома и наделы земли, где были полновластными хозяевами. Содержали многодетные семьи, которые в бедности, но поднимали. От этого прирастало население России, а в царское и советское время многие крестьянские сыны составили славу Отечества. Нынешние, якобы независимые, люди имеют все декларируемые законами свободы и очень из себя на словах самодостаточны. Но многие повязаны финансовыми обременениями и кабальными договорами, например, ипотекой и потребительскими кредитами (недвижимость или автомобиль в случае покупки в кредит – собственность банка, пока не произошла окончательная

оплата), одного-двух детей еле растят. Так что на деле не всё так просто. Например, современная молодая семья, в среднем, вполне обходится одно-двухкомнатной городской квартирой, тем более если её брать в ипотеку. Трёхкомнатная – уже очень хорошо, выше среднего и по ипотеке трудно поднять. Выше – роскошь для среднестатистической семьи. Для многих мечта несбыточная, – отдельный дом или коттедж с прилегающими к нему 6–20 сотками земли. А вот многодетная крестьянская семья, как правило, жила в отдельном рубленом доме из одной-двух и более комнат. Крестьянин владел также (после отмены крепостного права) или арендовал у помещика несколько десятин земли, с которых и кормился. Кто располагает большей жилой площадью и владеет или пользуется большим наделом земли – современный среднестатистический гражданин или житель дореволюционной России?

В 20-е годы прошлого века большевики дали крестьянам возможность развивать хуторское хозяйство, дали землю – и дела пошли! Это было шагом вперёд по сравнению даже с усадебным помещичьим хозяйством и отношениями барина и крестьянина. Вчерашние бедняки стали зажиточными крестьянами. Но потом, в 30-е годы, всё отобрали и заставили вступить в колхозы. А до этого истребили кулачество. Это были вредные шаги, они ослабили деревню и подорвали доверие к властям.

Что мы имеем сейчас? Некогда – и при царе, и при советской власти, – колосившиеся поля заросли сорняком и порослью молодых деревьев. Оно, может быть, в чём-то и полезно – земля отдыхает, но тенденция налицо. А вокруг очень много желающих пользоваться нашей землёю, выражаясь импортным бизнес-языком – «развивать территорию».

Что до социальных отношений, то, конечно, было немало неграмотных, злобных, ленивых, пошлых, тупых, самодуров помещиков, которых крестьяне не любили и даже ненавидели. И хозяйств захудалых и отсталых было много. И крепостничество – система рабства – на Руси излишне задержалось. Но очень похожая ситуация была

и в колхозах, когда крестьяне денег не видели, пахали с утра до ночи на государство, а жили очень бедно. Я уж не говорю о системе ГУЛага. Суть похожа, термины другие. А в наше время разве не рабство – работать, получая мизерную зарплату, или не работать (по причине невозможности найти работу), получая копеечное пособие, не имея возможности из-за отсутствия средств выехать практически никуда, да ещё при полном контроле электронных финансовых транзакций и персональных данных. Цивилизованное рабство, рождающее уже на общественном уровне термины и устойчивые выражения «совок», «офисный планктон», «пипл хавает» и другие.

Вообще русский крестьянин, впрочем, как и любой другой, умел делать многое – дом поставить, пахать, сеять, охотиться. Не обладая учёными знаниями и часто умением писать и читать, он мог наладить жизнь посреди нехоженого леса и прокормить семью. В деревне были свои лекари, крестьянские старосты. Думаю, можно сказать, что российский крестьянин был, а может быть, и есть, самодостаточен. При помещике, в гражданскую войну, или даже при советской власти деревенская община могла самоуправляться. Всё это очень похоже на современную ситуацию в малом бизнесе – «главное, не мешайте, а мы уж проживём». Конечно, по нашим теперешним представлениям это лишь выживание или жалкое существование, но мера полноценности жизни есть категория внутренняя. Сам человек определяет, где и как ему хорошо. Не случайно, наверное, так много городских людей ищут умиротворения именно в деревне!

Что же представляет из себя крестьянин – наш современник? Или жителя села или деревни так называть уже не вполне правильно? Несмотря на почти поголовное стремление молодёжи уехать в город (ситуация практически аналогичная 20–30 годам прошлого столетия), в деревне всё-таки остаются крепкие хозяева, в основном средних лет и пенсионного возраста. Возделывают огород, держат домашний скот. Некоторые имеют один или несколько тракторов. Плотники организуются в бригады и рубят дома или починяют дачникам их строения,

прирубают веранды, сколачивают сараи. Имеют не шикарный, но добротный дом, растят детей. Работы по найму на селе мало – это учительство, медицина в районных центрах, администрация, пилорамы и магазины. Кто так работает или даже живёт на одну пенсию, тот коров, коз, овец, кур уже практически не держит. Одновременно с этим крестьяне практически не хотят заниматься земледелием в полупромышленных, фермерских масштабах. Подавляющее большинство продало свои земельные пай за бесценок, как горожане в 90-е годы прошлого века продали ваучеры. Часть людей, скупивших пай, толком не представляет, что с ними делать. Многие на этом неплохо заработали, успев до кризиса продать какую-то часть. Но далее дело встало.

На земле нужно работать, а иначе задушат налоги. Обрабатывать невыгодно экономически, за некоторым исключением. Под строительство и коттеджные посёлки продать – очень трудно, тем более в период торможения экономики. До 1917 года земельный вопрос был основным. «Дайте землю, мы сами прокормимся!» – говорили крестьяне. Теперь дают даром – работать не хотят. Но вернее будет сказать, что современные жители деревни стали умнее и расчётливее. В отношении экономической целесообразности создания фермерского хозяйства или единоличной обработки земли современный думающий опытный крестьянин уверен в убыточности этого предприятия. Он, загибая пальцы, перечислит, сколько техники надо, чтобы содержать хотя бы пяток коров, сколько это стоит. Также многие сопоставляют положение вещей во время советского строя и в нынешнее время. Те, с кем я говорил, отдают предпочтение советским временам, объясняя свою позицию существованием в совхозах мощной технической базы, засеянными полями и даже, что интересно, межличностными отношениями. Мне говорили, что в советское время была высокая взаимовыручка и добрые соседские отношения. Сейчас «все сидят по своим хатам, почти не общаются друг с другом». Восстановить советские совхозы, по мнению многих, сейчас нереально. Сравнения с царской Россией почти никто не делает.

Американский исследователь и преподаватель Джим Коллинз в своей книге «От хорошего к великому» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 г.) анализирует вопрос перехода просто хороших компаний на уровень великих. Коллинз закончил работу над книгой в 2001 году и с группой единомышленников посвятил этому проекту 5 лет напряжённой работы. Если я правильно понял данный труд, который стал деловым бестселлером, то автор уже не задумывается над примерами просто хорошо построенного бизнеса, дающего прибыль, полезного обществу, интересного. Коллинз решает задачу как превратить компанию из хорошей в великую и удержать её на этом уровне. Более того, он оперирует терминами «построенные навечно», «устойчивое величие». На мой взгляд, это некое философское осмысление бизнеса, придание ему кроме средства зарабатывания денег ещё множества функций и смыслов. Я немного касался этой темы ранее, но в плане несколько преувеличенного понимания лидерства в применении к рутинным функциям, чаще всего в продажах. В книге Коллинза, наоборот, простым понятным языком описывается кропотливый, интеллектуальный, созидательный труд корпоративного строительства. Рассказывается, в том числе, о деятельности руководства успешных компаний, которое и заложило основу современных бизнес-стратегий. Мы ещё не построили нормального бизнеса на уровне среднестатистических компаний (не имею в виду Сбербанк, Газпром, Норникель и другие гиганты, доставшиеся от СССР, дореволюционной России), а в США уже всюду пытаются строить корпорации, на веки вечные предназначенные для лидерства на планете. В США передовой бизнес был выстроен за пару сотен лет, в Европе за пару тысячелетий. Но традиции чтут и там и там. Историю бизнес-семей хранят, изучают, знания преумножают.

А у нас?

История не терпит сослагательного наклонения, но можно лишь предположить, во что превратились бы сейчас передовые дореволюционные усадьбы-хозяйства. И теория была бы, и преемственность, и наследование биз-

неса, и вовлечение крестьянина – постепенное, разумное превращение его в рабочего или единоличного хуторянина, а может быть, и предпринимателя (аналогия современному малому бизнесу, который всё строим, да никак не построим, а только хуже получается).

По моим наблюдениям, многие российские руководители бизнеса очень легко относятся к пунктам уставных документов, руководящих документов по предприятию, подписанных и разработанных, зачастую, ими же самими. Это проявляется не только в осмысленном нарушении этих пунктов для достижения выгоды при решении конкретных вопросов, но и в систематическом пренебрежении на мировоззренческом уровне. Подумаешь, мол, какая-то бумажка! Но с этой бумажкой ознакомлены работники, от которых сам же работодатель требует исполнения прописанных правил. И это ещё в том случае, если в действующем бизнесе прописаны внутренние документы и персонал ознакомлен с ними. Часто этот процесс вообще не проведён или остановлен на различных этапах. По-моему, это означает, что построение внутренней управленческой структуры, её документирование и эффективное использование не очень заботит современных российских руководителей. Или они не понимают важности этого процесса. Полагаю, что без построения эффективной внутренней управленческой структуры в каждом отдельном серьёзном бизнесе – говорить о возможности выдержать конкуренцию с западными компаниями бессмысленно.

Ещё очень важен, на мой взгляд, вопрос об отношениях наёмных работников с работодателем. Сейчас, по моим наблюдениям, зачастую это отношение либо чисто деловое – «я тебе труд, ты мне деньги», то есть без соработничества над какой-то близкой всем идеей, либо пренебрежительное – «успел урвать, возомнил себя хозяином, элитой, а сам не достоин, ничего не понимает, и вообще, а чем я хуже?», либо открыто негативное. Уважительное отношение к работодателю как к человеку или группе людей, дающих тебе возможность заработать на жизнь, – сравнительно редкое. А уважительное

и осмысленное (почему же тебе надо быть благодарным работодателю) встречается ещё реже. Причины, на мой взгляд, – мировоззренческие, личный эгоизм и самомнение, нежелание глубоко задумываться, а желание иметь всё, сейчас, сразу и без труда. Конечно, этому есть и объективные причины – перераспределение собственности после 1990 года, на взгляд многих, не честное. Личностные и профессиональные качества новых собственников и управленцев оставляют желать лучшего. Конечно, я не имею в виду всех поголовно и никого не сужу, лишь размышляю.

Ну а как было раньше? Как относился православный народ к своим правителям и начальникам? По имеющимся у меня данным, те, кто глубоко усвоил истины православия, – смиренно, с уважением, но без раболепства. Те, кто совсем не восприняли Христово учение, не поняли его или не приняли (но изучили и думали над ним), – сделали под руководством большевиков октябрьский переворот, а в феврале 1917 года были в числе предателей Родины, царя или просто в рядах карьеристов, не считающихся ни с чем для достижения своих целей. Неграмотные деревенские жители далеко не все верили в Бога, а тонкости богословия в большинстве своём, наверное, не знали вовсе. Как они исполняли молитвенное правило, изучали Евангелие, творения святых отцов, если не умели читать? Читали ли те, что были сколько-нибудь грамотны? Наверное, это вопрос более духовный, и следовало бы спросить об этом у священников, современников окормляемых ими крестьян. Но глубины веры доступны и безграмотному человеку, а многие высокообразованные ещё и высокоумны. Не возьмусь также и здесь настаивать и судить.

На уровне царя принимались основные законы. В усадьбе руководил помещик. Если он соблюдал закон, то в рамках этого закона волен был вводить и свои порядки, сообразуясь с конкретной ситуацией, климатом, уровнем развития региона и его особенностями. Эти решения вышестоящий руководитель или более родовитый дворянин отменить не мог, он также вынужден был

с этим считаться. В этом, на мой взгляд, и есть один из элементов свободы творчества в управлении. С отменой крепостного права появилась потребность решать похожие вопросы на уровне земства, задействовать уже выборные органы управления. Такие попытки активно предпринимались в 1905–1917 годах. Но то ли пришлось не ко времени, то ли были допущены управленческие просчёты – сметены вместе со всей старой системой в октябре 1917 года.

Так существует ли для России возможность построить свою, эффективную национальную систему управления и в государственном масштабе, и в рамках отдельных частных компаний, или мы обречены пользоваться только западными (американскими и европейскими) образцами? А может быть, лучше системы, чем демократическая (в американском понимании) сейчас не существует, или не может существовать вообще, и нечего изобретать велосипед? Мол, всё человечество движется в одну сторону, только разными темпами, с разными национальными особенностями, но придёт к одному. А что касается наших сегодняшних несовершенств, так надо просто исправлять недоработки и становиться лучше – и со временем войти в международный стандарт на правах равноправных цивилизованных членов под чутким руководством западных партнёров? Конечно, США великая страна, Европа имеет развитые общественные институты и культуру. Но и Россия имеет право и все основания на свой путь. Свой путь не в плане гипертрофированных амбиций, а в разрезе самостоятельных находок в государственном строительстве, в культуре, которые призваны не напугать, а обогатить мировую цивилизацию!

Думаю, что свою систему управления построить не только можно, но и нужно! Произойдёт это тогда, когда российский народ в большинстве своём осознает необходимость данного процесса. А необходимость данного процесса может осознать только патриот, причём информированный и образованный. Знает ли наш народ и каждый гражданин в отдельности историю страны, деревни, города, где родился и живёт? Изучает ли историю своей

семьи не поверхностно, а подробно, на несколько поколений назад? Думаем ли об этом, стремимся ли устранить пробелы в знаниях? Видим ли в этом смысл вообще? Если «нет» в подавляющем большинстве случаев, то как можно говорить о продолжении и осмыслении традиций в общем и в вопросах управления в частности? Действительно, только понимая значимость исторического опыта своей страны, уважая предков и сделанное ими, можно построить какую-то работающую, основывающуюся на преемственности поколений систему. Много безобразных и кровавых событий знает наша история, но много и значимых, величественных! Демократические принципы устройства общества известны с глубокой древности и не есть изобретение англосаксов. Они могут быть заложены в разные системы управления, в том числе и как основополагающие.

Допустимо вбирать лучшие достижения иностранных государств. Но нужно их адаптировать к России. А в самой России учитывать национальные особенности: верования, климат, уровень образованности, размеры страны и многое другое.

Необходим нелицемерный анализ истории на всех уровнях. От масштаба государственного строительства до изучения семейных архивов.

Законы должны быть понятны подавляющему большинству населения, а население должно знать их. Законов не нужно слишком много. Они не должны противоречить друг другу. Необходимо избегать запутанных, противоречащих друг другу формулировок, слишком жёстких санкций за незначительные правонарушения. При общей жёсткой, но не жестокой системе должна даваться и свобода выбора поведения, как общегражданского, так и при ведении бизнеса.

Думаю, что сам принцип организации территории в дореволюционной России был правильным и перспективным. Посмотрите на карту. И сейчас ещё осталось на нашей земле множество больших и малых деревень. Подавляющее большинство из них существует в условиях отсутствия работы (в современном городском понимании)

для немногочисленных жителей и асфальтовых дорог. Но выживают же люди и не уезжают пока поголовно! А если этим жителям немного улучшить условия, дать работу или надежду на её получение? Народонаселение может начать возрастать равномерно по всей России, будут рождаться уникальные, присущие именно этой территории способы занятости. Именно в этом ключевая роль поместья – в объединении нескольких деревень и сёл под одним началом.

Я, конечно, не призываю к возвращению крепостного права. Можно найти продуманное эффективное управленческое решение. А суть этого решения должна быть не в возрождении власти жадного необразованного собственника земли над проживающими на ней людьми, не в возрождении тотальной уравниловки пополам с глупостью, когда крестьянам в колхозах выставляли одинаковые планы по посадке и сбору урожая с одинаковых сельскохозяйств по всей огромной, отличающейся условиями климата стране. Это должно быть нечто иное, но уходящее корнями в российское прошлое. Сочетание принципов частной собственности, чёткого патриотичного управления, взаимного уважения и равенства перед законом. Тогда огромная территория России будет скреплена этими новыми усадьбами-поселениями, между которыми возникнут здоровые, естественные политико-экономические связи. А внутри укоренится здоровый климат доброго соседства и хозяйствования. Так как эти участки земли будут развиваться индивидуально, то возникнет многообразие хозяйственных и управленческих решений, их эффективность будет проверяться практикой, а люди будут чувствовать себя свободнее и достойнее. Такую Россию будет практически невозможно переформатировать извне и победить.

При любом строе (социалистический, демократический, монархический, тирания и даже анархия) существуют элиты. Любая система подразумевает прослойку членов общества, так или иначе осуществляющую управление. И, скорее всего, всегда в этой жизни у данной прослойки будет больше благ, привилегий и полномочий. Разница в

глубине общественного договора, в пропорциях материального и общественного неравенства и его последствиях для жизни обычных людей.

Существуют пророчества, что в России ещё будет царь! Много интересной информации на эту и другие относимые к судьбе России темы содержится в книге «Россия перед вторым пришествием. Пророчества русских святых» (Москва, Адрес-пресс, 2001). Если представить себе, что современная Россия ускорит духовное и экономическое развитие, разберётся со своей историей, разрешит противоречия с представителями русского зарубежья и подавляющее большинство воссозданного и объединённого народа почувствует в этом необходимость, будет молиться об этом, то почему бы и нет?! Наверное, это уже был бы не абсолютизм, а какая-то ограничивающая монарха форма с учётом современной образованности населения, развития правовых институтов, принимающая в расчёт необходимость разветвлённой системы управления, многогранность и сложность современного мира. Хотя в пророчествах часто имеется ввиду именно неограниченный монарх. Могла бы это быть какая-то новая династия или правопреемник Рюриковичей-Романовых? Монарх будет избран с учётом его заслуг, крови или как-то иначе? Например, появится неожиданно для всех, Божьим вмешательством.

Вопросы сложные. Когда и как это произойдёт – мнения также расходятся. Наверное, этого может и не случиться. На мой взгляд, основной причиной, которая может помешать скорому воцарению монарха (называются даже 2017–2018 годы), послужит неготовность народа принять самодержца. Вспомним, что царя народ не защитил в 1917–1918 годах. В советское время отношение к монархии было отрицательным. Последние 20–25 лет развитие шло сугубо в сторону культа личного успеха, обогащения. Потерпит ли человек, стремящийся к личному лидерству, расширению своих прав и независимости, самодержца? Но Богу возможно всё!

Так или иначе, к настоящему моменту Россия подошла демократической страной с республиканской формой

правления. Статья 3, часть 1 действующей Конституции России гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Поэтому мы, граждане, можем и, наверное, должны в рамках закона влиять на государственное строительство, изменять свою жизнь к лучшему, участвовать в построении системы управления. Многое можно изменить к лучшему уже сейчас и на государственном уровне, и в системе управления частными компаниями, для этого есть необходимые инструменты и возможности. Было бы желание и разумение!

Лирический портрет

Эдуард КОРКОТЯН

Реховот, Израиль

ПРОРЕЗАЛАСЬ ДУША, А С НЕЮ ДУХОТА...

Не красавица

Не красавица, а такая, от которой сходишь с ума
И становятся вероятнее сума и тюрьма.
И как потные пальцы, сдвигаются верстовые столбы
Если едешь «от», а если бы
Ехал «к», то их разнесли бы так,
Что, проехав все, не приблизился б и на шаг.

Не просто улыбаешься, а заискиваешь и молчишь.
Все слова теперь – ложь. Все нелишнее – только лишь
Взгляд, да и тот – опрокинувшийся бокал
Двух, ее отражающих, мутных, кривых зеркал.

Заставляешь себя подумать – и немедленно за
Это расплачивается какая-нибудь железа.
Мы по сути – вода, в том числе и любовь; сиречь
До появления слов секречия заменяла речь.
Все от этого: и расплывчатость слов, и то,
Что лучше проговаривать их невнятно, шепотом,
под куполом шапито.

Не красавица, но такая, от которой меняется вкус,
Как у красных индейцев от скромно мерцающих бус.

Да по мере того, как их нить все длинней и длинней
Остается все меньше веселых индейских парней.

Не красавица, а такая – что нет красоты!
И столбы раздвигаются вдоль бескрайности
каждой версты.

Просто лыбишься амальгамою мутных глаз

И на идише произносишь каких-то фраз,

Секретируя,

Выстреливая в ничто...

Как в тире

Под куполом шапито.

Вымениваешься

На кусочки стекла, на страз

И ленишься

Посмотреть, чей теперь Техас.

Лекция о любви

Медам, любовь не так проста,
как вышиванье гладью на
материи. Сложней холста,
вцепившегося в цвет. Она
разнокалиберней широт,
их линий уже и стройней;
и, так сказать, не речь, но рот
сравнится с ней.

И то, увы, не всякий раз,
а чтобы бархатный язык,
как первобытный водолаз,
из черноты его возник,
и – только вычурные па,
и лишь, медам, водоворот:
любовь орет, она глупа,
она орет.

Меж вышитых материков,
ночей, раскрашенных под день,

не такова, медам, любовь,
чтобы не отбросить эту тень.
Распродаваясь с молотка
срокам с хронометром у глаз,
она так, вечно, коротка,
как что-то в нас.

Иуда

Что угодно на свете тронь
И оно тебя опалит:
Хоть агонию, хоть огонь,
Хоть опаловый лазурит.
Не ищи его, не лови
Этот странный оскал вещей.
Откажись от своей любви,
Откажись от любви вообще!
Он сказал: «У любви нет касс,
Наш билет для отвода глаз».
Что поделаешь от утрат –
Только то, что приблизишь их.
Станешь падать – впадай в Евфрат:
Крик неполон, пока не стих.
Так, с безумных армянских скал
На халдейскую тишь, в арык
Бьёт сорвавшаяся тоска:
Стих неполон – пока не крик!
Он сказал: «Погоди, дружок,
Как бы ты нам тут всё не сжёг».
Ничего, ты шепчи в дыму,
А ответа нет – тишина;
Это значит – по одному
По тебе не заплачут. На:
Ничего – это всё, что есть.
И божемский хрусталик сух.
В пустоте, где гнедая взвесь,
Где звезда – подходящий сук.
Мошки. Мутный блеск серебра,
И луна на цепи, как бра.

Расстегни себе воротник.
Передвинь на носу очки,
Если есть. И к тебе приник
Душный вечер. Конец. Сверчки.
Думай, думай, что это – ложь,
Или правда на пядь, на треть,
Это так же как: «Ты умрёшь»,
Это так же как страх смотреть.
Натыкаться на всё зрачком
Будто падать на всё ничком.
Распечатывать на сетча-
Тке и снова сливать в трёхмер-
Ность, и звать в темноте врача.
Но является брат Люмьер.
Помечает, где верх, где низ,
Расширяет твои глаза.
Падай в черную эту высь.
Слушай, падая: он сказал:
«Ты прости их, прости ты их!»
И меня. И забудь про стих.

Музыка

Музыка шмыгала, тренькала,
ерзала, пританцовывала,
кушать просила: – Тетенька!
подайте музыке нецелованной,
музыке нелюбимой,
тайновыношенной,
битой в детстве крапивой,
пышной,
выученной затрещиной,
коновалом выхолощенной,
не мужчиной, не женщиной
на задворках выращенной,
музыке такой некрасивой,
что и дурак не выберет,
а живо
за шиворот вышвырнет.

Музыка пританцовывала
ободранными ступнями,
ей сельдь подвывала солоно,
и метро в оркестровой яме.
Скакала по мостовым, по булыжникам:
– Минуточку, не расходитесь, товарищи,
я буду котом вашим рыжим,
сдохну, как ваши варежки,
а вы меня простите, дуру,
и снова пустите в консерваторию,
с которой содрали культуру,
молью набив которую.
Так она, музыка, тренькала,
била в живот литавра,
нелепейшая, как енька,
нуднейшая, как подагра.
Так она рыскала, ерничала,
не застывала в металле,
рожи личиком корчила:
губы ее метались.
Не женственная и не мужественная,
Нужная, как картофелина,
трезвая муза Мусоргского,
гордая муза Прокофьева.

Пустыня

В пустыне, в пустоте, где нету ни черта,
Прорезалась душа, а с нею духота.
Спустился жаркий день, и стало негде сесть,
Ни тела – возлюбить, ни туши, чтобы съесть
В пустыне, у земли, на шорохе песка
Прорезались глаза – маслянистая тоска,
Шершавая свирель – слезящийся Арал,
По каменной щеке стекавший минерал.
Взмолился он тогда – оазис пустоты:
Здесь не было тебя и даже слова «ты»,
Вернись в небытие, опять не существуй,
Пыли отсюда, э... (словами ветра – дуй).

Но тень уже спала на выцветших шатрах,
И что она была – надежда или страх?
И чьи это шатры, когда успел их цвет
Впитаться в слово «да» (сойти на слово «нет»)?
Колючки и кусты глодающий верблюд,
Обеды и посты, служение и блуд.
В пустыне, где шатры – до снега и до гор,
И жили с той поры (до сих, точнее, пор).

Небольшая лекция о прошлом

У людей прошлого ничего не было,
кроме ржавой саблѐнки и кое-какой одежды,
цветов – в основном чѐрного или белого,
со временем становящихся чем-то между.

Люди прошлого часто думали, где поесть,
чем бы таким заняться и о своей саблѐнке.
Ну, и о чести. При этом честь
помещалась в недрах вражеской селезѐнки

или в паху дошутившегося приятеля.
И её, то есть честь, из сырой темницы
приходилось выуживать на дуэли,
у сортира его сиятельства,
в результате – упреть, уйти на войну, упиться,

наконец, испытать себя в стихосложении,
помянув отечество при подходящем дыме,
с мечтой умереть молодыми, в Италии, вроде Шелли,
быть продутыми в щели, и умереть молодыми.

Люди былого упражнялись в метании дротиков,
зачинали детей, прыгали вниз с балконов,
из их архаичных, непастеризованных ротиков
пахло мочой недобитых ими драконов.

Отправляясь в походы, они, как полезные вещи,
рухлядь рук закидывали за плечи;

писали свои письма, похожие тем на клещи,
что выдергивали слова из дубовых обрубков речи.

Люди тогда считали, мол, Спиритус Санктус – птица,
что пагубно отражалось на дичи (в числе и вкусе).
Не извлекать уроков! – вопила их ягодица.
История повторялась, не будучи часто в курсе,

что она – история. Персонажи баллад умирали;
мы дали стереться буквам, выгореть позолоте,
но если рубить породу где-нибудь в Зауралье,
то можно найти их души, примёрзшие к ней на взлёте.

Восток

Не надо вам ехать, почтенный, не надо.
Подумайте сами, придется спешить,
любое движение – в сторону ада,
обратно невысказано. Медленно жить –
последнее, что остается. Вам лучше
не брать за вожжи. Начало само
себе и ишак, и неверный попутчик:
предательский шаг, ятаган да бельмо.
Не стоит вам ехать, но если не в силах –
тогда поезжайте, держитесь в тени
домишек из глины, проулков унылых,
где ночи не знают, когда они дни.
Забудьте слова «как-то раз» и «однажды»,
иначе у времени будет к вам счет,
и, губы смочив, выражение жажды
оставьте лицу. А вода потечет –
сверните на сторону пыльного тракта,
пожертвуйте тени не меньше, чем треть
от прежней гордыни, которой и так-то
должно быть с глоток. И назад не смотреть!
Старайтесь не думать о том, что любили –
застраивает в губах, засвербит. А зане
нам есть что терять кроме тощей кобылы,
мы платим за право встречаться во сне.

Темнеет стремглав. Мгла стремится под чалым
поношенным пледом нащупать ваш пульс,
за горло схватить. Обнимитесь с кинжалом,
прикиньтесь землею, шепчите: вернусь.
Рассвет тут всегда с полувнятным укором,
и ссохся песок, ваших стоп не забыв.
Но дело не в этом: вы чиркните взором,
как чиркают спичкой о фосфор судьбы.
Вы вскинете брови по старой привычке
исследовать мир, ничего не страшась,
и ваши зрачки, две беспечные птички,
из клетки глазниц залетят в его пасть.
А кто перехватит случайный и синий,
слегка близорукий полет этих глаз,
уже и не важно. Конечно, вы – сильный,
но сколько таких приезжало до вас...
Смотрите, почтенный, из каменных трещин
ростки и трава, как зеленая прядь,
спадает на лбы прислонившихся женщин:
последнее, что вам дано потерять.

Вехи памяти

Вячеслав ФЕДОРОВ

«КТО КУДА? А МЫ К ОМОНУ!..»

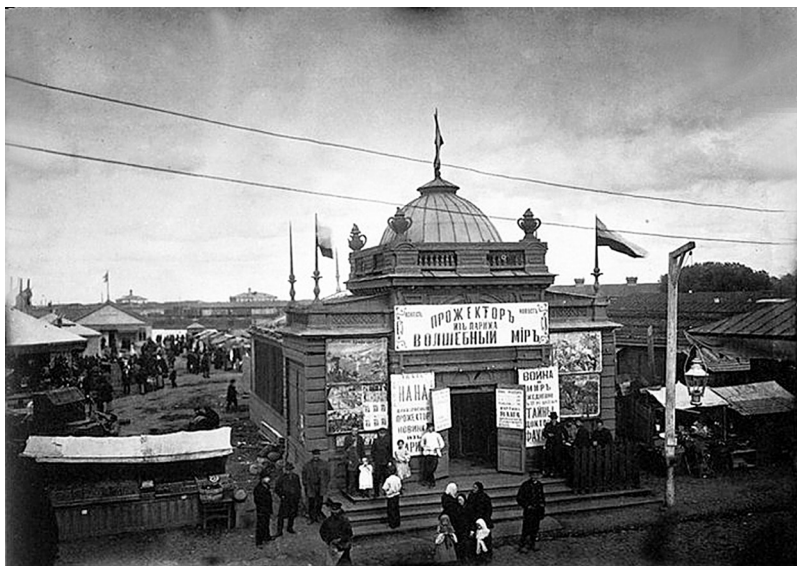
120 лет назад кино приехало в Нижний

Год, который мы проживаем, объявлен Годом кино. Как-то бы, какое мы имеем отношение к нему? От нас не зависит производство фильмов, мы не можем активно повлиять на их тематику, разве что побурчать про себя, что не то, мол, снимают и не так. Ну можно еще сходить в навороченный кинотеатр, поддержать кино материально, похрустеть попкорном, выйти оттуда задавленным многочисленными D-форматами и опять же недовольно пробрюзжать: «куда кинематограф идет, куда катится?» Но тут же понять, что без кино мы уже жить не можем. Это наша параллельная жизнь, за которой мы пристально следили и следим. В наших старых домашних фотоальбомах хранятся фотографии кумиров той жизни, которая теперь называется нашей молодостью. Фотки мы скупали в газетных киосках, копили, обменивались...

А сколько времени провели мы в очередях, чтобы сквозь маленькую амбразуру билетной кассы достать желанный синенький пропуск в кинозал, в этот волшебный мир неосязаемого искусства, которое стало для нас действительно самым массовым и самым наиважнейшим...

Кто не любит кино! В Нижнем Новгороде его начали любить 120 лет назад. Не проверяйте, дата точная. Это диво

появилось на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке, которая состоялась в Нижнем летом 1896 года. Нет, синематограф не был экспонатом выставки, хотя и мог быть как величайшее изобретение XIX века. Он был всего лишь ее довеском, привезенным в качестве развлечения. Причем сомнительным довеском, породившим многие споры.



«Волшебный фонарь» на ярмарочной Самокатской площади

Снимок Максима Петровича Дмитриева, который мы сейчас рассматриваем, сделан на Самокатской площади Нижегородской ярмарки позже 1896 года. Здесь уже «волшебный мир из Парижа», а попросту говоря синематограф, в полном своем наполнении: красочные рекламные плакаты по стенам и афиши. Если взять увеличительное стекло, то оно приблизит нас к этому «волшебству». Синематограф предлагает посмотреть индийский ковбойский фильм, а также картины для взрослых: «Нана», «Тайна доктора Фауста» и «Война и мир». Стоит обратить внимание на скользящую публику, что-то никто не рвется в «волшеб-

ный мир» ярмарочного павильона. Хотя, может быть, мы строги, просто не подошло время сеанса.

Название площади, на котором нашел свой приют «французский подарок», мы упомянули не случайно – Самокатская... На первый взгляд название безобидное. Самокат – это просто-напросто карусель. Но к ней придавался балаган, где «дед» с мочальной бородой сыпал частушками, а разрисованные шуты развлекали публику. С самокатов начиналась ярмарочная гульба...

Есть и другое толкование названия этой площади. Оно встретилось в одной из газет тех лет: «На Самокатах тогда действительно были самокаты: полы в трактирах были устроены так, что кружились со всеми гостями и арфистками (девицами легкого поведения – *Авт.*)». Надо сказать, что это была коварная выдумка: вино, водка, женщины, оглушительная музыка и гипнотизирующее круговращение – можно было очуметь.

С одной стороны к Самокатской площади прилежала толкучка, а с другой стороны – макарьевские кухни с дешевыми обедами для приказчиков и мелких чиновников. Воровской мир Самокатской площади мы упоминать не будем, для карманников здесь было раздолье.

Нам важно знать, какое место в те годы было отведено синематографу, не побоимся сказать, действительно величайшему изобретению XIX века.

Публику Нижнего можно смело считать родоначальницей первых российских кинозрителей.

Синематограф был молодым изобретением. Первый общедоступный сеанс в Париже состоялся 28 декабря 1895 года. Он проходил в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок, 14. Потом его изобретатели – братья Люмьер продают свое детище дельцам от развлекаловки, которые быстренько тиражируют его и вывозят в Англию, Германию, Италию.

В России уже в мае 1896 года «крутят фильму» в летнем саду «Аквариум» в Петербурге, причем, в антрактах оперетки «Альфред Паша в Париже».

«Санкт-Петербургские ведомости» так описывали это действо:

«Несмотря на довольно холодную погоду, сад и особенно театр были переполнены публикой. Можно сказать, что весь не разъехавшийся еще Петербург был здесь налицо. Для первого спектакля дали трехактовую оперетку...

Показанный перед третьим актом синематограф – люмьер (живая фотография) имел громадный успех. Представьте себе целый ряд эффектных движущихся картин. Тут и прибытие поезда, и комическая борьба клоунов, и игра в карты, и купание на берегу моря, причем зрителю представляется, что все это живые люди, а не фотографии на громадном экране...»

А в июне «синематограф Люмьера» – этот подарок с бульвара Капуцинок – жалует в Нижний Новгород на все-российские смотрины. Располагается он в кафешантане Шарля Омона – «Театр концерт-паризьен».

Реклама в газетах зазывала:

«Кто куда? А мы к Омону!»

Отдельно хочется рассказать об этом предприимчивом человеке.

Шарль Омон, он же Михаил Григорьевич Омон, он же Соломон, французский подданный. Предки его были выходцами из Голландии, а сам он жил в Алжире. Почему мы так подробно начали о нем рассказывать? Человек он был, по всей видимости, незаурядный, с авантюрными наклонностями. Антрепренер, держатель театров в Москве и С.-Петербурге. Можно догадаться, что это были за театры.

Как только появился синематограф, так он мертвой хваткой вцепился в него, понимая, что это барыши будущего. Никто бы и знать ничего не знал об этом Омоне, если бы не это новое изобретение. А сегодня в Интернете можно найти о нем справочные статьи. Правда, есть в них и не очень лицеприятные строчки.

Наш земляк, собиратель московского фольклора, Е.П. Иванов писал:

«У Шарля Омона, бывало, распорядитель-француз вечером всех, простите, девок, шаншионеток соберет и скажет: “Девушки, маймазель, сегодня требуйте стерлядь и осетрину от гостей, у нас пять пудов протухло!”»

Те и требуют. Потеха-с, честное слово, потеха-с! Люди хорошие по вечерам съезжались, а девки все тухлятину спрашивают (по цене-с!), поковыряют ее вилочкой и велят со стола убрать. Так мы всякую дрянь продавали у Омошки. Жулик первый был, русских дураков приезжал учить!»

А вот строчка из справки о Шарле Омоне, которая требует особого внимания: «На Нижегородской ярмарке показы проводил сам Александр Промิโอ».

Пока нам это имя ничего не говорит. Опять же обратимся к справочному материалу.

Александр Промิโอ – один из первых кинооператоров, работавших у братьев Люмьер. Как свидетельствует один из операторов, братья принимали их на работу с таким предупреждением: «Мы предлагаем вам занятие без всякого будущего – как профессия ярмарочного балаганщика. Вы будете заняты шесть месяцев или год, или того меньше...»

Промิโอ не был выписан из Франции в Нижний «Омошкой» специально в его кафешантан. Он попал в Россию своим путем.

В мае 1896 года для съемок церемонии коронации императора Николая II из Франции прибыли приглашенные кинооператоры. В фундаментальном каталоге «Кинопродукция братьев Люмьер», выпущенном во Франции к 100-летию кино, значится и имя Александра Промิโอ, включенного в бригаду «снимальщиков». Лента «Коронация», которая в итоге получилась, признана сообществом мировых кинокритиков как первый в киноистории фильм-репортаж.

Возможно, сопровождая российского императора в поездке на Всероссийскую выставку в Нижний Новгород, вместе с ним приехал и оператор Александр Промิโอ. К сожалению, документального свидетельства этому найти не удалось, но предположим, что это могло быть так.

Бойкий Шарль Омон был тут как тут. Александр Промิโอ его и уважил, согласившись покрутить фильмы в выставочном кафешантане «Театр концерт-паризьен», а заодно проверить по реакции зрителей, возможно ли у выбранной им профессии будущее.

Для Александра Промิโอ оказалось, что возможно.

Кстати, будущая звезда французского документального кинематографа мог крутить фильм, в съемках которого сам принимал участие – «Коронационные торжества».

В истории кино Франции Александр Промियो значится не только как оператор первых фильмов, но и как продюсер, режиссер-постановщик, словом, кинематографическая величина.

Почему бы и нам не вспомнить о нем и не записать в гостевую страницу летописи Нижнего Новгорода?

Надо сказать, что нижегородские газеты дружно промолчали о появлении на представительной выставке синематографа. Величайшее изобретение века не произвело ни на кого из репортеров особого впечатления. А может быть, они были просто осторожны, еще не осознавая значения увиденного. Так бы мы и остались по сей день в неведении о нем, если бы не приезжий репортер из Одессы Алексей Пешков. Он сознался в одном из писем: «Это лето дорого будет стоить мне и сильно отразится на мне как на художнике».

Но репортерский долг требовал... И он переступает порог кафешантана...

Будущий писатель в тот день и не знал, что он будет вписан в историю российского кинематографа как первый его критик.

В газетном отчете он описывает короткометражки, которые ему пришлось посмотреть – типовой набор из десятка лент по 16-17 метров, которым снабжался проектор Люмьера: «Прибытие поезда», «Политый поливальщик», «Выход с завода», «Кормление младенца»...

Причем, если первый фильм вызывал шок у публики, и она едва не выбегала из залы, боясь приближающегося поезда, то за издевательствами шкодливого пацаненка, наступавшего на шланг, в который потом заглядывал поливальщик, зрители наблюдали, давясь от смеха. Выход рабочих завода привлекал своими неожиданностями. Сидящей в зале публике то улыбались с экрана, то махали руками, то, остановившись, рабочие начинали публику

разглядывать, что-то говоря между собой. Это необычное общение зачаровывало.

И если публика откровенно развлекалась, то репортер Алексей Пешков, он же М. Racatus (под таким псевдонимом выходили в «Нижегородском листке» фельетоны Пешкова) был предельно серьезен. Он смешал идейное содержание фильмов «Выход с завода» и «Кормление младенца», и у него родились вот такие ассоциации:

«Она варит кофе на спиртовой лампе и с любовной улыбкой смотрит, как ее молодой красавец муж кормит с ложечки сына, – кормит и смеется смехом счастливец. За окном колышутся листья деревьев – бесшумно колышутся; “бебе” улыбается отцу всей своей толстой мордочкой, на всем лежит такой хороший задушевно простой тон.

И на эту картину смотрят женщины, лишённые счастья иметь мужа и детей, веселые женщины “от Омона”, возбуждающие удивление и зависть у порядочных дам своим умением одеваться и презрение, гадливое чувство своей профессией. Они смотрят и смеются... но весьма возможно, что сердце их щемит тоска. И, быть может, эта серая картина счастья, безмолвная картина жизни теней является для них тенью прошлого, тенью прошлых дум и грез о возможности такой же жизни, как эта, но жизни с ясным звучным смехом, жизни с красками. И, может быть, многие из них, глядя на эту картину, хотели бы плакать, но не могут и должны смеяться, ибо такая уж у них профессия печально-смешная».

Но это еще не полная беда. Горького тревожит, что вот перекочет синемаатограф с выставки на ярмарку и там начнется.

«Дадут, например, картину “Она раздевается”, или “Акулина, выходящая из ванны”, или “Она надевает чулки”. Можно также сфотографировать бой канавинского мужа со своей женой и дать публике под названием “Прелести семейной жизни”».

Как оказалось позже, опасения Алексея Максимовича уже запоздали, все образчики подобной продукции у Шарля Омона в заглашнике были, просто репортер попал на «детский» сеанс.

Возможно и питерский репортер «Недели» В. Дедлов не попал на вечерний сеанс с хмельной публикой, а потому писал, не размышляя о будущем новинки, без особого беспокойства:

«...Главная приманка – синематограф. За границей он известен уже больше года, но не вся же Россия была за границей. Этот действительно чудо.

На полотне в темной комнате перед вами проходят живые бытовые сцены: разыгрывают партию винта; наливают пиво в стаканы, и пиво пенится; в течение двух минут перед вами движется уличная толпа, едут экипажи, ребятишки ласкают собаку, собака зевает и чешется, прохожий знаком останавливает газетчика и покупает газету.

Две минуты кипит перед вами улица. И все это в естественную величину. Если бы эта живая фотография была не темная, а в красках, да еще с соответствующими звуками, можно было бы испугаться».

Испугаться – и не более, так воспринял кинематограф репортер северной столицы. О довеске к обязательному набору люмьеровских лент он тоже не догадывался. А вот в «Нижегородской почте» прослышали о фальсификациях киноантрепренера Шарля Омона и намекнули об этом в шуточном стихотворном приветствии от самих братьев Люмьеров:

Непобедимейшим героем
Пришлось на ярмарке мне стать...
Здесь бредят много все запоем,
Меня готовы растерзать...
И для господ антрепренеров
Теперь всего дороже я...
Причина я хороших сборов,
И я – доходная статья...
Но все же полон я печали...
Вот вам развязности пример:
Фальсифицировать вдруг стали
И тут и там меня...

Люмьер

Алексей Максимович продолжает рассуждать над судьбой синематографа: «научное значение которого для меня пока непонятно, послужит вкусам ярмарки и разврату ярмарочного люда».

Надо сказать, что взгляды Алексея Максимовича Горького были поддержаны серьезными нижегородскими мужиками, а мужики, проявляя большую инициативу, несколько раз пытались сжечь «вместилище дьявольской силы» Шарля Омона. Горький возненавидел успешного француза и называл его «бывшим конюхом генерала Буадеффра», хотя не то что жизненные пути-дороги, но и тропочки Шарля Омона и генерала генштаба Франции Рауля-Шарля Франсуа ле Мутон де Буадеффра никогда не пересекались.

Подтверждение правоты размышлений молодого репортера о будущем кинематографа можно найти в одном из отчетов Нижегородского попечительского совета о народной трезвости:

«Наиболее постоянным номером программы на ярмарке (один или два раза в день) была демонстрация синематографа. Картины его всегда возбуждали интерес хмельной публики, несмотря на однообразие и дороговизну. Лучшими, имевшими наибольший успех, были картины: война буров с англичанами, переход конницы через реку, игра в снежки и представление клоунов. Во время каждого представления воспроизводилась игра граммофона».

Историки российского кино утверждают, что репутация синематографа была подорвана на несколько десятков лет. Конечно, в этом «виноват» не только Горький, но и сами гастролеры-демонстраторы, привозившие всякую синематографическую ерунду. В итоге, большие доходы гастролеров складывались не из желания публики смотреть новую «фильму», а из тяги к диву, которое им было еще непонятно. Как же это все движется? Наиболее любопытные заглядывали за белую простыню экрана, ощупывали его, подглядывали, нет ли за экраном посторонних. Синематограф упорно хранил свою тайну.

Друг Алексея Максимовича Горького, который был моложе его всего лишь на два года, Владимир Ильич Ульянов, ставший Лениным, прагматичнее оценил ситуацию

и возвел кино в ранг важнейшего государственного искусства. Конечно, он прежде всего думал о документальном кино, которое может кинопередвижкой проникнуть в самые глухоманные места и показать, чем живет Россия.

Трудно сказать сейчас, по каким критериям Владимир Ильич определил светлое будущее документального кинематографа, но Алексей Максимович, возможно, согласился бы с ним, посмотрев уже созданные к тому времени ленты «Маневры эскадры в Черном море», «Сцены из кавказской жизни», «Производство консервов в Астрахани» и множество самых разнообразных сюжетов цикла «Живописная Россия».

Помнится, в начале 70-х годов прошлого века ломали сараи в самом начале Алексеевской улицы и чистили подвалы. Нас, молодых репортеров всех выходивших тогда газет, а их было всего три, вызвали наши редакторы и сообщили, что на Алексеевской что-то нашли любопытное. Дважды говорить репортерам было не принято...

Двор был порядочно замусорен, машины вывозили хлам и, поскольку редакция нашей молодежной газеты находилась недалеко от этого места, мне повезло быть там первым. На старом столе, завернутые в афиши, лежали несколько «блинов» скрученной киноплёнки. В первых мировых фильмах мы разбирались тогда мало, но, раскрутив один из «блинов», «Политого поливальщика» мы узнали. Плёнка была вся исцарапана песчинками, попавшими в детали кинопроектора. Какую «фильму» можно было рассмотреть на экране? Бросовая плёнка, но ее на всякий случай хранили. Другие «блины» были ничуть не лучше.

С трудом нам удалось узнать, что по адресу Алексеевская, 3 находилось помещение Всесословного клуба, в котором был небольшой зал кинематографа. Эти люди и оставили нам исторический подарок.

О значении кинематографа в нашей жизни мы говорить не будем. Об этом написаны миллионы страниц, читанных нами и нечитанных. Мы вновь обратимся к очерку молодого репортера Алексея Пешкова «Кинематограф Люмье-

ра». Что же говорил самый первый критик российского кинематографа:

«Страшно видеть это серое движение серых теней, безмолвных и бесшумных. Уж не намек ли это на жизнь будущего? Что бы это ни было – это расстраивает нервы. Этому изобретению, ввиду его поражающей оригинальности, можно безошибочно предречь широкое распространение. Настолько ли велика его продуктивность, чтоб сравняться с тратой нервной силы; возможно ли его полезное применение в такой мере, чтобы оно окупило то нервное напряжение, которое расходуется на это зрелище? Это важный вопрос, это тем более важный вопрос, что наши нервы все более и более треплются и слабеют, все более развинчиваются, все менее сильно реагируют на простые «впечатления бытия» и все острее жаждут новых, острых, необыденных, жгучих, странных впечатлений. Синематограф дает их, и нервы будут изощряться с одной стороны и тупеть с другой, в них будет все более развиваться жажда таких странных, фантастических впечатлений, какие дает он, и все менее будут они желать и уметь схватывать обыденные, простые впечатления жизни».

«Кабачком смерти» из Парижа назвал Алексей Пешков привезенный в Нижний Новгород синематограф. Над его определением сегодня можно размышлять, но можно и согласиться. Сколько страстей за век с небольшим отбушевало вокруг синематографа, ставшего просто «кином». Но кто бы тогда из сидящих в зале «Театра концерт-паризьен» поверил в пророческие слова выставочного репортера.

Сам изобретатель синематографа Луи Жан Люмьер (брат Огюст был ему лишь помощником – *Авт.*) разочаровался в своем изобретении и ушел из кинопроизводства в начале XX века. Искусствоведы считают, «что он испугался того демона, которого разбудил».

А «демон» перекочевал из выставочного ооновского «Театра концерт-паризьен» в Нижний на гору и скоро в городе появились кинотеатры «Палас» и «Бразильский». Их можно посетить и сейчас, зайдя в «Орленок» или «Рекорд».

Нижегородские фанаты кино, а это люди серьезные, ничего общего не имеющие с шумными и драчливыми

футбольными фанатами, ни от кого не скрывают, что за 120 лет Нижний Новгород стал одним из самых киногоеничных городов России. Сомневаться в этом они вам не дадут, выложив список из шести десятков фильмов, снимавшихся в Горьком и окрестностях. А кто их снимал – величайшие советские режиссеры, известные российские режиссеры, не очень известные современные режиссеры...

Известно даже, когда началось это кинонашествие на Нижний Новгород. Кстати, эта памятная дата прошла абсолютно незамеченной – 2014 год. В этом году можно было отметить вековой юбилей нашей киногоеничности.

В 1914 году приехавшая киноэкспедиция снимала на Оке фильм о покорении Сибири Ермаком. А из воспоминаний о съемках сохранился лишь один экстремальный эпизод. Видимо, тихая Ока вошла в роль и, возомнив себя бурным Иртышом, всерьез задумала погубить Ермака и затащила актера, исполнявшего роль атамана, в водоворот. Хорошо, что уже тогда появились первые зачарованные наблюдатели кинематографического процесса, которые порой доставляют лишние хлопоты всей киносъёмочной группе. Так вот, какой-то студент из этой группы не раздумывая бросился в воду и спас тонущего Ермака. «Фильма» была спасена и вскорости вышла на экраны. Но, увы, мы ее никогда не увидим, ни одна копия не уцелела. Зато все остальные фильмы, снятые в нашем городе и в живописных областных окрестностях, нам доступны и мы, скажем, заключив пари, можем их спокойноенько просмотреть, потратив на это несколько суток. А что, нам, фанатам кино, это стоит!

Николай ПАВЛОВ

Из цикла «ПЕРЕЛИЦОВКА НИЖНЕГО»

УЛИЦА ПИСКУНОВА

(Малая Печерская, Осыпная)

Эта улица в советское время была составлена из двух старых нижегородских – Малой Печерской и Осыпной. Осыпной называли улицу от Зеленского съезда до Варварки, прозвали ее так из-за разрушавшегося от времени земляного вала-осыпи. В новое время переименовалась Осыпная в улицу МОПРа. Международная организация помощи борцам революции (МОПР) была создана в 1922 году как дочерняя организация Коминтерна. Старания по вызволению борцов из тюрем, спасению от электрического стула, казались гражданам молодой республики делом, безусловно, благородным.

Конечно, МОПР, организационно подчинявшийся Коминтерну, способствовал и пропаганде коммунистических идей, и контактам с зарубежными компартиями, да и что греха таить, служил прикрытием для чекистов из тех отделов ВЧК – НКВД, которые занимались разведывательной и контрразведывательной работой. Для чего создавался Коминтерн и его подотделы МОПР, Профинтерн, Крестинтерн, Коминтерн молодежи (КИМ), рассказывал «Гимн Коминтерна»:

Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье!
На бой, пролетарий, за дело своё!
Огонь ленинизма наш путь освещает,
На штурм капитала весь мир поднимает!
Два класса столкнулись в последнем бою;
Наш лозунг – Всемирный Советский Союз!

Но к середине 30-х годов почти все руководители Коминтерна, а заодно и МОПРа и КИМа оказались контрреволюционными троцкистскими деятелями, а по совместительству шпионами и кровавыми наемниками немецких и англо-американских империалистов. Главный менеджер социализма начинает убирать Коминтерн с авансцены общественной жизни. Из штата Коминтерна в 492 человека было арестовано 100 работников, да 256 уволили (пока). Арестовывали не только советских сотрудников, но и поляков, финнов, немцев...

Фотография самого первого заседания Коминтерна в 1919 году: стол президиума, Ленин, стоя, пророчит мировую революцию, а рядом сидят его соратники и друзья Гуго Эбелейн, Густав Клингер и Фридрих Платтен. Отцы-основатели. Гуго Эбелейн расстрелян, Густав Клингер погиб в лагере. А Фридрих Платтен, друг и доверенное лицо вождя и учителя мирового пролетариата, «Дорогой Фриц», перевозивший Ленина в опломбированном вагоне, спасший жизнь Ильича от пули бандита – какова его судьба? После окончания срока заключения за контрреволюционную деятельность, конвоир вывел его за ворота концлагеря под Архангельском и пристрелил. По устному указанию начальника. Произошло это весной 1942 года, 22 апреля, в день рождения Ленина.

Улицы Коминтерна и КИМа и сегодня существуют в пролетарском Сормовском районе, а МОПР потерял свою актуальность: помогать борцам революции с 30-х годов надо было уже внутри одной, отдельно взятой страны, буква М лишней стала. Пришло время улицу переименовывать.

Слияние улиц Осыпной-МОПра и Малой Печерской, которая образовалась на месте засыпанного Коровьего взвоза, под одной фамилией Пискунова произошло в 1936 году, когда сам Александр Иванович уже давно покоемлся на 3-м участке Новодевичьего кладбища в Москве.

А.И. Пискунов, революционер, член первого Нижегородского комитета РСДРП, родился в Харькове, но семья вскоре переехала в Нижегородскую губернию и все свои молодые годы он провел в Нижнем, уезжая только на учебу. Окончив Казанский университет в 1900 году, Александр Иванович устроился на работу бухгалтером в городскую управу и в соответствии с общественным положением снял квартиру на первом этаже дома титулярного советника С.Я. Никлауса на углу Жуковской и Провиантской.

Квартиры в этом доме сдавались приличным людям: на втором этаже, в соседях у революционера, жил Василий Юльевич Виллуан, музыкант, педагог и руководитель местного отделения Русского музыкального общества. Соседу было не до революций – он детей музыке учил. Неподдалеку, на Мартыновской улице, снимал квартиру и набиравший известность пролетарский писатель М. Горький. Этот сосед как раз в это время сочинял «Песню о Буревестнике».

Ещё в Казани, оканчивая университет, Александр Иванович женился на фельдшерице Екатерине Ивановне Чачиной, и эта женитьба сыграла колоссальную роль в его жизни. Дело в том, что родная сестра жены, Ольга, к этому времени уже окончила своё профессиональное образование: ещё с Бестужевки она была близкой подругой Нади Крупской, была знакома и с Володиёвым Ульяновым, а в 1900 году отбывала ссылку в Уфе. Там она вновь и пересеклась с возвращающимися из Шушенского Ульяновыми. Ульянов, вместе с тогда ещё друзьями Мартовым и Потресовым, был одержим идеей создания общероссийской марксистской газеты, способной сплотить разрозненные марксистские кружки. Несмотря на запрет пребывания после ссылки в крупных городах, друзья собрались объехать как можно больше промышленных центров и подготовить в них базы для распространения этой газеты, да и вообще запрещенной литературы. Вот тогда Ольга Чачина и дала домашний адрес Пискуновых.

В начале марта Александр Иванович открыл дверь невысокому молодому, рано полысевшему незнакомцу. «Так как я его раньше не знал, никаких паролей у него не было, то я отнесся к нему сначала довольно недоверчиво, но потом, втянутый в беседу, стал излагать свои взгляды. Владимир же Ильич с большой силой обрушился на меня за их неправильность и непоследовательность. В результате полуторачасовой беседы я был сильно сбит со своих позиций». Позиции действительно были не ахти. Что мог тогда рассказать Александр Иванович, только что устроившись на работу, своему новому знакомому, истомившемуся по активной деятельности за три года ссылки? О каких-то отдельных связях с молодыми рабочими завода Курбатова, показать кое-какие листовки. И Пискунов показал свой труд, прокламацию для рабочих:

«Мы, товарищи рабочие, будем все дружно требовать, чтобы нам: 1. Выдавали заработную плату два раза в месяц... 2. Вывесили точные расценки... 3. В воскресные и праздничные дни не заставляли силой работать... Итак, будем же, товарищи, требовать дружно и спокойно законного, как требовали наши товарищи на других заводах».

Можно себе представить, как поиздевался будущий Ленин над «дружно и спокойно»! Он, рискуя быть вновь арестованным за нарушение режима, объезжает запрещенные к проживанию города, он создает «Искру», революция не за горами, а тут чтобы «спокойно» зарплату выдавали два раза в месяц! Да лучше только будет, если зарплату вообще не будут выдавать! «Окончательное обращение мое и моей жены было завершено этим же летом в Уфе, куда мы с женой уехали на лето и где мы через О.И. Чачину познакомились с Н.К. Ульяновой (Крупская); туда же приехал Владимир Ильич. Встреча с ними закончила наше идейное обращение и сделала нас их верными последователями на все последующее время. При этом была установлена и организационная связь с ними, которая сохранялась все время до высылки моей из Нижнего в 1904 году... Весьма возможно, что наши кустарнические усилия в дальнейшем ослабели бы, если бы не установилась эта связь с тов. Лениным».

Впоследствии, в начале 20-х годов, Александр Иванович бесхитростно вспоминал о своей революционной деятельности в 1900–1903 годах, о нижегородском комитете РСДРП, о его активистах Десницком, Позерне, Ладыжникове, Заломове, об организации демонстрации 1 мая 1902 года. Демонстрацию задумали еще зимой – уж очень хотелось «всколыхнуть рабочие массы», а заодно и интеллигенцию. Поэтому образовалось две манифестации – одна в Сормове, а другая в городе, у Кремля. «Наступило 1 мая. И в Сормове, и в городе состоялись демонстрации. В Сормове это вышло очень внушительно: демонстранты успели несколько раз пройти по улице с развернутым знаменем и пением при огромном стечении зрителей. Само ядро демонстрации было тоже довольно внушительное. Явившиеся казаки рассеяли демонстрантов, причем арестованы были Заломов, Самылин. Впечатление от демонстрации было очень сильное во всех слоях населения как в самом Сормове, так и в городе. Демонстрация в городе... была совершенно неудачна. Небольшие кучки молодых людей, главным образом интеллигентов, собрались на бульваре около крепостной стены, где они и были немедленно рассеяны полицией. Доброхотова и Моисеев были арестованы. Все так было незаметно, так скоро окончилось, что даже не привлекло внимания гуляющей на откосе обывательской публики. Таким образом, несколько молодых энергичных товарищей было вырвано из рядов без пользы для партии». Так виделось это событие А.И. Пискунову.

Но была и другая точка зрения. «Был обычный рабочий день (6 часов вечера). На улице собралась большая толпа, набралось около 2000 человек, кричали “Ура!” и свистели. Все смотрели на знаменосца (Петра Заломова). Он нес знамя с надписью “Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!”. Потом большая толпа манифестантов направилась к главным воротам завода и стала бить стекла в окнах канцелярии пристава и конторы завода, причем в канцелярии приставы были изорваны и выброшены на улицу все бумаги. Около 8 с половиной часов вечера прибыли (вызванные полицией) войска... и одна группа в 11 человек, окружающая знаменщика, задержана». Так до-

кладывал блюстителю порядка, исправник Балахнинского уезда, прокурору Нижегородского окружного суда. Флаги заранее приготовлены были Иваном Павловичем Ладыжниковым, а привезла их в Сормово Анна Кирилловна Заломова, названная М. Горьким Ниловной. Всего арестовано было по этому делу 34 человека, из них 28 предано суду, шестерых выслали на поселение в Сибирь. Повесть «Мать», романическое изображение демонстрации, сотворил А.М. Горький в 1906–1907 годах, в Италии, на солнечном острове Капри. И это была третья точка зрения.

Очередным главным делом комитета осенью 1902 года стало налаживание выпуска печатной продукции – из «Искры» надо было раздуть пламя. «Речи товарищей на суде должны были быть агитационного характера, чтобы через головы судей обращались к широким рабочим массам. Поэтому было совершенно необходимо их издать». Нужна была типография. И тут на помощь пришли Горький, который только что написал своего «Буревестника», и его тогда еще друг Ф. Шаляпин. С их помощью «поздней осенью удалось достать настоящую типографию, богато оборудованную шрифтом и необходимыми принадлежностями».

Об участии Шаляпина вспоминает его дочь Ирина, вспоминает (наверное, со слов отца), как артист передавал деньги для приобретения оборудования: «Однажды в Нижнем Новгороде А.М. Горький вместе с Я.М. Свердловым пришли к отцу на спектакль. За товарищем Свердловым была слежка. В театре находился сыщик. Первым его заметил отец. Он поспешил передать Горькому деньги для Я.М. Свердлова, затем пригласил к себе в артистическую уборную непрошеного соглядатая и, заняв разговором, отвлек его внимание; это дало возможность дорогим гостям отца незаметно покинуть театр».

Свердлову тогда было 17 лет, и он был одним из тех молодых людей, которые организовали демонстрацию у Кремля. Спустя сотню лет этот наив читается с улыбкой, но таких провинциальных деталей «революционной» деятельности при создании подпольной типографии было множество. Приобретенную типографию для начала спрятали на чердаке дома, где снимал квартиру член комитета

И.П. Ладыжников, потом перепрыгивали, закапывали в снег, увозили в психиатрическую колонию в Ляхово, пока наконец типография не стала подпольной – ее разместили в подвале мелочной лавочки на тогдашней Телячьей улице. «Условия работы были ужасны: типография помещалась в подполье, которое в одном месте было углублено настолько, чтобы можно было стоять. В середине углубления было оставлено земляное возвышение, служившее столом; на нем установлен был типографский станок. Яма эта была огорожена занавесками из кошмы, чтобы заглушить шум от станка. Маленькая керосиновая лампочка освещала эту своеобразную мастерскую». Прокламации, вырезки из газеты «Искра» размножали и снабжали ими пропагандистов. Пламя раздувалось.

Комитетчики начали подумывать о новом выступлении в мае 1903 года. И хотя почти все опытные деятельные члены организации к тому времени уже были арестованы, демонстрация, организованная Пискуновым, все же состоялась, хотя и при малом числе участников и зрителей. На этот раз полиция подготовилась лучше революционеров – в организацию уже были внедрены свои люди. Арестовали большую часть организации, дважды арестовывали по подозрению Пискунова, но все же выпускали, пока, на третий раз, предъявив обвинение в организации сормовской демонстрации, не посадили в острог. Первая организация РСДРП в Нижнем Новгороде была разгромлена. Но времена наступали смутно-предреволюционные, довольно либеральные, и «летом 1904 года нас выпустили, разослав до суда по разным городам; суда же, в конце концов, так и не было, и дело наше было прекращено». Александра Ивановича Пискунова выслали в Курск.

17 октября 1905 года Николай II неожиданно дарует народу гражданские свободы: неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов и призывает к созидательному труду для блага, мощи и счастья России. Не перевоспитавшийся в тюрьме и Курске, Пискунов возвращается в Нижний Новгород и, понимая гражданские свободы по-ленински, начинает работу по заготовке оружия для боевых дружин. Закупили, по его словам, дрянные «ле-

фоше» и «бульдоги» в магазине «Диана» на Осыпной, а по подложному требованию арзамасского жандармского управления купили на ярмарке 10 полицейских «смит-вессонов». Заготавливали и прятали взрывчатку, изготавливали самодельные бомбы. Центром общественной активности в условиях дарованной свободы стал Народный дом, сегодняшний театр оперы и балета имени Пушкина. Здание, построенное в основном на деньги губернского предводителя дворянства Нейдгардта, превратилось в «Гайд-парк» порусски, неутомимые ораторы митинговали без усталы днем и ночью. Приходили и представители Нижегородского Союза «Белое знамя», и тогда выбирали председателя и с белыми знаменами становились по правую руку, а с красными по левую. Порядок охраняли дружинники с «лефоше», «бульдогами» и «смит-вессонами». Члены нового комитета РСДРП Пискунов, Семашко, А.П. Невзорова стали известны не только полиции.

Агитация и пропаганда начала приносить плоды: в Сороме началась буря – рабочие вышли 12 декабря на баррикады, три дня множилось число убитых и раненых. В тот же день забастовали железнодорожники, рабочие заводов Курбатова и фирмы «Добров и Набгольц», к ним присоединились канавинские заводы. Захватившие здание Московского вокзала железнодорожники и большевики-дружинники начали стрелять. Заработали «лефоше» и «бульдоги», и на вокзальной площади появились первые убитые и раненые. Утром 15 декабря и власти отдали приказ стрелять. Хватило трех залпов из привезенных к вокзалу орудий. Этой же ночью, с 14-го на 15-е, полиция окружила здание Народного дома. Электричество отключили, публика в панике разбежалась, а в доме начался разгром. Стёкла выбили, в буфете, естественно, все выпили и не забыли закусить, в библиотеке книги вывалили из шкафов и затоптали, портреты писателей порвали. Но при этом нашли и семь заряженных бомб и большое количество взрывчатки. Праздник свободы кончился – А.И. Пискунов, Н.А. Семашко, А.П. Невзорова и иже с ними в очередной раз были арестованы.

Ремонт здания губернатор разрешил только весной, когда все более или менее успокоились, когда все трубы от

мороза лопнули, а комнаты шпана загадила до омерзения. Выпущенные после нескольких месяцев предварительного заключения под денежный залог руководители восстания перешли на нелегальное положение. Н. Семашко уехал в Швейцарию, А. Невзорова в Финляндию, а потом в Париж, А.И. Пискунов переехал в 1908 году в Москву.

Судьба первых нижегородских революционеров из первого состава комитета РСДРП сложилась по-разному. Иван Павлович Ладыжников, руководивший подпольной типографией, так и пошел по издательскому делу. Он стал не просто знакомым Алексея Максимовича Горького, который доставал деньги на типографское оборудование, но близким ему другом, издателем его произведений на родине и в Берлине, руководя с 1921 по 1930 годы акционерным обществом «Книга». После смерти Алексея Максимовича с 1937 по 1943 год был научным консультантом его архива. Скончался в 1945 году, в возрасте 69 лет.

Василий Алексеевич Десницкий, интеллектуал, талантливый литературовед, был профессором Петроградского университета с 1918 по 1946 год. Будучи активным членом РСДРП (первую партийную кличку он позаимствовал у Пискунова – стал Александром Ивановичем, а потом еще был Бородой, Лопатой, Строевым), большевиком стал только после февральской революции. Но Ленина активно не любил – когда тот вернулся из эмиграции, из партии вышел и до конца дней своих был беспартийным. Сотрудничал с Горьким в «Новой жизни», не приемля большевистских методов строительства социализма. В 1922 году оказался в списках пассажиров парохода, увозившего ненужных Советам умников, но кто-то его вычеркнул. Удивительно, но факт – не репрессировали. Умер 80-ти лет в 1958 году.

Позерн где только не работал с немецкой аккуратностью, а в 1937–38 годах прокурорствовал в Ленинграде, отправляя на эшафот своих бывших сотрудников, пока его самого не арестовали и в 1939 году не расстреляли. Петр Андреевич Заломов после бурных лет первой революции был направлен на поселение в маленький городок под Курском, где и прожил, не высываясь, до Отечественной войны. В 1941 году эвакуировался в тогдашний Горький, а остаток жизни

прожил в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище, на могиле памятник с эпитафией «Знаменосец первомайской демонстрации 1902 года, член КПСС, 1877 – 18.03.1955 г.». В КПСС, тогдашнюю ВКП (б), он вступил в 1925 году по рекомендации В.М. Молотова, удивившегося, что такой заслуженный революционер и не член партии!

Руководитель комитета РСДРП в революционном 1905 году врач городской больницы Н. Семашко после октябрьского переворота 1917 года стал народным комиссаром здравоохранения вплоть до 1930 года, а затем на разных должностях занимался проблемами гигиены. В 1922 году по поручению Ленина возглавил коллектив «честных, грамотных коммунистов», составлявших для Дзержинского характеристики интеллигентов – пассажиров «философского парохода». Возможно, он и вычеркнул Десницкого из списка.

Августа Павловна Невзорова работала у Семашко в Наркомздраве, создала в Москве первую детскую зубоврачебную амбулаторию. Умерла сравнительно молодой, 54 лет, в 1926 году. Ольга Ивановна Чачина уехала вместе с Пискуновыми в 1908 году в Москву и там сначала заведовала библиотекой имени Успенского, а потом библиотекой имени Гоголя. После революции подруга Надежда Константиновна Крупская пригласила ее работать в Наркомпрос, где она возглавила библиотечный отдел. Но, к сожалению, продолжалось это недолго – в 1919 году она умерла от холеры.

Александр Иванович Пискунов после Октября заведовал Московским отделом народного образования, уже тяжело больным работал в отделе социального обеспечения Московского Совета. В могилу свел его туберкулез. Твердый ленинец, родившись в 1870 году, умер в 1924-м...

Ярослав КАУРОВ

«Я РЕДКОСТНО СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК...»

Воспоминания о поэте Валентине Устинове

Удивительные встречи с Валентином Устиновым никогда не изгладятся из моей памяти. Даже в старости он оставался высок и красив. В зрелости был, наверное, несколько надменен. Но всегда увлечен, отрешен. И не по-земному снисходителен и добр. Он всегда говорил, что не разбирает ни чьих стихов, просто отмечает: нравятся, не нравятся. И всегда, по-детски, восхищался своими стихами. Это восхищение человека честного. Действительно, есть чем восхищаться, стихи гениальны, и он это знал и говорил об этом. Долгие, долгие вечера провели мы в Переделкине. Восхитительное место. Достойное повести.

Мы дружили. Он считал меня своим учеником. Написал короткое предисловие к моей последней книжке. Я горжусь этим. После его рассказов я довольно хорошо представляю его жизнь. Во всяком случае, мне так кажется. «Если бы ты знал, Слава, из какого дерьма я поднялся!» – говорил он. Я бы сказал, из ужаса. В войну, ту самую Великую Отечественную, он был беспризорником. Ходил по дорогам и не знал, что есть. Семейные вымирали от голода, а тут маленький мальчик, один.

«Мне всю жизнь снился кошмар! – начал он однажды рассказ. – Огромное синее, синее небо, солнце, и на небе три точки. После этого меня охватывал такой ужас,

что чаще всего я просыпался в холодном поту. И только сейчас, в старости, я понял, что это было. В детстве я на год с лишним потерял память. Очнулся через год от того, что в детдоме, какой-то парень, показавшийся мне тогда очень взрослым, раздавал мальчишкам куски селедки. Я был самым маленьким и, видимо, не надеялся ничего получить. А селедка тогда была желаннее всего на свете. Мы все были до боли, хронически голодны. И вот неожиданно получив ее в руки, со слезами на глазах я снова обрел память. Потерял же я ее в поезде. Нас с братом эвакуировали из Ленинграда, и наш поезд разбомбили. Только сейчас я понял, что точки на небе — это фашистские самолеты, приближавшиеся к поезду с детьми.

После я несколько раз обретал и терял детдом. Но кончилось тем, что юношей я уехал на юг в тепло и устроился на завод. Я был практически дистрофиком. Дефицит массы тела был огромный. Я очень уставал и не мог выполнить норму. Это отмечали и урезали мне зарплату. Есть становилось нечего. Так я попал в замкнутый круг. Я умирал.

Только сила воли спасла меня. Несмотря на недоедание, я начал заниматься спортом. Качаться. Пошел на греблю. И постепенно начал выполнять, а потом и перевыполнять норму. Появились деньги. Я окреп.

Немного войдя в возраст, я перебрался в Ленинград и увлекся комсомольской работой. Попал, как тогда говорили, в “номенклатуру”. Интересно, что к формированию комсомольских лидеров тогда подходили очень тщательно. Нас учили иностранному языку, танцам и приемам боевого самбо. Все это было очень увлекательно. Однако через некоторое время единственной моей целью и любовью стала поэзия. Не желая превращаться в чиновника, я собрал вещи и уехал на север, это был единственный способ выйти из комсомольской игры. На севере стал печататься в местных изданиях и потом, уже довольно известным, рванул в Москву».

Как-то Валентин Алексеевич рассказал мне трогательную историю, которая очень точно характеризует его. Он

отдыхал на юге и писал поэму. Увлеченность была такая, что он все время ходил словно в забытьи.

И однажды ему встретилась девушка. Своей искренностью, чистотой, красотой юности она тронула его сердце. Он влюбился. Через многие годы он вспоминал это чувство с восторгом. Им было хорошо вместе, но любовными их отношения не стали. Я, естественно, спросил: почему так произошло. И он ответил очень неожиданно: «Ты знаешь, я ведь писал поэму, и я боялся, что любовь помешает поэзии».

Поднимая тост, Валентин Алексеевич всегда говорил: «За наше счастье! За то, что мы занимаемся самым важным делом на земле – СЛОВОМ!»

А сколько рассказов было об известных поэтах, о троице друзей – Ярославе Смелякове, Павле Васильеве и Борисе Корнилове, о Михалкове, Пастернаке, Ахмадулиной.

Милым был его рассказ о жене: «Она ведь в сущности робкая, трусиха. Помню, она должна была сдавать экзамен в институт. Знала всё хорошо, но боялась. Я пошёл на экзамен вместе с ней. Зашёл перед ней в зал к приемной комиссии и, не представляясь, строго сказал: “Сейчас к вам зайдет девушка, она все выучила, вы ее подробно спросите и поставите ей пять”, – и вышел. Потом из комиссии открывалась дверь и сквозь щель члены комиссии смотрели на меня. Не ушел? А я стоял у окна. Она получила пятерку».

В 2015 году я даже несколько дней жил на его даче. Между нами завязывались долгие ночные разговоры. Один такой разговор был записан мной на диктофон.

Я тогда начал читать свои стихи, напечатанные в журнале «Москва».

– Слушай, ты меня просто радуешь сегодня, – заговорил Устинов. – Или я соскучился по стихам. Надо же. Как интересно движется русская поэзия. Это ж ведь стихи, которые ты прочитал. Они сакраментальные. Понимаешь? В них таится... В них таится всё сокровенное о русской земле и русской душе. Вот ведь в чем все дело-то.

– С кем вы дружили? – спросил я Валентина Алексеевича.
 – «И бросало меня по свету белому от Амура до Туркестана...» Мне очень нравится этот монолог Сухова. Нет, у меня друзья были. Были хорошие друзья, с которыми я не как с поэтами составлял единую коалицию, а те, с кем можно было посидеть за столом. С кем я очень дружил – с замечательным талантливым человеком, с Владимиром Башутовым с Алтая. Это один из лучших лириков в России в это время. Очень дружил с Виктором Горном. Это литературовед, он был заведующим кафедрой в Барнаульском университете. Витя Горн, он немец. И он уехал в Германию, я однажды в Германии его встретил. Он плакал и говорил: «Валь! Если б ты знал, как я здесь тоскую!»

А этот, как его, рыжий, а Сашка Родионов! Я с ним много встречался, дружил.

В поэзии был только один, кто со мной вечно спорил, Юрка Кузнецов. Вот он все время пытался доказать всем и мне тоже, что он – первый поэт России. А я и не возражал. Будь первым, мне-то что! Я в то время писал своё «Пятикнижие», а это огромный труд.

– А вы встречались? Выпивали?

– А как же ж! Все было у нас, было много веселого и озорного, и так далее. Помню Мишу Вишнякова из Читы.

– А что было веселого?

– Шутили. Читали. Вот такие отрывки, как ты про Тёркина. Дружил я еще с «националами». Весёлые были ребята. Балкарский талантливейший поэт, из Кабардино-Балкарии, Кулиев. Расул Гамзатов.

– А правду говорят, что Расул Гамзатов – это в основном заслуга переводчиков?

– Да есть переводчики, но это выдумка самих переводчиков. Он был талантливым человеком.

– Его ведь Роберт Рождественский переводил?

– Мало ли кого я сам переводил. Я многих из них переводил. Зарабатывать-то надо было.

– А какие-то смешные случаи помните?

– Помню, почему же. Они были более озорными, чем в наше время. Я прихожу к Михаилу Дудину. У меня к нему

дело, мне надо жену прописать в Ленинграде. А Дудин так рад меня видеть, он наливает по полрюмочки и говорит: «Ну, давай по полрюмочки! Помогает!» – «В чем помогает?» – спрашиваю. «В том, в чём надо!» – говорит. А встретились мы в Ленинграде недалеко от Петропавловской крепости. Он же депутатом был, Героем Труда. И Дудин смеётся и читает:

Михаил Александрович Шолохов
Для нормальных читателей труден,
И поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.

И Дудину же принадлежит эта хохма, он рассказывал: «Расул Гамзатов не умел пить. Он напивался очень сильно и начинал приставать к женщинам. Однажды, мы тогда приехали на какое-то мероприятие в Москве в гостинице “Москва”. Выпили. Потом он (Расул Гамзатов) в гостинице “Москва” и заснул...» Утром вдруг стук в дверь. Открывает дверь, а там Дудин. Дудин говорит: «Расул! Тебе от поэтессы телеграмма пришла». Расул опомниться еще не может: «Какая телеграмма? Какая поэтесса?» А вот, говорит, текст, и достает телеграмму:

Я Гамзатова Расула
И раздела и разула.
Почему ж меня Расул
Не раздел и не разул?

Фазу Алиева

Он взял эту телеграмму, бычьими глазами посмотрел на неё и сказал:

«Почему, почему, да пьян был, почему же еще».

– А Фазу Алиевой там и вообще не было?

– Нет. Фазу Алиева была очень скромная женщина. И не было её там. Я это тебе к тому рассказываю, что люди весело жили, военное и старшее поколение.

* * *

Много Устинов рассказывал о своей родине речке Луге, селе Вольная Горка, Змеиных болотах.

— Когда мне были считанные годки, мы в этой речке Луге, в озерах, где она питалась, занимались рыбалкой, ловили щук... А когда ее прорезали, рыба там осталась, но это было уже не то. Там велись торфоразработки, специальная машина была, она резала торф на куски, а люди собирали и складывали эти куски в горы.

Как-то Валентин Алексеевич сказал:

— Я понял, ты просто хочешь меня запомнить.

— Да, мне интересны ваши впечатления, воспоминания.

— А я их все записал в стихах, поэмах. Я ведь редкостно счастливый человек. Я ведь не просто пописывал стишки. Вот ты меня сегодня обрадовал твоими новыми стихами. Я ведь перекасти-поле. Человек, не имевший ни дома, ни пристанища... Я тебе коротко расскажу, а потом, может быть, и поподробнее. Я не помню, в который это было приезд. В Вольную Горку я ездил всегда в августе в отпуск к бабушке. Других людей у меня не было. А добираться до Вольной Горки (там как раз начались торфоразработки) из Ленинграда и не далеко, и в то же время сложно. Нужно было сначала доехать до станции Рогавки. В Рогавке надо было дожидаться мотовоза — ну, узкоколейка такая. И на этом мотовозе ехать до Тёсов-2. Приезжал я туда где-то глубокой ночью. Август, ночь. От Тёсова-2 до Вольной Горки надо было шлепать семь километров. 12 часов ночи. И вот помню, шел я мимо Тёсов-2, мимо Мокриц, мимо Лужского, мимо Могил (ударение на «о»). А Могилы — это молодое кладбище было. И вдруг натыкаюсь — поперек дороги идет черная большая кошка. Красавица, остановилась посреди дороги, лапу подняла, смотрит на меня и ухмыляется. И думает, а что же я тут буду делать? И вдруг понимает: да ничего я не буду делать. Если я убегу, поверну сейчас, то я никогда этого не забуду, да и мне не простится. И вот кошка стоит, поднявши лапку, и я стою. И она убежала. А я пошел. Пришел я к тете Клаве, переночевал, а утром мы встали рано, она по хозяйству, а я

расположился повесть писать. И вдруг приходит цыганка. И тётя говорит: «А ведь она к тебе пришла, цыганка-то». Ну, она, правда, три рубля цыганке дала. А цыганка входит и говорит: «Барон у вас тут просыпается и работает». Ну, жадничать тётя не стала. А потом мне и говорит: «А ты знаешь, они на тебя глаз положили как на цыганского барона».

– Наверное, цыганка этой кошкой и была?

– Я думаю, что нет. Я много об этом думал. Дело в том, что она тёткой Марьей была послана, цыганка эта. Она не была оборотнем. Оборотнем если и была, так это тётка Марья. Мне потом тётя Клава рассказывала. Она неохотно делилась этими знаниями. Её тетка Марья соблазняла занять её пост. В общем, это любопытные вещи. Я все хочу это все записать. Да нет, это была не цыганка, это была тётка Марья. Цыганских баронов у меня в роду не было. А вот дед Василий был настоящий барон.

– А как фамилия его была?

– Михельсон. Потомок того, что разбил Пугачёва. Иван Иванович Михельсон дал 20 сражений за тридцать дней и расколотил Пугачёвское восстание. Все это надо записать. Я потом узнал, тетка Марья целительницей была. К ней приезжали со всей России. Я думаю, если бы она была жива, она бы вылечила меня в один момент. Потому что я помню улыбку этой киски на кладбище, это доброта, ум и добросердечие.

– Так тетка Марья на тот момент была жива?

– Да. Да. Вырос то я и воспитался в волшебных местах.

– А какое родство с Михельсоном? Это по отцу?

– Нет, по маме. Я не знаю этих вещей точно... Я ездил с младшим братом моей матери на Черемнецкие озера. Там же ведь монастырь. Это все связано с моими предками. Я помню, мы сидим в избе, и хозяин избы, оказывается, помнит рассказы о моём деде Василии. Оказывается, мой дед Василий Михельсон был сексуальным маньяком. Тут все села, все окрестности принадлежали ему. Он имел два георгиевских креста, был полковником кавалерии, участвовал в Брусиловском прорыве. Он пол-Луги нагнал пленных австрийцев. И это все помнили. Пленные австрийцы

и венгры пытались соблазнить местных женщин, а местные ребята с ними дрались. Там похоронена моя мать Валентина Васильевна. Я очень хотел в этом году поехать туда к ней, но к сожалению...

В то лето Устинов незадолго до моего приезда из-за постоянных головокружений упал и сломал себе ребра. Я, пока жил в Переделкине, старался ему помогать. Никогда не забудутся эти ночные разговоры. Ночное небо Переделкина.

Имена

Федор СУХОВ

МНЕ ИНАЯ ОТКРЫЛАСЬ ДОРОГА...

Русский поэт и писатель Фёдор Григорьевич Сухов родился в 1922 году, в старообрядческой семье, в селе Красный Осёлок Лысковского района Нижегородской области. В 1941 году был мобилизован, прошел ускоренный курс обучения в Ташкентском пехотном училище, по окончании которого в 1942 году был отправлен на фронт командиром взвода в звании младшего лейтенанта. В 1943 году был участником знаменитого сражения на Курской дуге, командуя противотанковым взводом. С боями прошел всю Белоруссию, Польшу, Победу встретил в Германии в звании старшего лейтенанта. Был трижды ранен, награжден орденом Красной звезды и Отечественной войны II-й степени, медалью «За отвагу». После демобилизации в 1946 году работал в родном колхозе в селе Красный Осёлок, затем переехал в Горький, где заведовал передвижной библиотекой. Поступил в Литературный институт имени М. Горького, окончив его в 1954 году, работал в газете «Сталинградская правда». В 1957 году был принят в Союз писателей СССР, после чего полностью посвятил себя литературному труду. В 1973 году вернулся в Горький.

Начиная с 60-х годов регулярно отправлялся в пеший поход по своим боевым местам, чтобы собрать материал для своих записок о Великой Отечественной войне, результатом которых стала книга «Хождение по своим ранам», впоследствии переработанная в «Ивницу». Сочинения Фёдора Сухова публиковались в союзных

литературных журналах, сборниках и антологиях. При жизни поэта было издано 25 его стихотворных книг.

Фёдор Григорьевич Сухов скончался 5 января 1992 года. Отпевали его в Нижнем Новгороде, в Высоковской церкви. Похоронен на родине, в селе Красный Осёлок, под горой у Волги на старобрядческом кладбище.

Каурые лебеди

Говорят: тополиным, а я говорю – лебединым,
И не пухом – дыханьем опять прикоснулся ко мне
Тот июнь, что когда-то берёзам моим и рябинам
Возвестил о вступившей на русскую землю войне.
Сразу сникли берёзы мои и рябины. И сразу
Потемнела река, схолодела до самого дна...
А потом был объявлен приказ. И согласно приказу
Даже конские души и те обратала война.
Эх вы, кони, кони,
Нет, не кони – Звери.
Нет, не звери – Змеи...
Кони уходили на войну,
Покидали кони
В озере – взошедшую луну,
Свет зари – в затоне.
А в реке широкой – облака
Покидали кони.

Тычась в берег, пряталась река
В ивовые корни,
В омуты бежала от войны,
В заводи бежала
И старалась побыстрее войти
В ивовую заросль.
Ну а кони, кони,
В красные вагоны
Погружались кони.
Чуяли каурые, чуяли соловые
Тёплую живую пролитую кровь,
И страшились стука собственных подков.

А когда приблизились плотней
К боевому стану,
Вывели коней
На поляну.
И топтались кони на поляне
Возле сосен,
Кто-то не во сне, а въяве
Сенокосил.

И тогда-то слышался то ль комариный,
То ль иной нарастающий ноющий гуд.
Не травой подкошенной – спелой малиной
Всё-то, всё медовело, дышало вокруг.
Даже сосны своей медовели живицей,
Вдруг на лапах сосны
Чёрной тенью повис он,
Дьявол войны.
Каурые, соловые
И не кони – лебеди
Хотели спрятать головы,
А куда? Не ведали.
И сложили, бедные,
Головы свои.
Не пришли с победою
Лебеди с войны.
Только лебединый
Возвратился дух.

Так-то, мой единый,
Мой окопный друг!..

1972

* * *

Все-то дни и все-то, все-то ночи
Пропадал я на передовой.
Фронтowej страды чернорабочий,
Каторжник с отпетой головой.

Три кромешных, сумасшедших года
Убивали голову мою.
Залегла поблизости пехота,
Я у пушечки своей стою.
У своей стою сорокапятки
В кирзовых тяжёлых сапогах,
С огневой не ухожу площадки,
В отдалённый не бегу овраг.
А они всё ближе, ближе, ближе,
А они вошли на высоту...
Устоять бы только, только б выжить,
Удержаться в яблонном саду!
Как бело располыхался этот
Молодой мой, неубитый сад!
От его воспрянувшего света
Близкий мрак попятился назад.
Отступилась чёрная погибель,
Убралась с убитой высоты.
Яблонь розовеющая кипень —
Как улыбка вечной красоты.
Как земли ликующей убранство,
Как её освобожденный вздох,
Чуткого врачующего пальца
На сердце упавший лепесток.

1975

«Да будет свет!» – сказал Господь...

«Да будет свет!» – сказал Господь,
Свет разлился над всей землёю,
Обрёл ликующую плоть,
Пурпурной просиял зарёю.
Явил небесную лазурь,
Лазурью одарил озера.
Он виноградную лозу
Упас от пагубного взора.
От жадных уберёг очей,
Не узрят дня лихие очи...

Во мраке потайных ночей
Сова зловещая хохочет.
В кромешной тьме таится зло,
Добро – всегда на свет выходит,
Оно прозябло, проросло,
Как злак в укромном огороде.
Во храмине святой любви
Слезится кроткая лампада.
Слышней ликуют воробьи
На стогах солнечного града.
Взыскуемый открылся град,
Прибежище добра и света,
Где вечно зреет виноград,
Среди зимы блистает лето.
Как иней стекленеет зной,
Как изморось – роса на травах.
Воркующей голубизной
Цветёт целебная отрава.
Горчит полынью солончак,
Грустит усохшею рекою,
В овечьих светится очах
Библейской ласковой тоскою.

26 июня 1990 г. , Сирия, Латакия

Где-то рядом земля Ханаана...

Где-то рядом земля Ханаана,
И Арама добреет земля...
Может, поздно, а может быть, рано
Озаренье нашло на меня.
Вдалеке от родного порога,
От российских берез вдалеке
Мне иная открылась дорога,
Я к иной устремляюсь реке.
Я иной освежаюсь прохладой,
Сам себя укрываю в тени...
Да не знают ни жажды, ни глада
Тяжким зноем сморённые дни!

Пастухи аравийской пустыни
Упасутся от чёрной беды,
Воссияет небесный гостинец –
Капля с неба сошедшей звезды.
Обернётся в росу, осчастливит,
Увлажнит эта капля уста.
В неоглядном песчаном разливе
Есть своя басота, красота.
Даже горечь усохшей полыни
Услаждает дыханье земли.
И никто-то, никто не повинен,
Коль тоскуют мои журавли.
Знают – рядом земля Ханаана
Своего превозносит царя,
Потому-то как давняя рана
Восходящая рдеет заря.

27 июня 1990 г. , Сирия, Латакия

Далекое — близкое

Николай МОРОХИН

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

Абсолютно необычная книга вышла в Арзамасе.

Два учёных-гуманитария Юрий Курдин и Алексей Исаков собрали в весомый пятисотстраничный том «Свидание с юностью» всё, что было написано местным поэтом Вячеславом Васильевым и многое из того, что связано с ним: письма, рецензии, дневниковые записи литераторов-арзамасцев.

Вячеслав Васильев — имя, знакомое сегодня, разумеется, не всем, кому интересна нижегородская поэзия. Родился в 1937 году. Некоторое время работал журналистом в районных газетах, затем — оператором в котельной. Стихи его вышли в Горьком в двух нетолстых сборниках «Обращение к земле» (1976) и «Родник под берёзами» (1981). Ещё они увидели свет в альманахах и коллективных сборниках, но больше — на страницах газет в Арзамасе, Перевозе, Дальнем Константинове, на Ваду. Ещё в них печатались рассказы. Васильева не стало больше двух десятилетий назад — в 1994 году.

Обычно за такое время человек, не запечатлевший себя как серьёзная фигура в литературе, успевает потихоньку уйти из читательской памяти. Собственно потому и рецензию эту потребовалось начать с того, чтобы представить Вячеслава Васильева. Но составители — люди помнящие

его, решили, что об арзамасском поэте должна остаться не просто настоящая прочная память. Они решили сделать то, что совершенно по справедливости назвали «собранием сочинений». Это, по их собственному признанию, «отчаянная попытка собрать наследие поэта воедино». А ведь мы понимаем: «собрание» – по сути, удел классиков.

Подняты были подшивки всех газет, где он мог печататься, архивы его родных и знакомых. И подготовлены к печати все – я ещё раз хочу повторить это слово – все! – публикации с точным указанием дат, найденные рукописи. Причём там, где стихотворение печаталось несколько раз и возникали разночтения то ли в силу того, что автор продолжал над ним работать, то ли по воле редакции, – там приводится каждый вариант.

Пересказывать стихи или вырывать из контекста строки, фразы, образы – грешно. Потому что мы невольно навязываем читателю уже этим самым наше восприятие, наше понимание текстов.

Стихи Вячеслава Васильева кажутся иной раз незамысловатыми. Легко понять то, о чём он писал. Во всяком случае, человеку, который принадлежит нижегородской земле и помнит, как она жила как минимум три-четыре десятилетия назад. Как выглядели наши сёла и дороги, что снова и снова являлось в памяти людям старших поколений, какие идеи носились в воздухе. Наконец – о чём полагалось писать в районной прессе и какие материи предлагалось понять молодым литераторам на семинарах, чтобы их печатали.

Васильев не был в числе тех, кто поражал читателя необыкновенной яркой образностью, отточенностью формы. Его стихи начисто лишены того подтекста, в котором мы прочитали бы протест против чего-то, тревогу о том, что в обществе назревает беда. А ведь трагедия крушения великой страны неотвратимо приближалась, и многие уже слышали не только дальние громы, но и сухой треск электричества молний. И замирали от предчувствий. Или, наоборот, звали эту грозу, надеясь, что она очистит мир.

Грех упрекать поэта, а особенно потом, подводя итоги его жизни: он что-то не увидел, не понял векторы, боль

времени, не смог предчувствовать, не сумел потрясти, ломая затёртые формы. Но мы должны понимать: есть такие поэты, которым после захочется поклониться именно за то, что они поняли, смогли, сумели.

И Вячеслав Васильев к ним не относится.

Но у него есть то, ради чего «Свидание с юностью» стоит читать. По-настоящему потрясающей силы он смог достичь в очерках о своём военном детстве. Арзамас, хлебные карточки, бабушка, балующая внука лишним ржаным куском, рынок, на котором орудуют не имеющие жалости к землякам мошенники, школа, речка, первые и самые любимые книги.

Погружаясь в стихи Васильева, видишь то, что заставляло его снова и снова возвращаться к себе. Это совершенно разномасштабные образы, вероятно, некоторые из них – мучительные для автора. Вот воспоминание детства: по улицам Арзамаса уходят на фронт солдаты. И где-то среди них его отец, который обещал прийти назад, но не вернулся. Это почтальон, несущий письма. Кто-то застынет, развернув листок бумаги, от страшной новости. Кому-то будет сказано: «Вам пишут» – и это значит, нет сегодня письма. Это птицы – у кормушки, воробей, залетевший погреться в котельную. Это усталый от старого районного бездорожья шофёр. Поезд. Люди, занятые обычно очень простой работой. Или вдруг затосковавшие по ней. И совершенно бесконечные, под стать нашим просторам, картины природы: берёзы, речки, цветы, пчёлы, родники... «По-человечески можно понять Васильева, хочется рассказать людям о дорогих ему вехах собственной жизни», – сдержанно писал о его стихах Юрий Адрианов, рецензируя первый сборник и обозначая надежду, что книжка эта «не останется заявкой на право быть поэтом», а станет началом пути.

На страницах книги – целые поэтические репортажи. Рассказы в стихах о том, как живет Арзамасская дистанция сигнализации и связи на железной дороге, как идёт августовская страда в деревне, как едет куда-то провинциальная концертная бригада.

Скучно, прошлый век?..

Но книга, изданная в Арзамасе, поразительно интересна именно этим!

Она открывает одну из важных граней жизни провинции 60–80-х годов прошлого века. Читая её, вспоминаешь и то ощущение стабильности, при котором все понимали и чтили трудности, страшные страницы прошлого и «с уверенностью смотрели вперёд». Нет же, не фальшивил Васильев, когда писал о птицах, берёзах и о речках, которые воплощали для него родную природу. Он любил их совершенно искренне. И так сходно с тем, как её любили миллионы, как её полагалось любить. Даже не задумываясь о том, как всё это легко разорить. И не менее интересно листать письма, отзывы критиков и поэтов. Это также то время. С мэтрами, которые выстраивают из «литературной молодёжи» в своих статьях-обзорах некие обоймы: попасть можно в первую, во вторую, в третью, и это будет означать что-то различное в перспективе выпуска собственного сборника или попадания в коллективный. С обидами, когда человек, понимающий толк в поэзии (и, видимо, поэтому не играющий с ней в игрушки) указывает на корявое, нелепое слово в стихотворении, на шаблонность в самовыражении, на спешку и нежелание всерьёз прислушиваться к себе самому, к своему вкусу и ощущению жизни. Чего он хочет, этот критик? Для него Блок – образец? Но мы-то тут не Блоки собрались.

Это сейчас: найди спонсора, печатай всё и никого, кроме этого спонсора, не слушай. А в то время...

Вот о том времени и получилась книга – поучительная, глубокая, если вчитываться в неё внимательно, наполненная неподдельными документами тех лет. И создатели её сделали безусловно доброе дело, не только потому что вернули, собрали всё, что было связано с Вячеславом Васильевым. Они постарались быть объективными. Не пытались что-то игнорировать, замалчивать. Эта честность создала в итоге эффект обаяния поэта и десятилетий, на которые пришлась его жизнь.

Галина МИНЕВИЧ

РОДИВШИЙСЯ В РУБАШКЕ

*Посвящается Мирону Рафаиловичу Китнису,
преподавателю Одесского художественного
училища*

Расписные чашки стояли перед ним рядами. Надо успеть разрисовать пятидесятую. Равиль делает ему знак: «Заканчивай!» Ну вот, последний завиток и всё. Он поставил чашку на полку. Теперь обжиг. Конечно, глина не каолин, но всё-таки чашки получаются почти белые, и рисунок на них смотрится. Равиль и Ренат после обеда растопили печь для закрепления рисунка. Главное – выдержать правильную температуру. Завтра утром они пойдут продавать чашки на рынок в ближайший городок.

В этот лагерь военнопленных Мирон попал, когда его оглушило в бою, и он потерял сознание. Очнулся от пинка немецкого солдата. Мирон, одесский еврей, волосы имел светлые, глаза голубовато-серые, нос прямой греческий. В Одесском художественном училище, которое Мирон закончил за несколько лет до войны, его часто сажали как натурщика. Он сначала сопротивлялся, но педагог разрешил ему в это время рисовать шаржи на однокурсников, и Мирон разошёлся вовсю: рисовал втихую и на преподавателей.

В начале плена его опознал рядовой Ракитченко, заявивший Мирону, что из боязни за свою жизнь сдаст еврея

на первом же построении, так что новые сапоги, которые Мирону выдали после ранения вместе с медалью «За отвагу», за ненадобностью лучше отдать ему, Ракитченко. К утреннему построению Ракитченко не встал в Мироновых сапогах – ночью его задушили Равиль и Ренат.

В лагере военнопленных было много татар, а порядки были менее суровые, чем показывают в кинофильмах о войне. Фашисты, видимо, считали, что потомки Чингисхана будут им полезны после победы. Военнопленным разрешалось ремесленничать, некоторых выпускали в соседний городок продавать свои изделия, а на вырученные деньги покупать провиант, обувь, мыло и другую мелочь. Когда выяснилось, что Мирон скульптор и художник, ему доверили расписывать посуду, гончары у татар были свои. Мирон делал смешные фигурки, игрушки-свистульки для детей. Их хорошо покупали.

Освободила их Красная Армия. Навели справки, боевые заслуги Мирона избавили его от пристрастного внимания смершевцев. Он почти дошел до Берлина, но был тяжело ранен, комиссован вчистую и отправлен в освобожденную Одессу. Долго восстанавливался после ранения: крупные осколки из него удалили, а мелкие периодически воспалялись и выходили всю жизнь. Мать плакала от счастья, что он жив : «Ты же у меня в рубашке родился!»

Мирон застонал во сне. Проснулся. Тревожил осколок в левом плече. Опять этот сон про плен, про войну. Три часа ночи. Теперь не уснуть до утра. Стараясь не будить жену, прошел на кухню, закурил. Нелегко было после ранения возвращаться к профессии скульптора. Но Мирон вернулся. Он ещё в училище подавал большие надежды.

Попробовать, что ли, лечь на свежем морском воздухе на раскладушке? Квартиры в доме, где жили художники и скульпторы с семьями, соединял длинный, во весь дом, просторный балкон. Лёжа на спине, хорошо смотреть на звезды, мерцающие сквозь верхушку большого каштана, разросшегося в одесском двореке, и слушать шум прибоя. Лёгкий утренний бриз мягко оваял Мирона, боль утихла. Он заснул.

Она шла по Дерibasовской медленно, часто останавливалась. Длинные тонкие ноги, почти прозрачные руки и огромные страдающие глаза на беломраморном лице. Мирон неотступно следовал за ней. После освобождения он видел женщин из концлагерей. Сейчас таких уже нет. Все едят вдосталь, хотя бы простую здоровую пищу. Она покачнулась, прислонилась к дереву и стала падать. Мирон подбежал, взял её на руки и лёгкую, почти невесомую, донес до ближайшей скамейки. Её звали Мария. Мария Александровна. Она сильно исхудала после тяжелой болезни, не могла зарабатывать. Родни не было, все погибли в войну. Мирон предложил ей позировать ему: «Это работа. Я буду хорошо вам платить, вы будете есть и окрепнете».

– У меня совершенно нет аппетита. Я вообще не понимаю, зачем я живу.

– Все ясно. Мы будем обедать вместе. Я знаю чудесное кафе на берегу моря. Через неделю, когда вы немного окрепнете, Мария Александровна, я поведу вас в ресторан на Ланжероне.

Мария Александровна оказалась хорошей натурщицей. Через месяц работа была закончена. Мирон назвал её «Равенсбрюк».

Мария успокоилась. Лицо её немного порозовело, а сочетание её беломраморной, тронутой легким загаром кожи и голубых, как оказалось, глаз делало её просто красавицей. Она так похорошела и расцвела, что супруга Мирона, Аля, смотревшая на Марию, как на пустое место, стала приревновывать к ней Мирошу. Деликатная Мария Александровна, поблагодарив Мирона за своё возрождение, получила обусловленный гонорар и исчезла, не оставив ни адреса, ни телефона. «Равенсбрюк» был выдвинут художеством на Государственную премию.

Через несколько лет, когда Аля оставила его ради художника Громчева, Мирон долго искал Машу, нашел, но она уже была замужем и растила дочку.

Потрясенный неверностью и предательством жены, он долго жил один. Изредка приходила дочь, повзрослев-

шая, похожая на мать, тоже художник. Но обида, нанесенная женой Алей, мешала любить дочь как прежде.

Семейное счастье улыбнулось ему в шестьдесят лет. Его познакомили с очень милой немолодой женщиной, доброй, нежной и прекрасной хозяйкой. Мирон почувствовал себя помолодевшим, полным сил мужчиной. Родился долгожданный сынок. Впереди были счастливые семнадцать лет до 1991 года. Бытовой национализм, не чуждый Украине и раньше, стал постепенно переходить в статус внутренней политики. Мирона «ушли» на крохотную пенсию. Даже знаменитый его ученик Станислав Чиж, автор многих памятников в Севастополе, не мог помочь ему с заказами.

Жена списалась со своими американскими дальними родственниками и срочно с сыном уехала. Долго не хотел уезжать Мирон, в Одессе были его друзья и ученики, скульпторы, художники, самых разных национальностей. Другам удалось добиться для него часов преподавания в художественном училище. Но здоровье становилось все хуже, нужен был уход, моральная поддержка семьи. Дочь им не интересовалась совсем.

И Мирон вынужден был уехать в Нью-Йорк. Там он и умер в конце 90-х годов, забытый всеми талантливый скульптор и учитель.

Марк ФУРМАН

Владимир

ЗАПИСКИ КОНВОИРА

(Отрывки из повести)

Так случилось, что волею судьбы я в далёких пятидесятых служил в войсках МВД СССР, охраняя на севере Горьковской области лагерь осуждённых по печально знаменитой 58-й статье. Об этом, тяжкой доле солдата-охранника, откровенно и без прикрас написана документальная повесть «Записки конвоира».

Автор

Шаг влево, шаг вправо...

Конвой... В переводе с голландского, это вооружённый отряд, сопровождающий кого-то для охраны или предупреждения побега. В толковом словаре Даля понятие этого слова предельно кратко – «караул при арестанте», далее «конвойный» объясняется как «солдат, назначенный в конвой».

Однако, на мой взгляд, наиболее точно и метко уловил суть этого явления, столь характерного для сталинско-бериевского периода, такой безжалостно-правдивый и тонкий поэт, как Ярослав Смеляков. Когда я читал подборку его стихов в ещё пахнувшем типографской краской «Новом мире» (1987, № 8) – вначале бросило в жар, потом мороз по коже, кровь гулко забила в виски, и прервалось дыхание:

Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегают конвой.

Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок.
На нас – бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.

И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из посёлка под Москвой...

Ведь со мной это было, со мной! Я будто перемахнул временной барьер, отделявший от прошлого, и перенёсся в январское морозное утро 1955 года. Вновь ощутил себя, как в те дни, тепло и ладно одетым – в овчинном полушубке, ватных стёганных брюках и валенках, с автоматом ПППШ на шее и двумя запасными дисками патронов.

После зарядки и завтрака в сизом сумраке мы шли к освещенному тусклым светом лагерю. Переговаривались, курили. Вспоминали вчерашние солдатские дела и строили планы на предстоящий свободный вечер. Перед закрытыми воротами между тем скапливались люди. Мы их не видели, но уже слышались глухие голоса, отдельные фразы и выкрики. Народ прибывал, сбивался в толпу. Подобно близкому водопаду, к которому идёшь быстрым шагом, шум нарастал, усиливался, и тут над воротами вспыхивали прожектора. Так начинался день бригад, уходящих на лесоповалы.

Вот и наша бригада, около тридцати человек. Путь относительно близкий – около пяти километров лесом до ближайшей вырубki. Начальник конвоя о чём-то переговаривается с бригадиром, потом следует команда: «Бригада, разберись!»

Люди разбиваются на пары. Как в детском саду или в школе они предпочитают выбирать товарища по душе, и вот уже двойная шеренга вступает на лежнёвку. Лежнёвка – своеобразный тротуар из прочных широких досок, такими

были многокилометровые лагерные трассы, предназначенные для ходьбы и передвижения транспорта.

За нами остаётся просыпающийся посёлок. Следует положенное по инструкции предупреждение начальника конвоя:

– Бригада! В пути прошу соблюдать дистанцию. Курить, громко разговаривать и останавливаться запрещено. Шаг влево, шаг вправо, огонь будет открыт без предупреждения!

Сегодня, конечно, не припомню, сколько раз мне доводилось произносить эти жестокие леденящие слова. И если бы были сделаны эти шаги – по неосторожности, ошибке или действительно как при попытке к побегу, пришлось бы применить оружие и нам тоже. К счастью, подобного всё-таки не произошло.

Иду передним конвоем. До меня и ближайшего ряда каких-нибудь тридцать-сорок метров. Хотя двигаемся не очень быстро, но в отличие от тепло одетых солдат мороз гонит людей. Они ускоряют ход. Тёмный вал накатывается, слышу короткое прерывистое дыхание ближней пары. Оборачиваюсь и, не прерывая движения, иду спиной вперёд. Одновременно команду:

– Бригада! Уже шаг, направляющим остановиться!

Приказ действует – передние притормаживают. Несколько минут спустя колонна людей уже не идёт, а медленно тащится. Перебрасываются словами с соседом, кое-кто достаёт припасённую козью ножку со скверной дешёвой махрой, пытаюсь тайком закурить. Начальник конвоя, заметив потерю темпа, подбегает к заднему ряду. Следует очередная, прямо противоположная команда:

– Не растягиваться! Подтянитесь, бригада, шире шаг!

Вбираю в лёгкие побольше воздуха, ускоряю шаг. Теперь почти бегу и, резвый, молодой, легко отрываюсь от идущих сзади заключённых. Спиной чувствую их. Как только расстояние становится меньше допустимого, притормаживаю, потом – опять вперёд. Вот так мы и добираемся до лесоповала.

На расчищенной площадке разбросаны чёрные обугленные головешки от вчерашнего костра. Здесь же

наезженная колея делает большой полукруг – место для вывозящих древесину автомашин. Мы расходимся по своим «диагоналям». Едва успеваю настрогать перочинным ножом берёзовую кору и достать из кармана смятую вчерашнюю газету для разжигания костра, как из-за деревьев слышится низкий, вибрирующий в воздухе звук бензопилы. Трудовой день бригады заключённых начался.

Крымов, Чижиков и другие

На втором году службы, после очередной демобилизации «стариков», старшина Мишурин перевёл меня из конвоя в контролёры КПП. Это было несомненным повышением. В дежурство на вахте назначались грамотные и опытные солдаты, либо те, кому благоволило начальство. Служба эта, в тёплом отапливаемом помещении, физически была не обременительной, но требовала постоянного внимания и известной бдительности. Утром на разводе, вечером после окончания работ за пределами зоны мы отправляли и принимали людей, пропускали через ворота автомашины с грузами, осматривая их. К вечеру наступало затишье, исключая дни, когда приходилось отправлять и принимать этапы.

Вместе с новой партией заключённых, либо тех, что отправляли из лагеря, на вахту поступали пакеты с их личными делами. До сих пор помню большие конверты из прочной светло-коричневой бумаги, опечатанные сургучными печатями, в которых находились тонкие папки с десятком машинописных страниц. После приёма людей от конвоя по счёту нам надлежало убедиться, что тот или иной человек прибыл в лагерь. Не исключалась возможность подмены, особенно ночью, когда этапы с эшелонов принимались в ограниченное время при известной спешке и суете. Дабы исключить ошибки, нам разрешалось вскрывать дела, где на одной из первых страниц имелись фотографии осуждённого, снятые по всем правилам оперативной фотографии в фас и профиль.

Пользуясь этим правом, контролёры вскрывали почти все конверты из простого любопытства: хотелось знать,

что же за люди поступают в зону. Оперчасть, куда утром передавались документы, относилась к этому снисходительно, поэтому исключение из правил стало обычным делом. Много самых разных людей прошло передо мной в те ночные часы. Но ни один человек отчётливо не запомнился, все словно на одно лицо. Память отрывочно сохранила лишь папки, краткие невразумительные обстоятельства дел да приговоры в несколько коротких строк.

Перечень «преступлений» напоминал скудное меню провинциального ресторана. Большинство дел проходило по вредительствам на заводах и фабриках, либо нарушениям техники безопасности с авариями и пожарами. Потом шли антисоветская и шпионская деятельность, вооружённые разбои, вплоть «до ограблений международных вагонов». Всё излагалось предельно скупое, бездоказательно, часто без указания причиненного государству ущерба. Статья всего лишь одна – 58-я, со всеми её пунктами и подпунктами. Зато сроки самые что ни на есть максимальные – редко меньше десяти, чаще – от пятнадцати до двадцати пяти лет лишения свободы.

Всё же, несмотря на изоляцию политзаключённых от внешнего мира, солдаты от случая к случаю встречались с этими людьми вне служебной обстановки. Не всех удалось запомнить пофамильно, кое-кого мы знали только по именам. Но не будет преувеличением, если скажу, что они, вряд ли ведая об этом, оставили свои следы в наших юношеских биографиях.

Как правило, за пределы зоны выводили заключённых из так называемого обслуживающего персонала. Парикмахеров, стригших одной машинкой и эзков и солдат, иногда портных, дабы сшить выходной костюм кому-либо из начальства или наряды для их жён и дочерей, фотографов, художников. Для руководства художественной самодеятельностью части привлекался музыкант Крымов, а секцию бокса вёл мастер спорта Чижиков, окончивший Московский авиационный институт.

Крымову, в прошлом профессиональному пианисту, пришлось сменить концертный рояль на немецкий трофейный аккордеон. Несколько раз в неделю по вечерам,

в выходные дни – обычно с утра, он менял арестантскую форму на поношенный, с чужого плеча, но всё-таки штатский костюм.

Среди других сохранилась пожелтевшая фотография пятидесятилетней давности. На ней смешанный солдатско-гражданско-зэковский хор, где из 21 человека – восемь солдат, девять девчат из посёлка, один сержант сверхсрочник и трое заключённых. На первом плане – Крымов и сверхсрочник Пазухин с аккордеонами, позади них – солист Виктор, обладатель высокого красивого тенора, тоже из заключённых. Потом – в три ряда остальные, одеты кто во что. Мы в обычной армейской форме, девушки – в белых кофточках или пёстреньком послевоенном ситчике, зато трое тех, что из зоны – в костюмах, в светлых рубашках и при галстуках. Приглядевшись, отмечаю в третьем ряду второго справа, тоже Виктора, парикмахера. Он коренной москвич, уже в возрасте, тогда ему было не меньше сорока. Это человек – безудержного юмора и какой-то отчаянной энергии. Неисправимый анекдотчик. Для каждого из солдат во время стрижки у него находились острое словцо, своя тема.

Помнится, кто-то из надзорсостава, кажется, тот же Пазухин, сказал, что парикмахер уж больно боек на язык. Вот и сел за анекдот. Тогда я в это не поверил, переспросил Пазухина. Он не стал вдаваться в подробности, но заметил, что таких людей, как Виктор, в лагере хватает.

Что касается Крымова, ему, наверное, было легче, чем его товарищам. Худощавый, небольшого роста, с гладко зачёсанными назад светлыми волосами, он ограничивался короткими фразами, предпочитая вести диалог языком музыки. Иногда за всю репетицию Крымов произносил не более двух десятков слов, типа: «А теперь дружно...», «Повторим!», «Взяли выше!» и т. п. Репертуар нашего смешанного хора составлялся в духе того времени – всё абсолютно стерильное, ничего лишнего, вне подозрений. Исполняли мы не более десятка песен. Сейчас помнятся лишь три: «Партия – наш рулевой», «Сулико» (по слухам, одна из любимых песен Сталина, вероятно – дань национальным традициям), «Два сокола» (о Ленине и Сталине).

Было что-то ещё из «Кубанских казаков», очень модной, казавшейся совершенной тогда кинокомедии.

Поскольку рояля в посёлке не было, Крымов не мог продемонстрировать своё мастерство. Неожиданно приехал руководить производством лагерной зоны вольнонаёмный инженер. Он привёз в посёлок среди прочего домашнего имущества старенькое пианино. По приказу начальства Крымов дал для избранных несколько концертов, отзывы о которых оказались весьма восторженными. В те дни на репетициях он показался мне каким-то необычным и, если уместно употребить это слово, даже счастливым. Но видели у Крымова и слёзы во время игры. Можно себе представить, с какой нежностью и болью прикасался к клавишам пианист, лишённый возможности годами даже думать о любимом инструменте.

Чёрно-белые клавиши пианино... Для таких, как Крымов, они в лучшие, наиболее плодотворные годы жизни, становились сплошь чёрными.

С 1954–1957 годов сохранились в моём домашнем архиве около трёх десятков армейских фотографий. Большею частью – любительские, отражающие солдатский быт. Но есть среди них четыре, отпечатанные на хорошей высококачественной бумаге. Снимки сделаны профессиональным фотографом, тоже заключённым, почти с одной точки, объединяет их один сюжет.

Фотографировались мы тогда в Ленкомнате, центральную часть интерьера которой занимала огромная для небольшого помещения, во всю стену четыре на три метра, картина с изображением вождя. Сталин на ней запечатлён почти в полный рост, ясным солнечным днём. Он – в центре картины, притягивает взгляд, отодвигая всё остальное, суетное и малозначительное на задний план. На Сталине – белый китель, аккуратно застёгнутый на все пуговицы, серые брюки, почти такого же цвета плащ, небрежно переброшенный через правую руку. По замыслу художника он предстаёт могучим и сильным, словно величественный монумент. Значительная часть фигуры врежется в размытый голубоватый фон безоблачного неба. Сталин смотрится портретно, будто на цветном снимке, снятый мощным

телеобъективом. Низ картины занимает свежевспаханная земля. Вдали справа видны крохотные, размером со спичечные коробки, три комбайна. Приглядевшись, можно разглядеть на них микроскопические фигурки людей.

Так уж принято в армии – даришь товарищу фото на память, обязательно напиши – от кого на обороте, ещё и дату поставь! Переворачиваю все четыре. Две фотографии помечены декабрём 1954 года, две – мартом и июнем 1955 года. Сделаны они после смерти Сталина. Но, по-видимому, миф об «отце», создаваемый десятилетиями, оказался настолько силён, что потребовалось ещё несколько лет, прежде чем молодые воины перестали сниматься у этой картины.

Комиссия из Москвы

В середине июля 1956 года наш взводный, старший лейтенант Ломов вызвал меня к себе, попросил сесть, сам придвинул стул.

– К нам приехало начальство из Москвы, – сообщил Ломов. – Предстоит серьёзная проверка лагеря, условий быта заключённых, будут решаться и другие вопросы. Прибыли они в трёх вагонах. Один спальный, другой будет использоваться для работы, в третьем – столовая. С сегодняшнего дня и ежедневно с пяти вечера тебе надлежит заступать на пост по охране вагонов. С рассветом, часа в три-четыре утра возвращайся в часть на отдых.

Он сделал паузу, почему-то перейдя на вы:

– Мы рекомендуем вас как дисциплинированного солдата, к тому же со средним образованием. Если будут о чём-то расспрашивать, отвечайте. Но, разумеется, в пределах возможного, сор из избы не выносить. Потом докладывайте об этом лично мне. Постарайтесь опрятно выглядеть, – Ломов остановил взгляд на выгоревшей гимнастёрке и стоптанных сапогах: – У старшины получите новое обмундирование. Есть вопросы?

Вопросов не было. Отпуская меня, Ломов произнёс:

– Очень прошу строго соблюдать форму одежды. Это не в конвой идти. Приедут в основном люди военные,

есть даже генерал. На пост заступайте сегодня, с пяти вечера.

Три вагона, о которых говорил командир взвода, я увидел в тупике железнодорожного пути за окраиной посёлка. С одной стороны сюда примыкали склады, по другую, сразу за насыпью, начинался лес. Место для комиссии выбрали удачное – тихое и спокойное.

Обойдя вагоны и оглядевшись, я решил оборудовать пост для наблюдения. Взяв две старые автомобильные шины, прикатил их на бетонную площадку перед складами, соорудил некое подобие сиденья. Потом расположился на нём, прислонясь спиной к массивной деревянной двери с большим висячим замком.

В первый день ничего примечательного я не увидел. Приехавших насчитал восемь человек, все в штатском, ни одного в форме. Они прогуливались около вагонов, ходили в березняк за грибами. Потом трое человек играли на поляне в волейбол. Заметив к этому неподдельный интерес, пригласили и меня. Не без колебаний решил, что не нарушу устава. Раз начальство зовёт – надо идти. В волейбол, любимый со школы, я играл прилично. С приемом мяча, сильным в прыжке нападающим ударом все было в порядке. Удалось блеснуть и на той полянке, что вызвало восхищение у приехавших. С тех пор и позднее, когда за вагонами оборудовали настоящую площадку, я стал участником всех лесных волейбольных встреч.

К восьми часам всех позвали на ужин в вагон-столовую. Оказалось, что для обслуживания и приготовления пищи сюда привезли двух девушек-поваров, а также секретаря-машинистку. Из увиденного заключил, что комиссия приехала к нам для чего-то серьёзного, основательно и надолго.

Часам к одиннадцати в вагонах погас свет. Наступила короткая летняя ночь. Ранним утром в половине четвёртого я покинул свой пост. Идя по безлюдному посёлку, в новых, жавших ноги сапогах, я увидел, как розовеет небо над тёмным частоколом зоны с горящими фонарями и белым жаром прожекторов над караульными вышками. Этот первый день моей караульной службы и первая ночь

запомнились лучше иных, а всего таких рассветов я встретил не менее сотни. Комиссия пробыла у нас до середины ноября и уехала поздней осенью, когда начались дожди и выпал первый снег.

Из лагеря на волю

Тем давним летом, тёплой грибной осенью я мог лишь смутно догадываться и строить предположения о том, чем же всё-таки занимались эти люди. Трудились они плотно, с девяти утра до позднего вечера, почти без отдыха, с редкими выходными. Два-три раза в неделю на машинах подвозили дела заключённых. Помнится, я сам помогал девочкам таскать кипы папок, перевязанных шпагатом, в деловой вагон с отдельными купе-кабинетами, который вскоре окрестили «канцелярией». Иногда сюда доставляли и заключённых из лагеря. Обычно привозили одного, реже двух человек. Разговоры в вагоне велись долгие и подробные, иной раз затягивались до поздних летних сумерек.

Члены комиссии вскоре привыкли ко мне, здоровались, угощали сигаретами. Заметив мою страсть к литературе (я частенько, особо не таясь, читал, привалившись спиной к тёплой двери склада), давали что-то из своих книг, взятых в дорогу. Иногда они спорили, не соглашаясь, друг с другом. Их громкие голоса доносились из открытых окон, перемежаясь с дробью пишущей машинки. Разговоры о делах возникали и вне вагона, в короткие минуты отдыха, походах за грибами, игрой в шахматы.

Однажды вечером отмечался день рождения кого-то из приезжих, неподалёку от вагонов на опушке леса развели костёр. Сварили уху из свежей рыбы, напекли в золе картошки.

Помогал и я, как самый молодой носил хворост и сучья, рубил сухостой для костра. Вдруг слышу, как знакомую с малых лет фамилию Сталина, почитаемую наряду с другими тремя вождями пролетариата, казалось, всей страной, кто-то из приехавших произнёс презрительно, с отвращением и злобой.

И на сей раз меня это неприятно удивило, словно отозвались плохо о родном и близком человеке. Тогда я с негодованием подумал о говорившем, считал его чуть ли не личным врагом, посягнувшем на святое для всех имя.

«Как же он посмел так отозваться об Иосифе Виссарионовиче? – размышлял я несколько дней кряду. – Наверное, просто завидует его таланту и гениальности. Ведь и после смерти он так же уважаем в народе».

Но поделиться своими мыслями было не с кем. Передай я эти слова кому-нибудь из своих товарищей, меня наверняка высмеяли бы, сочли сумасшедшим или доложили бы начальству.

Не помню точно, как это произошло. Однажды я увидел, как из «канцелярии» вышел знакомый мне библиотекарь лагеря Михаил Сергеевич, у которого я в зоне брал книги и журналы. Кажется, он не заметил меня, хотя нас разделяло каких-нибудь двадцать метров, покачиваясь, прошёл к машине. Поразило выражение его лица. Таким библиотекаря я никогда не видел. Задумчивое, какое-то спокойное и отрешённое одновременно, озарённое внутренним светом, исходившим от огромных впалых глаз на выбритом исхудавшем лице.

Лагерный люд, привозимый в это укромное, скрытое от посторонних взоров место, покидал «канцелярию» поразному. Большинство с обычным замкнутым выражением лица, склонённой вниз головой, словно действительно были в чём-то виноваты. Спрыгнув с подножки, они привычно убрали руки за спину и шли к ожидавшему их конвою.

Таким показался мне лагерный нарядчик Лёва, высокий крупный блондин, родом из Запорожья. Он считался отъявленным бандитом одесского пошиба, типа бабелевского Бени Крика. Как-то мне довелось полистать его дело – тонкую папку о десяти листах. В нескольких коротких фразах сообщалось, что Лёва в одиночку, вооружённый пистолетом, грабил дипломатические вагоны. Посадили его вскоре после войны, в 1946 году.

Когда Лёва вышел из вагона, он, как положено, эдаким отработанным движением завёл руки назад, на испещрённом оспинами лице его поблёскивали капельки пота.

Он вытер лоб грязным платком, зажатым в одной руке, другую так и оставил за спиной, как вдруг запнувшись, упал, уткнувшись головой в сухой песок. Ему помогли подняться. Из «канцелярии» выскочила машинистка с ваткой, смоченной нашатырным спиртом. Очнувшись от обморока и глубоко вздохнув, нарядчик не сразу пришёл в себя, минуту-другую глядя на свет отрешённым взором. Дойдя с помощью конвоира до машины, рухнул на сиденье, прикрыл дрожащими белыми веками воспаленные глаза.

Случалось видеть и улыбки на озарённых огоньком надежды лицах заключенных. Несколько раз с удивлением я наблюдал, как члены комиссии, вопреки общепринятым правилам, прощались с уходящими за руку, словно с давними знакомыми, провожали до машины, даже угощали сигаретами и снабжали свежими газетами.

В общем, новая служба мне нравилась. Я радовался, когда сюда привозили людей. Наверное, это было какое-то интуитивное чувство. И только спустя несколько лет, после XX съезда КПСС, окончательно понял, чем занималась комиссия и что означал их приезд для узников 58-й статьи. Тогда же прибытие спецмашин в это укромное место интересовало меня лишь как возможность общения с конвоем — моими товарищами по взводу. Мы трепались обо всём и ни о чём, курили, бродили по лесу, перекусывали тем, что предлагали девчата-повара, договаривались встретиться с ними на танцах в поселковом клубе. А в это время в вагоне велись длинные многочасовые допросы. Как теперь понимаю, отличавшиеся от тех, что шли ранее в застенках тюремных камер. Вернее, не допросы как таковые, а исповедальные откровения, очищающие израненные души стойких, ни в чём не повинных мужественных людей.

Так буднично, постепенно происходило смывание лжи и позора. Не ведаю, сколько таких комиссий насчитывалось по стране. Наверное, не десятки — сотни, столько же, сколько было лагерей с надуманной чёрной статьёй.

Вскоре после того, как я увидел Михаила Сергеевича выходящим из «канцелярии», довелось встретиться с ним в библиотеке. Он выглядел лучше, чем обычно, под тём-

ной арестантской курткой виднелась белая рубашка. Передавая мне свежие журналы, вдруг сказал:

– А ведь я вас заметил у вагона, того, что в лесу. Почему вы отвернулись?

Чувство стыда, обыкновенного человеческого стыда охватило меня. Ощущение его стёрлось позже, с годами, но сам факт запомнился навсегда. Не знаю, заметил ли Михаил Сергеевич мои мгновенно покрасневшие щёки. После паузы, стараясь быть откровенным, ответил:

– Сделал это интуитивно, чтобы не навредить вам.

– И себе тоже? – резко спросил он.

– Наверное. Вы ведь знаете, что грозит солдату, который вступает в неуставные взаимоотношения.

– Да, поэтому я не осуждаю, только спрашиваю. Кстати, вами уже интересовались и старший оперуполномоченный, и начальник режима. Правда, меня ни о чём не спрашивали, узнал от других.

Это была новость, которую требовалось осмыслить. Впрочем, что начальство могло мне инкриминировать? То, что с десятков раз бросал письма библиотекаря в почтовый ящик на станции или покупал ему хорошие папиросы и сахар в поселковом магазине? В то время и этого было достаточно. Впрочем, будь что будет: особой вины за собой я не чувствовал.

Вечером следующего дня, когда самый молодой из приехавших, помнится его звали Александр Юрьевич, вышел перед сном подышать свежим воздухом, я спросил его о Михаиле Сергеевиче. Он внимательно взглянул на меня. Просьба, исходившая от солдата-конвоира, показалась ему несколько необычной. Но он не отказал, лишь уточнил фамилию, скрылся в вагоне. Минут через десять окликнул меня.

– Ты библиотекарем интересовался? – спросил он. – Верно, книги у него берёшь? Так вот, многого не скажу. Списки ещё в Москве предстоит утвердить. Но после Нового года он, скорее всего, будет освобождён.

Когда я передал эту новость Михаилу Сергеевичу, он промолчал, вдруг быстро ушёл за книжный стеллаж. Минуту спустя вернулся, дрожащей рукой выбил из пачки папиросу.

– Я, как и мои товарищи, нас здесь много – почти вся зона, знаем о том, что пересматриваются наши дела. Хотя газеты молчат, но происходят какие-то важные перемены. Так хочется верить, что справедливость всё-таки существует. Не скрою, мне хотелось узнать эту новость как можно скорее. Большое спасибо, Марк.

Назвав меня впервые по имени, он произнёс запомнившиеся на всю жизнь слова:

– Поверьте, я лично ничего плохого не совершил. Воевал, имел награды, но по несчастью раненый попал в плен. Так за что же такое наказание?

Поздней осенью, уже после праздников, в конце ноября, получив в дежурке оружие, я отправился на знакомое место. Однако железнодорожное полотно оказалось пустынным, без ставших привычными трёх тёмно-зелёных пассажирских вагонов. Вероятно, днём их отогнал в Сухобезводное специально присланный паровоз. Я несколько раз обошёл склады, вороша ногами опавшую осеннюю листву, припорошенную свежавывавшим снегом. Теперь лишь кучка мусора за строениями, верёвки, протянутые девушками между деревьями, да зола после вчерашнего костра напоминали о более чем трёхмесячном пребывании комиссии, уехавшей столь неожиданно.

Тогда я, конечно, не предполагал, что когда-нибудь буду прокручивать в памяти, как старую документальную ленту, эти давние события 1956 года. Сожалею лишь о том, что мало знал, не всё видел, многое позабыл о тех, вне всякого сомнения, исторических днях.

А потом пошли этапы. Но не ставшим привычным движение людей за колючую проволоку, а нечто прямо противоположное – из-за неё, на волю. Люди уходили десятками, сотнями. Где-то к середине января зона почти опустела. В ней осталось не более пятидесяти – шестидесяти политзаключённых и около сотни лиц с другими судимостями.

Петр РОДИН

Воскресенское

ГАРМОНИСТ

С которой бы стороны ни заезжал я в свою родимую деревушку Фатьянково, через посёлок Мурашкино или минуя городок Перевоз, сначала показывался почти идеальный круг одновозрастных, уже состарившихся берёз.

До поворота на просёлок, который ведёт к родовой усадьбе, заезд к ним, стоящим через одинаковые промежутки без единого гнёздышка на ветках, был и остается по сей день обязательным для меня в любое время дня и при любой погоде. Они окаймляют Орловский погост.

Недавно попытался узнать фамилию местного жителя, который во времена давние опоясал берёзовым кушаком места захоронения усопших из пяти деревень округи. Тщетно. Оказалось, что не помнят имени того подвижника даже девяностолетние старухи. А вот то, что это было и замыслено, и воплощено одним человеком, многие охотно подтверждают:

— Как же, слышали от стариков, жил такой дедок в селе Шпилёве. Он в одиночку и посадил эти берёзы, ещё воду для полива на лошадке в бочке подвозил.

При самом входе слева, за невысокой голубенькой оградой, стоят три однотипных гранитных памятник с крестами и фотографиями моих родителей и брата. Рядом под крестами покоятся бабушки и деды — более отдаленные поколения родичей. По приезде исполняю обязательную немудрёную процедуру в оградках: влажной тряпичей

убираю пыль и тенёта с памятников и крестов, с планок и завитушек, сгребая ветки и листья, упавшие на холмики, кладу на каждый по кусочку хлеба. Потом, перекрестившись, стою между могилок и шепчу бабушкины слова. Они вряд ли соответствуют тексту какой-то молитвы, но на этот момент даже у невоцерковлённого человека найдутся свои «Живые помощи». И это при том, что мало у кого тело опоясано тесьмой со старославянской вязью мольбы предков. Эх, миг жизни человеческой! Чем ближе мы к вечному покою, тем милей и дороже вольный свет кажется. Вот побыл на кладбище и как будто в стену холодную горячим лбом при быстрой, задышливой ходьбе уткнулся.

– Куда спешим? – откуда-то из крон старых берёз вопрос слышится. И сокрушаться здесь из-за мелких житейских проблем вроде бы уже и не к месту.

Я походил по заросшим бурьяном тропинкам. Присел на подвернувшуюся лавочку. Поднял глаза от тормозка с бутылкой водки и бутербродами. Господи! Да ведь это дружок детства и юности моей Женья Зёрин. На высветленном овале стандартного памятника рассыпался ворох его цыганистых кудрей. Глаза, поворот головы – ну один в один он, в самой мужицкой силе, годов сорока, наверное. И улыбка зёринская, как бы с виноватинкой да грустинкой. Ай да мастер ширпотребный! Как сумел с фотографии копию каменную выбить! Как живой землячок сидит, да ещё и лыбится, будто подначивает: «Ну что, друган, замешкался? Наливай за помин души». И налил я, и выпил, пригласив к лавочке словоохотливого мужичка от соседнего креста. Говорить не хотелось, собутыльник мой незаметно исчез. Читаю золотистую табличку на памятнике. Годы жизни: с пятидесятого по девяносто второй. Сорок с небольшим годочков по земле мой дружок. «Конечно, маловато», – подумалось. Как живой он из тяжёлой плиты выглядывает, но чего-то явно не хватает. Стоп! Конечно же, гармони! Ну вот (себя ругнул) – выпил, да ещё на могилке про гармонию вспомнил, прости Господи... А что? На самом деле, вот если бы не срезать от плеч полукруг, оставить его крупные крабистые руки, руки механизатора и первого в округе гармониста, да в ухватистых зёринских

ладонях ощерилась бы мехами его любимая хромка! Уж я-то знал, чем она для него была.

Знал и то, что после посещения этой тихой берёзовой юдоли поселятся ненадолго в душе спокойствие и тихая радость от встречи с родовым гнездом – избой, увязшей в репейнике да крапиве. Стояла она ещё крепко и осанисто, обняв изрядно и равномерно подгнившим нижним венцом закладных брёвен самую маковку пригорка. Странное дело, уже к вечеру, когда летнее закатное солнышко чуть позолотило задранные листы железной кровли на алтарном куполе шпилёвской церкви, показалось мне, что с момента приезда прошло не меньше двух-трёх дней. Тишину нарушали лишь заворчавшие одна за одной лягушки в топких кочах речки нашего детства – когда-то светлого и бурливого Курача. Соседняя зёринская изба будто бы с укором оглядывалась пустыми глазницами окон. В наплывавшем от реки тумане, как в чёрно-белом старом кино, частями, с обрывами, рисовались картины детства, тот же памятник Жене Зёрину и известные мне эпизоды его короткой жизни...

Женька сидел на старинном сундуке в уютном холодке мазанки под цветущей сиренью и на изрядно потрёпанной гармошке выводил, как ему казалось, красивую мелодию. Песню эту почти каждый день, а то и не по разу пела по радио Майя Кристалинская. Гармонист-самоучка, весь изогнувшись, вглядывался в поцарапанные кнопки старого инструмента, чтобы запомнить, как звучит та или иная, и пытался даже напевать слова:

Ночь была с ливнями,
И трава в росе.
Про меня «счастливая»
Говорили все.

И сама я верила,
Сердцу вопреки...

– на этом слове Женька всегда спотыкался. Не потому, что не знал, на какую кнопку правого ряда нажимать

дальше. Его смущало непонятное слово. Уже потом, зимой, когда он перешел в пятый класс шпилёвской восьмилетки, посмел спросить учительницу русского языка, что это слово означает.

Оказалось, что «вопреки», значит – наперекор. А ещё бабушка Анна говаривала «опричь души» или «не по сердцу». Оказывается, слово из песни как раз про это и было. А пока теребил Женька меха хромки, старательно выпевая и это, непонятное пока слово.

Этим летом, как отмечала деревенская ребятня, необычайно много было ласточек. Вот и сейчас над низким входом в глинобитное чрево мазанки зацивикала одна из них, самая любопытная.

И тут же, нарушая мечтательный настрой меньшего брата, от избы донесся звонкий призыв сестры Катюхи: «Женька, хватит пиликать, мамка обедать зовёт». Гармонист хорошо знал, что обед – дело святое и опаздывать не стоит, а то от отца и затрещину можно схлопотать. Женька аккуратно поставил гармонь на сундук и поспешил в избу. За столом мать с отцом коротко говорили о домашних делах. «Слышь, парниша, хватит с гармозеей обниматься. Мотыжку полегче для тебя я приготовил, у крыльца поставил, – проговорил отец. – Давай-ка со всеми картоху подбивать налажайся». Женькино негромкое «угу» мало кого интересовало. Только Катька злорадно ухмыльнулась да ещё язык исподтишка показала. Все и так знали: как отец сказал, так оно и будет.

До пятого класса деревенская ребятня ровно за версту пешочком справлялась до медведковской начальной школы. Это была пятистенная изба, в большей части которой и располагались классы. Две круглые кирпичные печки, затянутые в железные кожухи, зимой постоянно были топленными и горячими, но тепла в помещении всё же было маловато. В трескучие морозы, которые были нередки, нам, ученикам, приходилось и ушитые мамками варежки надевать. Два ряда парт делились по классам. В одном ряду сидели первый и третий классы, в другом – второй и четвёртый. Учительница, как нам тогда казалось, одновременно была и доброй, и очень строгой.

Её настроение зависело от того, что мы «отклусили» в этот конкретный день или минуту. Чтобы кнопки на её табуретку подкладывать – ни-ни! Такого и в думушках наших не было. А вот щенка спрятать в классе или как-то по весне козлёнка махонького – на это у нас придумки хватало. И вот в самый напряжённый момент урока, бывало, из-за печки предательски ручеек рисовался или горошек козлёнkin сыпался на некрашенные половицы, и в пахнущем дымком и ещё чем-то воздухе зависала звенящая тишина. Тогда вся школа «стояла столбом», и шло дознание. Самым страшным наказанием было остаться одному в школе после уроков. Даже взрослые в деревне обсуждали и каверзу, и меру наказания. Они сходились обычно на том, что надо было виновников и отлупить бы ещё хорошенько. А мы после подобных проделок или помогали техничке прибираться в школе, или несколько раз переписывали диктант на «ча-ща» и «чу-щу».

Но, впрочем, всегда находились «болельщики» и дожидались наказанного. Так что по одному из школы мы всё-таки не возвращались.

С пятого класса учились мы уже в шпилёвской восьмилетке. Это было большое, даже огромное по нашим меркам, двухэтажное деревянное здание барачного типа. Помню ещё, что мы гордились тем, что учимся не в какой-нибудь, а именно в двухэтажной школе. В ней были крашенные полы и длинные коридоры. Здесь мы впервые увидели настоящий глобус, а также человеческий скелет, в челюсть которого пацанами из старших классов ежедневно вставлялась свежая самокрутка и которому изредка на большой перемене давалось прикурить. По стенам длинного коридора висели одинакового размера портреты учёных и писателей. Кроме Менделеева, все они казались нам с Женей Зериным уж больно сердитыми и недоступными.

А ещё в тупике коридора второго этажа был отгорожен маленький закуток. Это было самое вожделенное место на нашем с приятелем свете – буфет. На скобе опускалась широкая доска. Это и был прилавок. Пирожки с повидлом были всегда почему-то сильно помятые, но от этого не менее вкусные. На пять копеек, которые изредка выдавали

нам наши родители, можно было купить кулёчек конфет – мятных подушечек. И это было маленьким, но настоящим нашим счастьем, с приятным послевкусием во рту и кратким утолением вечно урчащих животов.

Восьмилетку Женька закончил с приличными оценками. Родители, особенно мать, «Богом просила» уехать из ненавистного колхоза. Вся надежда была на армию. На службе большинство деревенских парней и профессию заиметь могли, и по жизни определиться.

А мой дружок ещё до призыва окончил местное СПТУ и стал механизатором широкого профиля. Лето поработал помощником комбайнёра, а потом стали доверять ему и старенький гусеничный тракторок «ДТ-54».

И вот в одну раннюю весну пришла к Женьке большая и, что не часто бывает, настоящая любовь.

На Масленой неделе, в самое Прощеное воскресенье, гонялись на лошадях, запряжённых в дровни и единственные на весь колхоз саночки. Под дугами, разнряженными цветными лентами, вешали разноголосые колокольчики. Женьку, как лучшего гармониста округа и исполнителя припевок на мотив неизменного по таким случаям «Сормача», усаживали на самое удобное место в кузовок саночек. К этому времени у него уже была настоящая гармошка-хромка мастеров Потехиных из заволжского села, что на речке Керженец.

Так вот, в это мартовское воскресенье, когда зима, собрав свои пожитки, собиралась податься куда-то посеевнее, саночки, в которых восседал мой дружок в обнимку со своей певучей хромкой, и столкнулись с розвальнями из соседней деревни Орлово. Авария эта произошла, конечно, из-за излишнего куража и хулиганства возниц. Полетели из повозок парни и девчонки.

Треск, визг, крик и смех! А сытые лошади, фатьянковская рысачка Тревога и орловский мерин Букет, стояли рядом, каждый с вывернутой из оголовков одной оглоблей и будто бы рады были всему этому переполоху, поводя изрядно взопревшими боками.

Гармонист успел инструмент в солому скутать, а сам улетел в подтаявший на солнышке сугроб. Мог бы и вы-

вернуться, да куча-мала заманила. Пострадавших не было. Было лишь двое обожжённых нечаянной близостью – Женя Зерин и Маша Юрицына, первая орловская красавица.

Все уже встали и отряхнулись, а эти двое, как бы нечаянно обнявшись, валялись в рыхлом снегу и процеживали через ресницы ласковые погляды весеннего солнышка.

Гулянье продолжалось до поздней ночи. Без вина пьяные молодостью и весной компашки долго ещё тревожили тишину деревенских улиц.

– Зерин у амбарьев играет и поет, – судачили в фатьян-ковских избах.

А друг мой веселил народ в этот вечер как никогда. Всем хотелось быть ближе к нему и гармошке. Она, его верная подруга, уже не выговаривала полнокровных аккордов, лишь только намекала на них то ладами, то ба-сами, а гармонист чуть охрипшим голосом восполнял пробелы:

Завивались кудреюшки
С весны до осени,
А как почуяли солдатство, –
Завиваться бросили.

– Это он про нас, – проговорил кто-то из парней. Гармонь исполнила на этот раз полнокровный проигрыш, а солист продолжал уже чуть распевнее:

Стели мать постелюшку
Последнюю неделюшку.
А на той неделюшке
Постелим мы шинелюшки...

Слаженно подхватывали девчонки:

Я любила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке до донышка
Не высохнет вода.

Братец с братом говорили
Да качали головой:
«Ох, забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой»,

– развивал тему проводов в армию Женя Зерин, потряхивая кудрями.

Я любила по пяти,
Любила по пятёрочке.
А теперь моя любовь
В зелёной гимнастёрочке,

– отвечали девчата...

И звенела гармошка, и наполнялись песнями проулки родной деревушки.

С того памятного праздничного происшествия и до поздней осени гармошка зеринская стала выходить на люди пореже да и заиграла по-другому. И это заметили все деревенские.

Без хулиганистых вывертов, без надрыва и фальцета пела гармонь про любовь земную, настоящую и неугасимую. У амбарьев, где по вечерам собиралась молодёжь, были Маша с Женей вместе или их не было вовсе. А откуда-то из-за околицы, из-за стоящих по пояс в тумане вётел доносились нежные, а иногда и щемяще грустные зеринские напевы. Услышал он как-то по радио вальс, переиначил для гармошки по-своему, а из слов запомнил только одну строчку:

Русая девушка в кофточке белой,
Где ты, ромашка моя.

Вот эта строчка и стала главной в его репертуаре.

* * *

Потом были провода в армию, обещание ждать и... Машенькино замужество. Может быть, родители её настояли, а может, погоны золотые лейтенантские блеском

своим заманили. Только уехала Машенька Юрицына с сыном местного военкома, офицером-связистом, жить счастливой семейной жизнью аж в самую столицу, точнее, в пригород её – Солнечногорск.

В пересудах деревенские жалели обоих: «Ах, какая пара не состоялась!»

Время шло. Поулеглись страсти и сплетни. Женя Зёрин остался в колхозе «Завет Ильича». Женился. Двоих сыновей растил. Шоферил. С районной Доски почёта не сходил как передовой комбайнёр.

Болтали на деревне, что в редкие приезды его Машеньки к родителям подвозил он иногда её на своём «газоне» до крайней избы. Да насочиняют ведь – недорого возьмут. А как гармонист был мой друг по-прежнему незаменим и на свадьбах, и в праздники. Ценили его и за то, что ни одну гулянку лишней стопкой выпивки не портил.

Ребятишки росли. Новые времена подступали, новые песни пелись. И всё чаще уже без гармошки.

* * *

И вновь была весна. И была беда. На красивой машине с чёрными занавесками привезли Машеньку, в девичестве Юрицыну, хоронить на родное орловское кладбище. История не нова – рак. Не смогли помочь даже московские светила. После её сорочин не стало в нашей деревне крепкого хозяина – колхозного передовика и гармониста от бога Жени Зерина.

Запил мужик по-черному. И всё больше молчал. И гармонь совсем замолчала. Из последнего тягостного запоя он не вышел. Рассказывали, что в больничке, куда успели доставить больного, когда медсестра стала капельницу налаживать, Женя смахнул с плеча трубочки и сказал: «Не надо, милая. Устал я».

* * *

...У избы стало совсем зябко и неудобно. Надо было определяться на ночлег.

Рано утром я опять заехал в берёзки и отправился в обратный путь.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

ПРОСТО ГЕНИЙ

Евгений Евстигнеев в эпиграммах и шаржах

Редко те, кто писал стихи о Евгении Александровиче Евстигнееве (1926–1992), не использовали рифму «Евгений – гений». И дело тут не только в заранее подсказанном буквосочетании, дело в самой сути. Ведь и те, кто писал о нём в прозе (в статьях, заметках, мемуарах и проч.), вполне искренне называли его талантливым, даровитым, гениальным, великим, а ещё – актёром от Бога и Артистом с большой буквы. Похоже, любое самое громкое определение не вызывало у них ни грамма сомнений.

Для горьковчан-нижегородцев вдвойне приятно, что их земляк удостоился столь высоких и единодушных оценок. Не так уж много среди них прославленных на всю страну киноартистов; при желании их можно пересчитать по пальцам одной руки: Л. Хитяева, И. Извицкая, А. Солоницын, В. Теличкина... Среди них Евстигнеев, бесспорно, самый известный и популярный. Казалось бы, Нижний Новгород – большой город и столица рядом – почему бы не возникать и не развиваться знаменитостям? Причин, конечно, немало, в основном связанных с исторически сложившимися обстоятельствами. С давних пор Нижний Новгород был городом купеческим, торговым («карман России»), в нём не было трудно пробиться творческим людям. Не очень-то они были востребованы, а если и появлялись, то, как правило,

отторгались господствующим обществом: уезжали в Москву, Петербург, спивались, высылались в Сибирь... Да и в советское время город из-за сильно развитой оборонной промышленности был закрытым, более озабоченным подготовкой технических кадров. Деятельность же писателей, артистов, художников, музыкантов была далеко не определяющей в его существовании.

Вот и Женя Евстигнеев был подростком из промышленного пригорода, работал слесарем на предприятии «Красная Этна». Знаменитый в будущем актёр мог и не стать артистом. Он трудился на заводе, участвовал в художественной самодеятельности, любил джаз и подрабатывал ударником в оркестре, игравшем в кинотеатре перед показом фильмов. Юноша не обладал интересной внешностью, не увлекался театром и литературой, не отличался излишней образованностью (не имел законченного среднего образования). Тем не менее, было в этом игравшем в оркестре нескладном на вид паренёке какое-то внутреннее очарование, неизменно обращавшее на себя внимание. Здесь увидел его директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский и предложил учиться на актёра. Таким неожиданным образом Евстигнеев в 1947 году вступил на театральную тропу*.

Ну, а после училища был Владимирский театр драмы, Школа-студия МХАТ, Художественный театр, театр «Современник» и снова МХАТ. Евстигнеев прошёл непростой путь через сотни ролей в десятках спектаклей и стал заслуженным мастером острохарактерных комедийных и драматических образов.

В. Волин:

Когда он в роли положительной,
В него влюбляются все зрители.
А если в роли отрицательной?
Да он такой же обаятельный!

* И в дальнейшем не раз и по разным поводам Евстигнеев демонстрировал своё мастерство ударника. В Интернете можно найти запись его совместного выступления с Петром Тодоровским: он солировал на вилках и тарелке, Тодоровский играл на гитаре.

Евстигнееву повезло: по жизни его сопровождали неординарные личности (вернее, те, кто вместе с ним со временем стали неординарными). В бедные и трудные послевоенные годы в Горьковском театральном училище рядом с ним актёрскую профессию осваивали Л. Хитяева, В. Вихров, А. Палеес, А. Белокринкин, в Школе-студии МХАТа вместе с ним учились М. Козаков, О. Басилашвили, Т. Доронина, Г. Волчек... Пришедшему в только что организованный «Современник» Евстигнееву пришлось изо дня в день работать с О. Ефремовым, И. Квашой, О. Табаковым... Можно без преувеличения сказать, что с самого начала театральной карьеры его окружали люди, составившие цвет советского театра.

Судьбоносной была встреча Евстигнеева с Олегом Ефремовым – отцом «Современника». Их связала крепкая дружба и полное взаимодоверие. Этим же объясняется и переход Евстигнеева в МХАТ за позвавшим его режиссёром. Ефремов с полным основанием рассчитывал, что участие Евстигнеева в мхатовских спектаклях привлечёт в театр толпы почитателей его таланта. Так и произошло.

Б. Брайнин:

Был в «Современнике» «король»,
Теперь во МХАТе – современник.
Какую б не играл он роль –
Назад не просит зритель денег.

Ефремову хотелось, чтобы главный театр страны занял подобающее ему место и по репертуару, и по мастерству исполнителей. Для этого пришлось быть не только выдающимся актёром и режиссёром, но и тонким политиком, разыгрывая с театральным и партийным руководством многоходовые комбинации. Эпиграмма А. Харитонова и Б. Григорьева, написанная в адрес драматурга Геннадия Бокарева, даже в большей степени относится к Ефремову:

Недаром говорят о нём:
Заставил МХАТ играть с огнём.

В перестройке МХАТа одна из главных ролей отводилась Евстигнееву как проводнику идей Ефремова. Недаром эпиграмма Андрея Внукова, посвящённая как будто конкретному спектаклю «Сталевары», воспринимается как гимн совместной работе актёра и режиссёра:

Царит на сцене МХАТа труд:
В счёт будущих спектаклей с жаром
За плавкой плавку выдают
Подручный с главным сталеваром!

Но до МХАТа была эпоха «Современника». «Современник» был не только театром, но почти что домом: рядом с Евстигнеевым работала жена – Галина Волчек. Это была необычная пара – их союз был вначале необъясним для многих – и для родственников, и для коллег, и для публики. Трудно было найти столь несхожих на первый взгляд людей, но их семейная жизнь скреплялась не только взаимным чувством, но и театральным единомыслием.

И. Резник:

Среди блестящих лицедеев
С душой широкою «апаш»
Царит Евгений Евстигнеев
И Волчек – современник наш...



Шарж И. Лососинова

После ухода Ефремова в МХАТ Волчек встала во главе «Современника» и многие годы успешно руководила его коллективом. Сегодня её имя неразрывно связано с победами и поражениями «Современника», с его судьбой и историей.

А. Барахович:

Слава о ней
Никуда не денется,
Но надо театр назвать –
«Современница».

О ней всегда писалось только в превосходной степени.
В. Антонов:

«Современника» опора
И хозяйка всех кулис,
Муза каждого актёра
И особенно актрис.

Супружеский союз Евстигнеева и Волчек со временем распался, но Волчек всегда вспоминала о бывшем муже с сочувствием и уважением.

Вообще почти невозможно найти среди коллег и театралов тех, кто бы негативно отзывался о Евстигнееве. С неброской, мягко говоря, внешностью он излучал необыкновенное внутреннее обаяние: без труда покорял всех – от простых забулдыг до рафинированных интеллектуалов. Этим, в частности, объясняется его успех даже в незначительных ролях – он всегда был естественным, всегда был, несмотря на своеобразие, похожим на каждого.

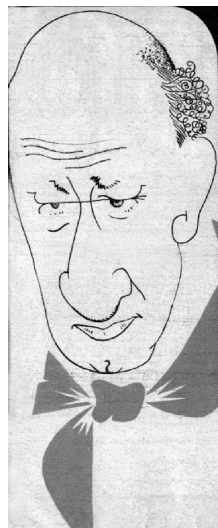
Б. Брайнин:

Одень артиста в китель,
Манишку иль кафтан, –
Его узнает зритель,
Не глядя на экран.

Б. Леви:

Да будь я хоть негром преклонных годов,
И то б, без унынья и лени,
Смотреть я скучнейший из фильмов готов
За то, что в нём снялся Евгений!

Многие отмечали, что мастерство было заложено в Евстигнееве от природы. Оно позволяло ему к любой роли подходить по-своему и всегда интересно. Можно долго перечислять его кино-роли, в которых он не только не похож,



Шарж Д. Волкова

но просто шокирующее контрастен, но при этом всегда убедителен. Советский бюрократ и примитив Дынин и гениальный ученый и умница, аристократичный профессор Преображенский – казалось бы, образы никак не способные ужиться в одном исполнителе. Не зря считалось, что за последние годы Евстигнеев был едва ли ни единственным талантливым мастером перевоплощения.

N. Levintov:

И каждый раз – без грима ты,
И каждый раз – другой Евгений.
Ты гений высшей простоты,
А можно проще – просто гений.

Мастерство перевоплощения Евстигнеев противопоставлял однообразию и унынию в ролях, судьбах, мнениях и личностях. Он писал: «Обеспокоен тем, что мы стали слишком похожи друг на друга – нет своеобразия мыслей, оригинальных точек зрения. Произошло усреднение личности, как будто какой-то невидимый каток прошёлся по людям и подравнял их».

Евстигнеев не терпел похожести и стандарта, он во многом был откровенным импровизатором. Ему претили многочисленные репетиции, он считал, что они засушивают и омертвляют и образ и действие. Некоторые режиссёры отмечали, что ему не надо было много рассказывать о герое, достаточно было полунамёка для необычного решения роли. Характерен эпизод начала съёмок фильма «Собачье сердце». На одном из первых кадров профессор Преображенский должен был выйти из кооперативного магазина с пакетом краковской колбасы. Начались съёмки, и режиссёр Владимир Бортко с досадой увидел, что из магазина вышел профессор Плейшнер из фильма «Семнадцать мгновений весны». Бортко вынужден был остановить съёмки и сказать, что это другой профессор, вовсе не Плейшнер, а, скажем... Менделеев. После короткого раздумья Евстигнеев сказал: «Давайте снимать». Через минуту из магазина вышел не Плейшнер и не Менделеев, а профессор Преображенский. Так мгновенно был решён образ героя, оставившего яркий след в памяти всех кинозрителей.

Б. Браинин:

Он каждой ролью подтверждает смело:
В кино любой возможен поворот...
Он из собаки человека сделал,
Жаль, в жизни всё пока наоборот.

Позже на вопрос режиссёра, как он добивается такого мастерства в решении ролей, Евстигнеев ответил, что у плохого актёра всего три штампа и он всегда одинаков, а у него их двадцать три, и в разных комбинациях они приносят успех.

Юмор всегда был неотъемлемой чертой артиста; он говорил: «В нашей жизни наряду с трагедией много смешного». Этим он руководствовался и в искусстве: «одной краски всегда маловато». Он не избегал комикования, но никогда не превращал его в самоцель. Всегда оно играло если и не на раскрытие образа, то на его обогащение. Именно эти дополнительные (не обязательные) чёрточки делали его второстепенные персонажи запоминающимися, понятными и близкими зрителям. Олег Табаков вспоминал: «Юмор был всегда важнейшим компонентом евстигнеевской игры. Он никогда специально не шутил, не комиковал, это просто было неотъемлемой частью его органики. Смех в зале возникал не от текста, а от точных, живых, неожиданных интонаций, от парадоксальности поведения».

За внешней лёгкостью решения актёрских задач стояли опыт и мастерство. Евстигнееву не нравилось, когда актёр приходил к роли принуждённо, через надсадную ломку, он любил в работе полёт, изящество, увлечённость. Он мог моментально обратить на себя внимание, сделать любой персонаж заметным и интересным. Как вспоминал Валентин Гафт: «Достаточно было жеста, просто звука вроде откашливания или кряхтения... – и все смотрели только на него и ждали продолжения».

Кажется, что все эти присущие Евстигнееву черты (импровизационность, лёгкость, лукавство, юмор), никогда не афишируемые актёром, хорошо понимали и зрители, и все те, кто отзывался о нём. Удивительное дело: сатирики,



Шарж К. Куксо



Шарж В. Петрухина

порой весьма нелицеприятно писавшие об артистической братии, неизменно попадали под обаяние Евстигнеева. Причём, единожды начав писать о нём, они затем по многу раз возвращались к его личности и продолжали обыгрывать её всегда по-новому. Такая притягательная сила исходила от актёра, да и неисчерпаемость его и глубина были настолько велики, что не поддавались мгновенному охвату. Немалое число эпиграмм написали на Евстигнеева Б. Брайнин, А. Внуков, В. Волин. Авторами нескольких шаржей на артиста стали И. Лосоинов, Ю. Богатырёв, В. Петрухин.

Вообще художники любили рисовать шаржи на Евстигнеева. Может быть, их привлекала некоторая загадка его образа: скрывающаяся за обычным внешним видом нестандартная актёрская мощь. Всеми силами они пытались расшифровать и отобразить это противоречие. Нередко это удавалось, и тогда и лысый череп, и серое лицо, и тощая фигура освещались внутренней силой и красотой. Внешность Евстигнеева – симпатичная и узнаваемая для зрителей (он был одним из них) – всегда играла в пользу воплощаемых им образов*. Кстати, то, что было спрятано за внешностью актёра и его пове-

* Станным кажется мнение руководителей советской кинематографии, считавших, что герои фильмов не могут быть лысыми, тщедушными или толстыми. Поэтому долгое время главные положительные роли обходили Евстигнеева, Ролана Быкова, Евгения Леонова.

дением на людях, всё же не составляло тайны для окружающих и давало им повод думать, что не так-то прост Евстигнеев.

В. Сергеев-Орловский:

Вы наш кумир в театре и кино.
К лицу вам фрак и форменка морская.
И мне вы, в целом, симпатичны, но...
Улыбка ваша слишком плутовская!

Рассматривая шаржи на Евстигнеева, можно отметить очень характерную особенность. Художники сразу схватывали то конкретное, что стояло за личностью или за воплощаемыми образами актёра: позу, движение, мимику.

Любопытен взгляд Юрия Богатырёва на Евстигнеева из глубины актёрской профессии. Два портрета, резко отличающиеся один от другого, тем не менее, узнаваемо представляют актёра. На одном он – яркий и привлекательный (если не сказать – праздничный) киногерой, каким и должен восприниматься со стороны незатейливым зрителем, на другом – погружённый в какие-то внутренние переживания и размышления усталый человек. Но что роднит оба портрета, кроме внешней узнаваемости, – понятая художником и коллегой грусть персонажа.



Шаржи Ю. Богатырёва



Шарж Г. Саинчука

Печальное выражение глаз Евстигнеева можно видеть на многих шаржах (даже на таком условном портрете, как у Глеба Саинчука). Это лишний раз доказывает, что художник-шаржист (если он настоящий физиономист) смотрит и видит гораздо глубже внешнего облика. За, казалось бы, шутливым изображением порой скрываются глубины, не свойственные «серьёзным» (а тем более парадным) портретам.

Эпиграммы на Евстигнеева можно разделить на два вида: одни оценивали его как человека и актёра, другие – описывали его участие в кинофильмах и спектаклях. Как человек он всегда выглядел обаятельно, и даже мелкие недостатки его оборачивались плюсом.

И. Нерлин:

Флюиды обаяния исходят от него,
Он женщин покорял легко и просто.
Любви к нему и популярности его
Не помешали нос и малость роста.

Как актёр он тоже не вызывал ни критических, ни насмешливых отзывов: во всех эпиграммах слышится неподдельное восхищение его талантом. Менее восторженные оценки допускались по поводу не всегда гениальных спектаклей, в которых Евстигнееву приходилось участвовать. Иногда отзывы на отдельные представления превращались в эпиграмменные цепочки сатирико-юмористических откликов, как это случилось с постановкой пьесы Геннадия Бокарева «Сталевары». Спектакль, поставленный в эпоху, называемую ныне застойной, средствами массовой информации был окрещён как этапный (сама Екатерина Фурцева – тогдашний министр культуры – благословила его). Тема труда, рабочего человека,

производственно-нравственный конфликт, победа передового над косным – всё это было в достаточной степени традиционно, но одето в новые одежды и воспринято большинством зрителей как свежая струя. На Евстигнеева, игравшего одну из центральных ролей, посыпались хвалебные отзывы.

А. Внуков:

Его рабочий стаж не мал,
Он сто профессий перебрал,
И вот в конечном результате
Отлично варит сталь во МХАТе!

В. Волин:

Его палитра так богата,
Так бесконечна щедрость дара:
От «Современника» до МХАТа!
От короля до сталевара!

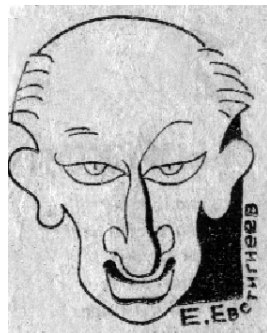


Шарж И. Лососинова

Сегодня, в общем-то, ясно, что и этот революционный для устаревшего и традиционного МХАТа спектакль был в некотором роде конъюнктурным. Уже тогда в конце 70-х в потоке восторженных славословий звучали критические нотки. Эпиграмма Александра Иванова посвящалась Евстигнееву, но ещё в большей степени её можно было отнести к режиссёру Ефремову:

Он варит сталь, он сталевар.
И варево даёт навар!

С Ефремовым, с которым бок о бок трудился Евстигнеев всю жизнь, в какой-то степени связан и уход артиста из жизни. Когда Евстигнееву, много сделавшему для становления МХАТа, да и для славы Ефремова-режиссёра, понадобился перерыв в работе



Шарж А. Евстифеева

(связанный, в частности, с усталостью из-за большой нагрузки), Ефремов сказал: «Пиши заявление». Так Евстигнеев был практически выставлен из МХАТа, что, конечно, нанесло ему глубокую душевную травму.

Умер Евстигнеев в ожидании операции на сердце, слишком ярко и точно представив её поэтапное исполнение и один из вариантов возможного завершения. Это было чересчур глубокое вхождение в нюансы предлагаемого обстоятельства, так характерное для чуткого актёра. Не случайно среди отзывов о Евстигнееве промелькнул и такой: «Даже умер талантливо».

И. Алексеев:

Его талант велик на диво
И, обнажив нам остриё,
Он смерть сыграл, да так правдиво,
Что мы поверили в неё.

В памяти современников Евстигнеев останется великим артистом. Нижегородцы вправе гордиться тем, что он был их земляком и нежно любил Нижний Новгород. Такие актёры появляются нечасто. О нём хорошо сказано в эпиграмме Вольта Сулова:

Минутки не сыщешь свободной –
Повсюду актёр нарасхват:
Кино – телевиденье – МХАТ!..
Так чей же он всё же?..
Народный.

Сергей УТКИН

Кострома

Из цикла «ПРОЗАИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ»

Пальто, согревавшее музыку

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова в Петербурге находится на Загородном проспекте в тесном, плотно занятом постройками, дворике. На первом этаже оставлены устроителями билетные кассы и гардероб, а сама мемориальная квартира заняла третий этаж в том же подъезде. Кроме нескольких комнат с воссозданным прошлым, с обстановкой квартиры великого композитора нашлось место и для камерного, скромного, но изящного концертного зала.

Столовая, кабинет, гостиная – везде есть то, чего приятно коснуться внимательным любопытствующим взглядом. Документы, фотографии, эскизы декораций к операм, спектаклям, мебель, рояль. По словам смотрительницы, все вещи подлинные, настоящие, бывавшие и бывшие в доме творца великой музыки при его жизни. Странно, но из всего этого музейного великолепия меня больше всего тронули, удивили два не самых значительных экспоната: тёмные очки и пальто в передней.

Очки были сделаны в бабушкином стиле, почти такие, как любил носить значительно позже Джон Леннон, только не прозрачными были их стёкла, а синего (не чёрного) цвета. Пальто же было каким-то удивительно домашним, не парадным, не торжественным, тёплым. Обставлена квартира вообще с большим вкусом, с некоторой роскошью, а вот это пальто было совершенно своим, свойским и напомнило дедушку.

Я задержался возле него, чтобы представить в нём музыку на заснеженной петербургской улице начала прошлого века. Века, до главных трагедий которого Николаю Андреевичу посчастливилось, удалось не дожить...

Мёртвые, оставшиеся среди нас

Немногие из мёртвых остались среди нас. Ещё меньше тех, кто остался с нами, с нашими чаяниями и тревогами, кто не оставляет, не покидает нас. Каждый сам выбирает, с кем из мертвецов жить, кого пустить в свою жизнь.

Большинство людей оставляют в ней только своих опочивших родственников, их лица, взгляды, улыбки, поступки. Что-то, свершавшееся когда-то с ними вместе. Но так получается, что не с каждым умершим теперь есть, о чём говорить. Как иногда не бывало и при жизни. И тогда ближе нам оказываются этикие всеупотребительные покойники: люди искусства, культуры, мудрецы прошлого.

Прошлые люди, но люди великие и непременно интересные. И когда среди живых тебе скучно, можно послушать, что скажет в книге по этому поводу Достоевский. Или как раздумчив в фортепианном концерте Рахманинов. Как переживал эту проблему в своих фильмах Тарковский.

Окружи себя культурой прошлого и настоящего, и близких по духу людей станет больше. Надо просто помнить, что

...Каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.

Но некоторые оставляют дома, чтобы однажды вернуться в них. Вернуться к тем, кто не захочет просить совета у недостойных живых, оставшись без достойных рядом...

Время бегства от смыслов

Эх, помню, было время такое искреннее да чувствительное, лет этак в пять моих, когда я мог расстроиться от смерти доброго зверя в кино настолько, что в прямом

смысле оплакивал его. И дело не в силе искусства: более серьёзные трагедии в искусстве теперь не трогают меня. Я лишь даю им оценку: этическую, моральную. А тот детский фильм не был, как я сейчас прекрасно понимаю, шедевром.

Дело в восприимчивости, в открытости искусству, в готовности выслушать его. Взрослый человек не подвержен слову, не подвержен литературе. Романтические героини, рыдавшие над романами, их несчастными героями, остались где-то очень далеко от нас и нашего циничного времени. Да и можно ли допускать к себе важные слова о книжном горе, когда рядом столько реальных уличных драм.

Мы научились не видеть реальных трагедий и бежим страшного смысла их каждый день. «Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам!» – так точно определил отношение к «человеку за бортом» обывателя Владимир Высоцкий. И в это время, время суетливого бегства от смыслов, видимо, глупо ждать тех, кто не сбежал бы от книжных смыслов, от писательского слова.

«И всё-таки она вертится!» И всё-таки они есть. Те, кто не покинул поле русской литературы и духовности. И она, литература, дожждётся своих новых, пусть и «бумажных», по Окуджаве, солдат. «Просто ты умела ждать, как никто другой», писал Симонов. И кажется, что он это и о нашей великой русской...

Былое, превращённое в сарай

В петербургском музее городского электрического транспорта (Музее трамвая) на Среднем проспекте Васильевского острова я оказался сырым январским днём, припорошенным мокрым снегом. На экскурсию пришло всего несколько человек: семья с детьми, ещё кто-то, вопрошавший историю техники в музее, и я.

Шустрый работник бодро повёл нас по трамвайному депо, сопровождая путешествие по былому шутками и вопросами, на которые тут же находил ответы. Чаще всего сам. Народ безмолвствовал. Кареты, трамваи, троллейбусы –

в каждый можно зайти, посидеть на скамьях, на которых уехало в свои будничные судьбы не одно поколение петербуржцев. Но запомнилась мне история первого троллейбуса.

Сейчас находящийся в музее экспонат – единственный в мире, оставшийся из тех, которые в начале 1930-х открывали в городе движение нового вида общественного транспорта. Многие видели их застывшими под снегом на обесточенных улицах зимнего блокадного Ленинграда на фото тех страшных лет. В музей же этот троллейбус попал с пригородного участка родственника одного из бывших начальников горэлектротранса, где служил долгие годы чем-то вроде сарая.

Хорошо, что люди, откопавшие в огородном хламе историю, нашлись и пристроили техническую реликвию на полагающееся ей место. Но как редки такие люди, выхватывающие в грязи и мусоре память о прошлом, само это прошедшее. Былое, из которого часто делают сарай. Оставляя его, вопреки Герцену, без дум.

Стихи по кругу

Сергей СКУРАТОВСКИЙ

Река Смородина

Я встретил зарю у Реки Двух Миров,
Полное небо вина!
Я хотел петь про смерть, а пил за любовь,
Черпая пламя со дна.
Я купался в скорби соленой воды,
С глубины поднимая грехи,
И кричала река: «Во мне нет красоты!»
Смывая с песка стихи.
Я просил закурить у змея-вахтера,
Он выдохом сжег мой страх.
Я увидел в нем пожилого актера
С сединой на зеленых висках.
Просунув ноги сквозь доски моста,
Уставившись в водную гладь,
Я понял, зачем, видя тень от креста,
Шли герои сюда умирать.

Последний домовой

Да, растрескался асфальт под безумными ногами
Пляшущих в последний раз сказочных существ.
Раскололся кобальт ночи ярко-рыжими кругами
Тех костров, где горели свитки древних королевств.

Чародеи со слезами на морщинистых щеках
Сломали свои посохи о старые колени,
Доспехи проржавели, а герои – те в веках
Растворились, не запомнились здешним поколениям.

Километрами развалин оказались те дворцы,
Где когда-то менестрели восхищали милых дам,
Феи, спотыкаясь, бродят в поисках пыльцы
Оттого, что кто-то где-то не поверил чудесам.

На могиле волшебства возраст произносит речь,
Закрывается на ключ врезанная в сказку дверца...
В ожидании руки сгнил мой деревянный меч,
И с последним домовым умирает во мне детство.

Мать Мира

Твой образ вышний не поймашь словом,
Не впишешь кистью, не проткнешь пером.
Он так же заперт, как и открыт
Почтовый голубь в ящике почтовом.

Господь Адаму подарил лекало,
Его ребром твой образ он крестил,
А я поймал душой то, что летало,
Вочеловечил, но не воплотил.

Ты – Мать Мира, хоть сама – ребенок,
Смеющийся изгибом облаков,
Подолом ловишь в поле мотыльков,
И шуришься, открыв глаза спросонок.

Но все же тебя нет, ты слишком вечна,
Чтоб оставаться в облике одном.
Но, кажется, в одной из моих женщин
Твоя улыбка обрела свой дом.

Утро

На рассвете, когда холодным кольцом
ветер сжимает виски,
Стоя на крыше, можно гладить еще не нагретый гудрон.
Солнце целует перья крыла, но страх, так по-людски,
Плавит мечты на коленях перед не наступившим днем.

Ты можешь читать стихи из окна навстречу рыжей заре,
И в крики майских чаек вплетать параллели своих миров,
Уже рассветает, подводят итоги ведьмы на лысой горе...
Бросай все узлы и прыгай в вагон, трамваи идут в любовь!

Вечер

Осколки теней в больших городах стараются стать темней,
Саднят коленки, песок на зубах, дети идут домой.
Усталый асфальт греет ладонь, шепча откровенья мне:
«Ты знаешь, сегодня травинка пробилась рядом
с двойной сплошной».

Закат размажет ярким пятном стекла жилых домов,
Вечернего неба не отразят телевизоры стылых квартир.
Хочешь, нырни в запах сирени тогда, когда будешь готов,
Когда ты поймешь, что не слишком устал,
чтобы видеть красивым мир.

Скоморох

Пусть покатится да покажется
Каждый вдох хороводом огней,
А за ребрами рвется-куражится
Печь и Ваня-дурак на ней.

С переломами, с перезвонами
Со слов снимается копоть.
Скоморох смеется со стонами,
Искусаны руки по локоть.

Бубенцы на робе на нищенской,
Кумач на дерюге заплатою,
И бесовским веет и иноческим
От бликов над шапкой рогатою.

Скоморошьего танца звонница
Раздерет, растревожит, расплещется,
И ни смех, ни плач не запомнится,
Только вечность померещится.

Разбежится морозным орнаментом
По груди холод космический,
А пятки жжет незапамятным
Смолянистым костром языческим.

В гору руки бы, небо двигая,
Вылепить в облаке лик,
Да земля вьет корнями-веригами,
И долг перед нею велик.

Сговориться бы черту с ладаном,
Да и жить бы себе спокойненько.
Навек глумиться загадано
Скомороху над Ваней-раскольником

* * *

Ты мыл посуду в воде Иордана, Маленький Принц?
Застывал ли ты мухой в клейкой ленте Фейсбука?
Принимал ли ты роды
 несовершеннолетних девиц?
Жег ли ты на кострах тех,
 кто не путал
 веру с наукой?
А Маленький Принц стоял, седой, и в очках
В асфальтовом мире, полном неона и стали,
И Роза цвела в спокойных старых руках.
С ним были свет и любовь. А кто будет с вами?

Александр ПОПОВ

* * *

Гляжу на свадьбы с чувством лёгкой грусти...
И хоть причин грустить как будто нет,
Заноеет сердце и не вдруг отпустит,
И ощутимей груз прошедших лет...

Перед глазами, словно на экране,
Июльский полдень и пьянящий зной...
Фату откинув, пью твоё дыхание,
И небеса глядят на нас с тобой...

* * *

Михаилу Григорьевичу Орешете

Холод в Мурманске собачий,
Только это не беда...
Нас зовёт к себе Рыбачий,
Едем завтра же туда!
Так в Пумманках сердцу мило,
Аж захватывает дух...
Вот и водочка остыла,
Наливай, мой старый друг...
За лесочком, недалечко,
Словно памяти маяк,
Устремилась к небу свечка –
Рукотворный символ-знак...
Вспомним всех, кого скосило,
Молча глядя на залив,
Нам судьба определила
Жизнь прожить ещё за них...
Быть Добру... Стаканчик выпит
И ещё один налит...
А к заливу речка Выкат
Всё бежит...

бежит...

бежит...

* * *

Одиночество ночей бессонных
Сединой ложится на виски...
Долгим взглядом в небесах бездонных
Я ищу лекарство от тоски.

Дальних звезд холодное свечение
Наполняет сердце теплотой...
Что мелькает там неясной тенью
И сулит моей душе покой?...

* * *

Как вышло так? – мне не понять поныне...
По воле волн, куда, не знаю сам,
Плыву один... Совсем один... На льдине
К далеким неизвестным берегам...

Не подберет корабль, идущий мимо,
Кругом темно и страшен ветра вой...
А теплое дыхание Гольфстрима
Вот-вот растопит льдину подо мной...

* * *

Песчинке каждой свой придет черед
В полете быть всего одно мгновенье.
Наивно веря в то, что Провиденье
Песочные часы перевернет...

И нам мгновенья на полет даны,
И так похожи на песчинки мы...

* * *

Волна, играя и резвясь,
Накрыла волнорез крылом.
А волнорез, не шевелясь,
Лежал и думал о своем...

* * *

Нигде не вижу доброго лица,
Ожесточились черствые сердца.

По мне скользит колючий чей-то взгляд,
Глаза я прячу, будто виноват.
И долетает, душу леденя,
Истощный крик: «Ну возлюби меня!»
Но только мы, рассудку вопреки,
Все так же друг от друга далеки.

* * *

Все опасней, все трудней дорога...
Столько верст оставив за спиной,
В одиночку, в кровь сбивая ноги,
Перевал штурмую ледяной.

Обжигая, снежной крошкой ветер
По лицу безжалостно сечет.
Я, стремясь к вершине, не заметил,
Что дорога вниз уже ведет...

* * *

Седые пряди ветер ворошил,
Сидел старик, задумавшись глубоко,
А был он в прошлом мыслями далеко,
Постичь пытался – жил... или не жил?..
Глядели вдаль незрячие глаза,
А по щеке текла...

текла...

слеза...

Мария ЮРЧЕНКО

Бери

И обращая внимания на мелкие вещи,
вычитая и прибавляя круги ада,
дабы вам к сведению, что вселенная не бесконечна.
у нее, как у любой другой собственности, есть ограда.

И среди стойких выжженных частей речи,
через тонкую призму направлен луч.
Каждый знает, что жизнь, к сожалению, не вечна.
Не вечна, но полна жизни. И в этом суть,

как мы разузнаем и разуvidим,
как мы перенаправим, себя кроя.
Самого главного глазами ведь не увидишь.
Самое главное кроется в мелочах.

Если мы остаемся, то остаемся ветром,
самым разбросанным пением хоровым.
В результате молнии, света, бреда.
Абсолютным, естественным, неземным

существом. И покуда без этого
нет ничего, что важнее и ценнее, внутри
каждого есть небольшая комета.
Вот тебе жизнь, ты только ее бери.

* * *

В последнее время я теряю слишком много вещей:
(допущение обстоятельств, таков календарь)
память, себя, футляр от карандашей.
Теперь ходи и это все собирай,

а точнее найди. Ведь потерянное дороже
быта и неприветственно яркой осени.
Лица мимолетно плывут, и может,
нахождение будет быстрым, если попросишь?

Не для себя, а для пущей сути,
что позволено Зевсу, того, жаль, нельзя быку.
И сейчас, мне кажется, я стою на распутье
от жажды припав к мельчайшему ручейку,

своей латеральной плоскостью убедившись,
что совершенно приятный и даже обычный бык –
это я. И меня пугает, что этой правдой насытившись
у меня не прорастет кадык.

А я говорю, не вполголоса, а тревожно.
Почему же на все вопросы с твоей стороны
я замолкаю и думаю «неужели тоже?»,
неужели я точно такая же, что и ты?

Нет, не точно, забыв вопрос, перенемела,
пауза с промежутком больше, чем три.
Люди совершенно неинтересны, – я говорила, –
если они разговаривают больше семи

минут и подряд. Остановиться трудно,
это уже эгоизм, раз не даешь сказать.
Что же мне делать, если я посекундно,
посекундно что-то хочу тебе передать?

Люди пугаются снов и в итоге бредят
солнечной явью прошедшей цепи событий.
Даже если катятся или едут:
в прорубь и с горки, всплеснув руками для прыти.

К этому привыкаешь и целишься в палисадник,
вон тот, зелено-желтый, где рядом стоит человек.
Даже стрелы Амура позавидуют твоей силе всадника,
что одной пущенной опрокидывал целый век.

Ярослав КАУРОВ

* * *

В кафе под навесом, на солнце искристом,
Не в силах привыкнуть к его янтарию,
Себя ощущая импрессионистом,
Смотрю, преднамеренно долго смотрю

На то, как лениво разносят бармены
Имбирного чая бокалы со льдом,
Как улицы вьется горячая вена
И юностью грезит готический дом,

На мир, состоящий из праздничных точек,
На время, застывшее словно вода,
Пока не растает последний кусочек
Прозрачного, светом зажженного, льда...

* * *

Я какой-то непутевый,
Непутевый шалопай,
И бедовый, и фартовый,
Да не вывела тропа.

Я, наверно, просто странный
И валяю дурака,
Все гуляют в ресторанах,
Я иду по кабакам.

И лежит моя дорожка
Там, где пыль да воронье.
Посмотреть мою одежду –
Это полное рваньё.

Есть чины и даже званья,
С виду здоровенный лось,
Ни семьи, ни состоянья
Мне нажить не удалось.

Работяга, не бездельник,
Озорной не по годам,
Если будет много денег,
Я ведь тут же их раздам.

По кустам петляет снова
Потаенная тропа.
Я какой-то непутевый,
Непутевый шалопай!

* * *

Светлы аллеи Переделкина,
Как будто Мекки небеса.

Мы смотрим скорбных наших дел кино,
Меняя почты адреса.

И все, что разумом расколото,
Сольется в этой синеве.
Как может быть зеленым золото? –
А это солнце на листве.

Во мне законы мироздания,
Весь мир, что скроен наугад,
И обреченные создания,
Но больше, больше во сто крат:

Грехи, ошибки, заблуждения,
Интриги, заговоры, ложь,
Химеры, ужас, наваждения
И похоти святая дрожь.

Мы – это наше отношение
И с Богом разговор на ты,
Надежды, вера и свершения,
И позабытые мечты.

Душа раскается нетленная
Под шепот мыслей-светлячков,
И тонет лодкою вселенная
На дне раскрывшихся зрачков.

* * *

Поют, как чайки, золотые трубы,
Блестит роса короною зари,
И обнажают шпаги жизнелюбы –
Искатели, певцы и бунтари.

Их путь ведет по снежным перевалам,
По пикам перламутровых вершин,
Подземным галереям и подвалам,
По закоулкам проклятой души.

Их путь ведет по замкам величавым,
Как лебеди, сверкающим в лесах,
По волнами источенным причалам,
По парусам в зеленых небесах.

Их в джунглях карлики ведут прилежно,
И водопадов плещет бирюза,
На них взирают с пониманьем нежным
Гигантов золотистые глаза.

Взлетят снегами брови великана,
И ты увидишь на исходе снов,
Как над пурпурной гладью океана
Колибри превращаются в слонов.

* * *

Антенны вместо глаз и ушек,
Колеса вместо слабых ног,
Из безопасности подушек
Вокруг него сплетен венок.

Под кнопки скрюченные ручки,
Под усилитель голосок,
Его легко убить колючкой
И фразой, брошенной в висок.

Зато вокруг все мега-, гига-,
Все супер-, ультра-, нано-, вип-,
Тут не до Моцарта и Грига –
В рекламу по уши он влип.

Ни чести, ни ума, ни силы,
С потухшим взглядом из-под век,
Таков доверчивый и милый
Наш современный человек.

Владимир УГРЮМОВ*Новокузнецк*

* * *

Утро настанет, и вечер настанет.
Много событий хороших со мной
и происходит, и нет. Я, усталый,
после событий ныряю домой.

Дом глубоко. Из окна видно звёзды.
Видно, как ближние люди, забыв
ближних, и дальних, и ранних и поздних,
шепчут беззвучно губами: «кабы».

И засыпают Иваны и Анны,
Свет покидая, возносятся в тьму
к дальним и ближним, до поздних и ранних,
к звёздам, забыв про суму и тюрьму.

* * *

Лучше всего, это лучше всего –
Видеть живого себя самого
Издалека. Или видеть других,
Делающих правильные шаги.
Влево и вправо, назад и вперед –
Передвигаться умеет народ
В божьей росе или в шелесте крыл.
Кто бы здесь приостановленный был
Ноющим зубом, болящей душой,
Вечностью? В вечности так хорошо.
Даже не больно, безлико, поврозь.
Я передвинулся, мне удалось
Хлопнуть в ладоши и топнуть ногой,
Чтобы не видеть себя самого.

* * *

«Что скажешь ты? Что ты молчишь?
Скажи, что скажешь ты?».
Забалтываюсь я в ночи
До темной немоты.

Забалтываюсь, чтоб смотреть
Как темнота кипит:
То жизнь опережает смерть,
То смерть опередит.

* * *

Интересно, чем день завершится?
Все возможно, но будет ли все?
Или все — это так, небылица,
Пересказанная наискосок? —

То, что мне померещилось прежде
И почти волновало весь день:
Распродажа веселой одежды
С логотипами мертвых людей.

Имена и портреты на ткани
Не живущих, чтоб это носить.
Кто-то купит, наденет и станет
Трепетать, хохотать, голосить.

Сергей УТКИН
Кострома

* * *

За словами моими стоит человек.
Мелкой дрожью да в ворохе букв.
Я держу её в лютой холодной руке,
И она переходит в звук.

И она остается среди бумаг
Возле этих опавших лет.
А я раньше не знал, что примерно так
Со страницы приходит смерть.

И я даже не ведал, что между нас
Потихоньку встают листы,
И они заменяют любовь подчас,
И они заменяют «ты»...

* * *

Тёмные дни и нечёткие люди.
Их разговоров неясная даль.
Завтра меня её речь не разбудит.
Утро разбудит. А жаль.

Я засыпаю. Во сне мне привольно.
Нечего помнить и жить.
Стоит проснуться, и снова чуть больно
Быть кем-то или не быть...

* * *

Охладила меня глубинка,
Синька
Полустанка,
Санки
Старухи,
Слухи,
Говор одной знакомой.
Обмороком и комой
Грозившей стужей,
Где я не нужен.
Ну же!
Выкинь снежком печаль
В даль
Тех земных наречий,
Где вечер

На чёт и нечет
Рассчитан.
Сквозь сито
Всех дней и лет
Проходят люди.
Пребудет
Со мною твой свет и след.
Подсуден
Я твоему
Взгляду.
К ляду
Других присяжных!
Мне важно!

Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА

Кострома

Ноль

В изгибах
цельного овала
есть гибель мира
и его
закономерное начало,
как есть в звучащей букве «О»
испут,
восторг и
торжество...

* * *

На душе,
 как в тайнике.
Чушь и ложь связав,
Не гадай мне по руке...
А гляди в глаза!

* * *

В уставшей комнате моей
Пятьсот отмерено шагов
В пути от шкафа до дверей –
По круговой –
 почти без слов.

По четырём её углам
Твоё лицо, как божий лик.
Но этот храм...
 Но этот храм
К моим молитвам не привык.

* * *

Обведя в оконной раме
Очертание креста,
День ушёл,
 как гаснет пламя,
В суете сует устав.

...Ничего не нужно,
 кроме
Тишины.
 Кругом темно,
Лишь горит в соседнем доме
С красным отсветом окно.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Земля и Небо

Земля и Небо как-то раз
Сошлись у горизонта
И выясняли битый час,
Что значит жить под солнцем.

Земля сказала: – Жизнь крута,
И жить одна морока.
Диктует каждый свой устав,
И нет ни в ком пророка.

Простак свою являет прыть –
Ложится пыль порошей.
А шельма рвется землю рыть,
Чтоб ухватить побольше.

И небо молвило в ответ:
– Жизнь – это крылья птицы:
Тот на земле оставит след,
Кто в небеса стремится.

Каприз

Плоды раздарив, скрылся август,
Отзывчивый, добрый, земной,
И стали вдруг скучными травы,
И зябко порою ночной.

Крича, налетел дерзкий ветер
И к роще на взгорок помчал,
Схватил он девчонку за плечи,
На кряжистый дуб поворчал.

Попрятались мышки-норушки,
Склонилась осинка, дрожа,
Поникли цветы на опушке,
Прижалась к обрыву лоза.

Вмиг краски в лугах потускнели,
Застыли в реке стайки рыб,
Наохлились темные ели,
На пашне взлохматилась зыбь.

Пугливо качается кашка,
Как море, волнуется рожь,

А ветер играет в пятнашки,
С вихрастым мальчишкою схож.

Умчались в малинник лисята,
Полянку покинув свою,
И только в ложбинке опять
Остались в привычном строю.

На небе сплошное движенье
Резной бахромой лоскутков,
Но нет в нем и тени волненья:
Оно – выше всех облаков.

Душой не разминусь я с летом
И верю, что солнце взойдет
И будет нам ласковым светом
Сиять еще долго, и вот

Я вижу желанную просинь,
Лист кружит, не падая вниз.
А может быть, это не осень,
А просто природы каприз?

Грабли

Жизнь – сомнений поле,
Глупостей табун,
Крыльев взмах в неволе
И – рывок в судьбу.

Терпких будней капли,
Дерзких ветров прыть...
Жизнь – всего лишь грабли,
Чтобы по лбу бить.

Моя метель

Ух, метель, ух, работяга,
Ишь, как ты взялась мести!

Из-за дальнего оврага
Буря снежная летит.

Рада ты всю стараться,
Хоть сегодня выходной.
Люди парами кружатся,
А вот ты кружишь с метлой.

Никаких от нас секретов,
Мчишься – косы на плетень.
Любишь ты гулять по свету,
Обнажая чувств метель.

Отдыхать? И не мечталось –
Ну почти как у людей.
Да куда же ты помчалась?
Обними меня, метель!

Подойди

Подойди ко мне, подойди,
Рану старую разбери...
Сколько юных счастливых дней
Пролетели тогда, как во сне.

Что же вдруг случилось с тобой –
Заменяла весну зимой.
Ты хотела счастливой стать,
Наши чувства направив вспять.

Не свершилась твоя мечта:
Вкривь и вкось пошла колея.
Больно жизнь тебя обожгла,
И осталась ты, как была –

Гордой, взбалмошной, потому
Не согласишься теперь никому.
Если я сам сделаю шаг,
Вдруг язык мой окажется враг?

Подойди ко мне, подойди,
Рану старую разбереди...

Твое имя

Пусть говорят лингвисты: слово — знак
И имя, дескать, ничего не значит,
Я согласиться не могу никак,
Чтоб можно было звать тебя иначе.

Как звонкая певучая волна,
В стихии слов, могучей и бескрайней,
Поет, волнует и зовет меня
То имя, что открылось мне как тайна.

Всем непогодам и ветрам назло
Знакомый всплеск вдали я слышу снова:
В водовороте торопливых слов
Звучит родное ласковое слово.

В нем нежность первой девичьей любви
И искренность доверчивого взгляда,
В нем откровенье утренней зари
И россыпь стрел ночного звездопада.

Пусть в море слов нам не увидеть дна,
Пусть не измерить ширь его и силу,
Когда б не ты, певучая волна,
Мне никогда бы не узнать прилива.

Детские странички

Галина ЗЕЛЕНКИНА

Кодинск, Красноярский край

ДОБРАЯ КУКЛА МАША

Кукла Маша сидела на комодѣ между зайчиком и медвежонком, любимыми игрушками девочки, жившей когда-то в этом доме, и смотрела круглыми голубыми глазами на противоположную стену, где висел портрет юной девушки.

«Как быстро она выросла», – подумала кукла, вглядываясь в знакомые черты своей бывшей хозяйки. И невдомѣк ей, что на портрете не хозяйка Верочка, а её мать Татьяна Степановна в молодости. Сходство обличей всегда дезориентирует, и часто видимое принимается за желаемое. Вот если бы у куклы были мозги и она могла мыслить, то поняла бы, что уже полтора десятка лет видит один и тот же портрет. И она бы тогда подумала о том, что случай и беда непредсказуемы и всегда представляются и появляются, когда их не ждѣшь. Так и произошло в ту роковую ночь, когда кукла Маша лишилась всего: рук, ног и искусственного разума. Сказать точнее, руки и ноги у неё были, но не двигались, а висели как плети. И чип в голове у куклы был, но программа стёрлась, и, кроме фразы: «Как быстро она выросла», – ничего нельзя было извлечь из карты памяти. И всё это произошло из-за болезни её маленькой хозяйки Верочки.

Но вернёмся к началу истории.

Когда в продаже появились первые куклы-биороботы, Татьяна Степановна, не раздумывая, решила приобрести такую игрушку для младшей дочери Верочки, болезненного создания четырёх лет от роду.

В назначенное покупательницей время куклу доставили из магазина. Рассыльный занёс коробку в дом и поставил её на большой круглый стол в гостиной.

– Вот и хорошо! – воскликнула Татьяна Степановна, глядя на рассыльного, распаковывающего доставленный товар.

– Пока никто не жаловался на наших кукол, – заметил тот.

– Это я к тому, что дочери нет дома. Когда она вернётся с прогулки, то обрадуется, увидев куклу во всей красе, – пояснила женщина.

Рассыльный освободил коробку от содержимого, разложив его на столе, и протянул покупательнице документы на покупное изделие.

– Эту куклу зовут Машей, так написано в её паспорте, – сказал он.

– Хорошее имя, – ответила Татьяна Степановна и отправилась на кухню, чтобы приготовить чай.

Пока Татьяна Степановна хлопотала на кухне, рассыльный установил программный блок в компьютер, встроенный внутри туловища куклы, и проверил ее работу в действии.

– Вам какая кукла нужна? – обратился он к вернувшейся из кухни хозяйке. – У нас есть три варианта: Маша добрая, Маша умная и бабушка Маша.

– Бабушка у нас есть, да и на ум пока не жалуемся, а вот доброты иногда не хватает, – ответила Татьяна Степановна.

– Пусть будет Маша добрая, – сказал рассыльный и поставил куклу на пол.

Кукла повертела головой в разные стороны и только когда убедилась в том, что её безопасности ничто не угрожает, поздоровалась с Татьяной Степановной.

– Здравствуй, Маша! – ответила та. – Добро пожаловать!

Слова Татьяны Степановны Маша восприняла буквально.

– У меня в программе заложено, чтобы добро всем дарить, – заметила кукла.

На что Татьяна Степановна улыбнулась и покачала головой. «Теперь придётся следить за своими словами», – подумала она.

Когда в сопровождении бабушки вернулась с прогулки Верочка, кукла сначала подошла к девочке и протянула ей руки.

– Меня зовут Машей, – представилась она. – Я буду твоим дружочком.

– Дружочек – это хорошо! – обрадовалась девочка и протянула Маше руки.

Так они поздоровались. Затем кукла поздоровалась с Анной Сергеевной, бабушкой Веры.

– Пойдём со мной! Я хочу показать тебе нашу комнату, – предложила девочка кукле, и они пошли осматривать детскую комнату.

– Ну и дела! – только и смогла произнести Анна Сергеевна, впервые увидевшая куклу-биоробота воочию.

– То ли ещё будет! – пообещала ей Татьяна Степановна. И оказалась права.

Осень в этом году выдалась дождливой и ветреной. В тот день, когда Верочка с Анной Сергеевной отправились на прогулку в ближайший от дома парк, внезапно подул холодный ветер и пошёл дождь со снегом. Прогулка была омрачена непогодой, и домой бабушка с внучкой вернулись в плохом настроении.

«Не заболеть бы», – подумала Анна Сергеевна, развешивая для просушки в ванной свою и внучкину промокшую одежду.

Вечером у девочки повысилась температура, и Татьяна Степановна, уложив дочь в постель, вызвала врача на дом.

– Дружочек заболел! – сказала кукла и погладила девочку руку. – Не бойся, я тебя вылечу.

– А ты не обманешь? – спросила Верочка, с надеждой глядя на своего дружочка.

– Обман не заложен в программу общения, – ответила Маша добрая. – Я ведь биоробот, а не человек.

«Твои бы слова да богу в уши», – подумала Татьяна Степановна и погладила куклу по голове.

– Это я виновата! – несколько раз повторила Анна Сергеевна, прикладывая платочек к глазам, пытаясь скрыть слёзы.

– Мама, успокойтесь! Никто вас не винит в болезни Верочки. Нельзя было предвидеть резкое ухудшение погоды, вы же не метеоролог, – сказала Татьяна Степановна. – Лучше достаньте из дорожной сумки мою аптечку. Я должна сделать Верочке укол. Похоже, что у неё пневмония.

– Ты врач, тебе виднее, – ответила Анна Сергеевна.

Врач «скорой помощи» подтвердил диагноз, поставленный Татьяной Степановной.

– Странная какая-то пневмония, – заметил он, осмотрев девочку.

– А что в ней странного? – спросила Анна Сергеевна.

Она и так себе места не находила, считая себя виновницей болезни Верочки, а тут ещё врач с какими-то странностями.

– Быстротечная, – ответил врач, – кризиса ждать недолго. Звоните, если что.

С этими словами он вышел за дверь, не подумав о том, что его слова ещё больше расстроили Анну Сергеевну. Радовало её только то, что кукла Маша неотлучно находилась рядом с Верочкой и старалась помочь девочке одолеть болезнь. Кукла пела песенки, рассказывала весёлые истории и танцевала какие-то немыслимые танцы, так как хорошо запомнила, что врач советовал отвлекать ребёнка от грустных мыслей. Её старания не пропали даром. Верочка смотрела на куклу во все глаза и улыбалась.

«Хватит ли доброты людской для спасения души человеческой?» – подумала кукла Маша и поняла, что не хватит, увидев, как девочка закрыла глаза и захрипела.

– Это кризис, – сказала Татьяна Степановна и почувствовала, как сердце её сжимается от страха за дочь.

– Что вы делаете, когда нужна помощь? – обратилась кукла Маша к Анне Сергеевне.

– Мы молимся Богу о спасении, – ответила ей та.

«Я должна спасти дружочка», – мысленно приказала себе кукла Маша и запустила программу самопожертвования.

Анна Сергеевна лишилась дара речи, когда увидела куклу Машу, стоящую на коленях с поднятыми вверх руками.

– Прошу тебя, мой создатель, отдать всю мою энергию Верочке для исцеления от болезни! – трижды произнесла кукла Маша и сломалась.

Анна Сергеевна перекрестилась три раза и подхватила куклу на руки.

– Маша тоже заболела? – услышала она голос внучки и обернулась на звук.

Увидев улыбающееся лицо дочери, Анна Сергеевна поняла, что кризис миновал.

– Это Маша спасла нашу Верочку, – сказала Анна Сергеевна и усадила сломанную куклу на комод.

– При чём здесь Маша? – удивилась Татьяна Степановна. – Это антибиотики помогли.

Но Анну Сергеевну не так-то легко было переубедить. Утром она вызвала мастера по ремонту биороботов. Мастер осмотрел куклу и вынес заключение, что кукла ремонту не подлежит.

– Закажите новую, – предложил он Анне Сергеевне, но та отрицательно отнеслась к его предложению.

– Разве можно предавать дружочков? – услышал мастер в ответ и пожал плечами.

«Странная какая-то женщина», – подумал он, покидая квартиру Анны Сергеевны.

«Неужели все такие бессердечные?» – в свою очередь подумала Анна Сергеевна, закрывая за мастером дверь.

Спустя некоторое время Татьяна Степановна по просьбе Верочки решила заказать новую куклу. На её вопрос, есть ли ещё в продаже добрые куклы Маши, представитель завода-изготовителя ответил, что эта модель из-за частых поломок снята с производства.

– Возьмите Машу умную, – предложил он. – Никаких претензий от покупателей не поступало.

ОТШЕЛЬНИК, ОПОЗДАВШИЙ НА СМЕРТЬ

*Времена не выбирают,
в них живут и умирают.*

Александр Кушнер

Когда-то давным-давно среди Карпатских гор, в одной из пещер самой высокой горы, жил старый отшельник по имени Ференк. Никто его в глаза не видел, но все знали о том, что он есть.

Говорят, слухами земля полнится. А по слухам, у подножия горы, где в одной из пещер проживал Ференк, всегда цветов изобилие и орешник плодоносит лучше, чем у жителей близлежащего селения.

Так бы и шло всё своим чередом, если бы старый пастух по имени Абель не рассказал молодому подпаску Яношу об отшельнике.

– Говорят, что в одной из пещер этой высокой горы, у подножия которой мы расположились на отдых, живёт отшельник, опоздавший на смерть, – проговорил старик, глядя на большое белое облако, скрывшее от его глаз вершину горы.

– А какой он, этот отшельник? – поинтересовался юноша.

– Не знаю, – ответил Абель. – Из наших односельчан никто его в глаза не видел, да и в предании ни слова нет о том.

– А почему? – удивился Янош. – Может быть, человеку помощь требуется. Судя по всему, он должен быть весьма преклонного возраста.

– Да как-то все свыклись с мыслью, что это легенда. Оттого и не пытались искать обитель отшельника, – объяснил старый пастух равнодушие своих соплеменников.

– Я его найду, – пообещал молодой подпасок. – Завтра же и пойду.

– Завтра так завтра, – разрешил Абель и усмехнулся в седую бороду.

Чуть свет Янош уже был на ногах. Он взял приготовленную с вечера котомку с едой и питьём и, попрощавшись со старым пастухом, отправился в путь.

Полдня потратил Янош на поиски пещеры отшельника и, когда нашёл её и проник вовнутрь, то не поверил глазам своим: навстречу ему из глубины пещеры вышел сухопарый старик высокого роста и седой как лунь.

– Ференк, – представился он и приложил к груди костлявую руку. – Я ждал тебя.

– А меня зовут Яношем, – ответил юноша и протянул старику котомку с едой и питьём. – Я принёс вам поесть.

Отшельник усмехнулся, но котомку взял.

– За это тебе от меня подарок, – сказал он и, сняв с шеи медальон на длинной золотой цепочке, протянул его Яношу.

Но, видя, что юноша колеблется, Ференк подошёл к нему вплотную и сам повесил медальон на шею юноше.

– Бери, бери! – произнёс отшельник тихим голосом. – Заслужил!

От похвалы старика юноша смутился и решил переменить тему разговора. Но, заметив, что Ференк отошёл от него на несколько шагов в сторону и внимательно осматривает его с ног до головы, повременил с вопросом. Лёгкая тень скользнула по лицу отшельника и исчезла в глубине пещеры.

– Спрашивай! – разрешительным тоном произнёс старик и подошёл к юноше. – Сядем на камни, что лежат у входа в пещеру. Я чувствую в ногах вековую усталость.

Янош понял, что Ференк идёт ему на уступку, заметив, как много сил затратил он на поиски пещеры отшельника.

– Вас называют отшельником, опоздавшим на смерть, но никто не может объяснить, откуда взялось такое название, – обратился юноша к старому отшельнику.

– Хорошо, – ответил Ференк. – До прихода старухи по имени Смерть у тебя ещё есть время выслушать мою историю.

И вот что услышал Янош.

РАССКАЗ ОТШЕЛЬНИКА

По ту сторону гор раньше было большое селение, в котором жили добрые и трудолюбивые люди. Там я и родился в семье гончара. Но вопреки желаниям родителей я увлёкся охотой и рыбалкой, поэтому стал изгоем для своих родственников. И хотя никто из них не отказывался отобедать жареными дикими гусями или утками, но за глаза они называли меня неудачником. Я не обижался на них. Разве можно сердиться на ветер, который сам порой не знает, куда летит? Так и человек иногда вобьёт себе в голову, что всё должно быть так, как он хочет, и ничего ты ему не докажешь. Со временем я понял, что не должен никому ничего доказывать. Нужно просто заниматься делом, которое тебе нравится.

Один несчастный случай на охоте изменил мою судьбу. Однажды я, выстрелив наугад, смертельно ранил кормящую волчицу. В наше время это считалось большим грехом. Глядя в глаза умирающей матери, я поклялся, что выращу и воспитаю её детёнышей. Волчица словно поняла мои слова, так как закрыла глаза и, тяжело вздохнув, умерла. Я забрал её троих волчат и поселился с ними в этой пещере.

Когда волчата выросли настолько, что стали самостоятельно добывать себе пищу, я решил навестить родных. Обогнув гору, я вышел на тропу, что вела к селению, и сразу же почувствовал запах гари. Едва я ускорил шаг, как навстречу мне попала старая женщина в чёрных одеждах. В руках она держала косу.

Я уступил ей дорогу и поклонился. «Вроде бы рано для сенокоса», – подумал я тогда.

Женщина взглянула на меня с усмешкой.

– Я – Смерть! – сказала она и, увидев, что я побледнел, засмеялась.

Её смех сжимал моё сердце и замораживал душу.

Смерть подошла ко мне так близко, что я ощутил запах мертвечины, исходящий от её одежд.

– Не бойся, – услышал я её скрипучий голос. – За то, что ты опоздал на собственную смерть, будешь жить отшельником в своей пещере, пока добрый юноша не принесёт тебе еду и питьё. Только тогда я приду за тобой.

С этими словами она отвернулась от меня и удалилась прочь. А я сломя голову помчался в селение.

Добежав до поворота, я упал на землю и долго рыдал. Ужасное зрелище, что предстало моему взору, не каждому по силам вынести. От моего селения остались одни головешки. Ни людей, ни скотины я не увидел.

– Кто же вас всех сжёг? – в отчаянии крикнул я, пройдя по бывшей улице в конец теперь уже бывшего селения.

– Я, – послышался слабый голос.

Оглянувшись на звук голоса, я увидел деда Силарда. Он сидел на пне в обгоревших лохмотьях, безусый и безбородый. Увидев, что я направляюсь к нему, он замахал руками.

– Не подходи! Чума! – крикнул он из последних сил и упал замертво.

Я насобирав несколько вязанок хвороста и сжёг труп деда Силарда.

«Заезжий горожанин завёз смерть в наше селение», – подумал я. В те времена такие случаи были нередки. Оставшись один как перст, без родни и отчего дома, я возвратился в пещеру и стал обустраивать её для постоянного проживания. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я стал отшельником, но только однажды я решил умереть. Объявив себе голодовку, я перестал принимать пищу. Я не ел долгое время, но не умер от голода. И тогда я стал ждать прихода своего спасителя. Но время тянулось так медленно, а я всё жил, и жил, и только старел. И постепенно из молодого и красивого юноши превратился в безобразного старца.

Ференк прервал рассказ и протянул руку Яношу. Тот молча пожал её.

– Пора! – вдруг произнёс старик.

– Куда пора? – поинтересовался Янош.

– Ты не видишь, что Смерть пришла? – ответил Ференк и, упав на каменистый пол пещеры, превратился в пыль.

Янош оглянулся и увидел старую женщину в чёрных одеждах и с косой в руках.

– У тебя доброе сердце, – сказала Смерть, глядя в упор на Яноша. – Я подарю тебе бессмертие.

– Мне оно ни к чему, – отказался тот.

– Почему? – удивилась Смерть.

– Хочу жить и умереть в своём времени, – ответил Янош и с вызовом взглянул на старуху с косой.

– Пусть будет по-твоему, – согласилась та. – Надеюсь, что от долгих лет жизни ты не откажешься.

– Не откажусь, – сказал Янош и улыбнулся.

– Ты первый, кто улыбнулся мне, – заметила Смерть. – За это я добавлю тебе ещё десять лет жизни.

Не успел юноша и глазом моргнуть, как старуха с косой исчезла, словно растворилась в воздухе.

«Ну и дела! – подумал Янош. – Кому расскажи, не поверят!»

Но старый пастух Абель поверил каждому слову юноши. Он-то знал, что Янош обманывать не умеет. Да и ни к чему это ему.

– Покажи-ка мне ещё раз тот медальон, что подарил тебе Ференк, – попросил он юношу. Тот снял с шеи подарок отшельника и протянул его Абелю.

Старик долго рассматривал медальон со всех сторон, открыл крышечку и поднес к глазам. Наконец он довольно крикнул и посмотрел на юношу, с нетерпением ожидающего результата его осмотра.

– Я сразу понял, что всё это неспроста, как только ты решил найти отшельника, – произнёс Абель и протянул Яношу медальон. – Теперь убедись сам.

– В чем я должен убедиться? – спросил юноша.

– Прочти надпись на внутренней стороне крышечки медальона, – сказал старик.

– Яношу от Ференка, – прочитал Янош и с удивлением взглянул на старого пастуха.

– Но откуда он мог знать? – произнёс юноша и задумался.

«Пути господни неисповедимы», – подумал Абель..

– Не рассказывай никому о том, что с тобой произошло в пещере отшельника, – посоветовал он Яношу. И в ответ на вопросительный взгляд юноши добавил: – Злые и завистливые люди могут укоротить твою жизнь.

Так и решили. Но мы-то не злые и не завистливые, поэтому нам можно рассказать.

ДВЕСТИ ТАКТОВ ТИШИНЫ

Говорят, что земля слухами полнится. Вот и до музыкального театра небольшого провинциального городка донёсся слух о странностях нового дирижёра Стива Якоби, приезда которого оркестранты ожидали с минуты на минуту.

– Директор просил отнестись к Стиву с пониманием и помочь ему быстро освоиться в нашем коллективе, – произнёс первый скрипач Алекс, выходя из-за кулис на сцену, где уже расположились в полном составе оркестранты.

– Говорят, что он с головой не дружит, – заметил альтист Андрей, любитель посплетничать обо всех знакомых и незнакомых ему людях.

– Говорят, что и кур доят, – грубо оборвал его контрабасист Энтони.

– Поживём – увидим, – примирительно произнёс Алекс.

– Жаль, что не все могут терпеливо ждать или молча догонять, – как бы вскользь обронил старый флейтист Густав.

Но Андрей понял, что это камешек в его огород, и покраснел. С Густавом никто никогда не спорил, потому что тот говорил редко и мало, но всегда по сути проблемы. Но на сей раз старик изменил себе, и речь его была длиннее обычных высказываний.

– Бог дал человеку голос, чтобы тот смог выразить им душевные переживания. Но, как вам известно, звук можно переводить в символы, а потом из символов извлекать его обратно. И от того, как вы сможете извлечь звук, зависит, какая будет произведена музыка. Вот почему общение через дирижёра подразумевает родство душ. Самый лучший

результат от этого общения – возможность услышать не слышанное в музыке. Вероятнее всего, что Стив пока не нашёл оркестра, с которым бы смог слиться воедино.

Слова Густава заставили покраснеть не только Андрея, но и других оркестрантов, которые в душе поддерживали гитариста, но вслух не высказывались.

– Лучше приготовьте ноты, – заметил Алекс. – Директор рекомендует Венгерский танец номер пять – любимое произведение Стива Якоби.

– Я где-то читал, что этот танец Брамса использовался властями для вербовки людей в солдаты, – заметил Карл по прозвищу Многостаночник, так как играл на нескольких музыкальных инструментах: литаврах, треугольнике, колокольчиках, бубне и кастаньетах.

– Значит, новый дирижёр хочет завербовать нас в свою армию. Я думаю, что на его месте так поступил бы каждый. Разве не так? – с этими словами Энтони обратился к сидящим рядом с ним альтистам.

Но ответа на свой вопрос не услышал. Так как...

– А вот и дирижёр, – произнёс Андрей, первым заметивший высокую сухопарую фигуру уже немолодого мужчины, выходящего из-за кулис на сцену.

«От директора идёт, – промелькнула мысль в его голове. – Наверняка получил от начальства инструкции насчёт нас».

«Фи! Какой неприятный тип! – подумала про себя вторая скрипачка Луиза, оглядев с ног до головы Стива Якоби. – Немудрено, что с такой внешностью он нигде долго не задерживается».

«И чего на мужика нападают? – задал сам себе вопрос Густав. – Мне так он понравился. Ничего лишнего ни в лице, ни в фигуре».

– Здравствуйте! – произнёс Энтони и с улыбкой поклонился дирижёру. – Меня зовут Энтони. Я контрабасист.

Слова Энтони и его улыбка вмиг разрядили возникшее было общее напряжение. Стив это почувствовал и с облегчением вздохнул. Он вспомнил слова напутствия своего единственного друга Роберта, слепого от рождения, которые тот произнёс перед отъездом Стива к новому месту

работы: «Я думаю, что на этот раз тебе повезёт и ты найдёшь то, что ищешь уже много лет». – «Почему ты так думаешь?» – удивился Стив. «Я же ясновидящий», – пошутил тогда Роберт.

Дирижёр тряхнул головой, и воспоминания спрятались в лабиринте памяти.

– А я ваш новый дирижёр. Меня зовут Стивом Якоби. В неофициальной обстановке можете звать меня просто по имени, – скупо представился Стив.

Впрочем, никто и не ожидал от него биографических данных. Для этого есть отдел кадров, где работает премиленькая Розалия, у которой за шоколадку можно выудить все сведения об интересующем вас субъекте. Об этом подумали, не сговариваясь, все незамужние женщины-оркестрантки. А их оказалось ни много ни мало, а пятеро.

Оркестр, которым предстояло руководить новому дирижёру, был малого состава, численностью всего сорок восемь человек. Для небольшого провинциального городка существование полномасштабного оркестра экономически нецелесообразно. Но ведь не зря же говорят: «как велика порою малость, и как великое мало». Всё всегда познаётся в сравнении.

Поэтому знакомство с музыкантами заняло не так много времени.

Дирижёр обвёл всех присутствующих внимательным взглядом, словно примеряясь, стоит или нет поручать им решение сложной задачи.

– А теперь двести тактов тишины, – произнёс Стив Якоби и взмахнул дирижёрской палочкой.

Недоумение, помноженное на безмолвие, вызвала команда дирижёра у оркестрантов. Никто из них прежде не играл тишину такого объёма. Поэтому все замерли и про себя стали считать такты. Конечно, шагами считать легче. Один такт – один шаг. Но для этого надо было покинуть своё место и шагать по сцене. Какая уж тут тишина! Она не будет похожа на застывшую музыку.

Дирижёр внимательно вглядывался в незнакомые ему лица оркестрантов. Они были разными: одни хмурые, другие улыбчивые.

«С этими людьми я должен стать единым целым – или расстаться и отправиться на поиски другого оркестра, чтобы услышать звон колокольчика в полной тишине», – подумал Стив.

Пронзительный взгляд дирижёра вызывал у оркестрантов разные думы, возникавшие как-то вдруг.

Первый скрипач Алекс вдруг осознал, что надо обязательно извиниться перед женой за повышенный тон, каким он с ней разговаривал утром.

А Густава вдруг осенило, что в неприязненном отношении к нему сына виноват он сам, поэтому первым должен сделать шаг к примирению.

Даже Андрей вдруг подумал, что все его неприятности от чрезмерной болтливости и надо бы поскорее излечиться от словесного поноса.

Когда чужие мысли были прочитаны, а свои только зарождались, чтобы успеть сформироваться до конца паузы, до которого оставалось несколько тактов, Стив услышал звон колокольчика. И хотя он его воспринимал внутренним слухом и мог слышать только он один, это было чудо, которого он ждал всю свою творческую жизнь. То ли от долгого ожидания, то ли от напряжения чувств, но из души дирижёра выплеснулась радость и скатилась прозрачной слезой по щеке. Наконец-то он нашёл оркестрантов, которые могут с ним одинаково чувствовать и вместе дышать. Улыбка осветила лицо Стива, отчего оно перестало походить на маску. Он был рад, что оркестранты выдержали испытание тишиной. За двести тактов они стали мудрее и добрее.

– А он симпатичный, – заметила вдруг Луиза, повернув голову к своей подруге Марии, такой же скрипачке, как и она сама.

– Да, – подтвердила та. – Как же мы раньше не заметили?

Дирижёр с укоризной взглянул на девушек и покачал головой.

– Венгерский танец номер пять Иоганнеса Брамса. Первая скрипка солирует, – громко объявил он и взглянул на Алекса.

Алекс улыбнулся в ответ и коснулся смычком струн своей волшебной скрипки.

Такого исполнения широко известного музыкального произведения Брамса залу ещё не доводилось слышать за всю историю существования провинциального театра. Звуки музыки взлетали ввысь к потолку, затем, скользнув по стенам, рикошетом вонзались в сердца и души слушателей, коих в зале собралось около сотни человек: посмотреть на нового дирижёра пришли рабочие театра и артисты, не занятые в вечернем спектакле, а также их друзья и знакомые, любители классической музыки.

В первом ряду сидел сам директор театра и с задумчивым лицом слушал «фа-диез минор», как он называл Венгерский танец Брамса под номером пять. Когда в зале наступила тишина, которая спустя несколько секунд (столько времени потребовалось онемевшим от восторга слушателям) взорвалась криками и громкими аплодисментами, директор встал и направился к сцене. Подойдя к Стиву Якоби, он крепко пожал ему руку и поздравил с успехом.

– Объясните мне, пожалуйста, – спросил он, обращаясь к оркестрантам, – как удалось так гениально сыграть без единой репетиции?

– Спросите об этом двести тактов тишины, – ответил старый Густав и рассмеялся.

Вслед за ним засмеялись и другие музыканты.

– Да ну вас! – пробурчал директор. – Сказали бы уж, что двести тактов смеха.

– А что? Это мысль! – воскликнул Стив Якоби и взмахнул дирижёрской палочкой.

ЯНЕК И БАСЯ

На вершине холма был старинный город, окружённый высокими крепостными стенами. Близ одной из стен, буквально в ста метрах от неё, стояла ветхая лачуга, в которой жил старик Янек. Любой обыватель сказал бы, что Янек – обыкновенный горшечник. Но не спешите верить чужим словам. Давно замечено, что именно в простоте и обыкновенности заложено нечто гениальное. И выражение «всё гениальное просто» возникло не само по себе. Но люди не любят не похожих на себя созданий Божьих, поэтому сочиняют про них небылицы. От страха или от зависти – неважно. Бог им судья.

По описаниям очевидцев, правда жизни Янека была неприглядной.

Горшечник был таким бедным, а его лачуга такой ветхой, что горожане сторонились их, словно боялись заразиться болезнью, которая зовётся нищетой. Только одна сирота по имени Бася жалела старика и иногда приносила ему кусок хлеба с сыром и луковицей, что давала хозяйка ей на ужин. Не слушая возражений Баси, Янек делил еду пополам, и они молча ужинали, запивая каждый кусочек родниковой водой. Пожелав старику спокойной ночи, девочка убегала к хозяйке. Но чаще всего Бася оставалась без ужина, так как хозяйка просто-напросто забывала про девочку.

Старик Янек жалел Басю и понимал, что она от доброты сердечной отдаёт ему последний кусок хлеба с сыром, обрекая себя на добровольное голодание. И этого он допустить не мог. Поэтому, несмотря на то, что его руки

со скрюченными пальцами уже не способны были, как раньше, лепить красивые кувшинчики, миски и чашки, горшечник решил сделать Басе подарок.

Когда девочка в очередной раз не принесла ужин, Янек стал собираться в путь. Он положил в мешок смену белья, кувшинчик, кружку, два сухаря и необходимый для работы инструмент. С первыми лучами солнца старик вышел из лачуги и по едва заметной тропочке спустился по склону холма в долину.

– Давно я здесь не ходил, – произнёс вслух Янек, и эхо ответило ему.

«Дил, дил, дил!» – разнеслось по всей долине.

– Перестань! Не до шуток мне сейчас, – попросил горшечник, и эхо замолчало.

Недалеко от ручья, что стекал по склону холма в долину, находился овраг, где у Янека была заветная яма, на дне которой можно было увидеть голубую и розовую глину. Её было так мало, что не хватит ни на кувшинчик, ни на чашку. Но зато вполне достаточно для хорошей свистульки. Старик присел на лежащий возле ямы плоский камень и задумался. Сколько мешков с глиной перетаскал он из ямы в лачугу – теперь уже и не вспомнишь. Годы идут, времена меняются, и спрос на глиняную посуду практически пропал. Разве что какой-нибудь коллекционер или любитель экзотики приобретал у горшечника по сходной цене кувшинчик или кружку. В моде стала металлическая посуда, она не бьётся и долго служит. Так прогресс лишил Янека работы.

Но мир не без добрых людей. То угольщик поделится с горшечником платой за проданный уголь, то дровосек принесёт вязанку дров, а то и пекарь раздобьётся на пару булок. И всем им, дары приносящим, Янек в ответ дарил глиняные кружки. Спустя некоторое время по городу прокатилась молва о том, что пить воду из глиняных кружек приятнее и полезнее для здоровья. И горожане скупили у Янека весь запас глиняной посуды. С тех пор прошло десять лет. Глиняные кружки оказались настолько прочными, что до сей поры ни одна не разбилась. Очевидно, что всё сделанное на совесть хранится долго.

Как бы то ни было, но давно известно о том, что бедные люди чаще помогают друг другу выжить, чего нельзя сказать про богатых. У них свои правила игры, поэтому у большинства богатеев срок жизни короток.

Думай не думай, но из дум каши не сваришь! Пора и за работу приниматься. Янек с трудом спустился в яму и набрал горсть голубой и горсть розовой глины. Держа глину на вытянутых руках, старик думал, как ему выбраться из ямы. Словно подслушав его мысли, дно ямы стало подниматься. Янек дождался, пока оно окажется на уровне земли, и шагнул к камню. Он оглянулся, чтобы проститься взглядом с ямой, но той уже не было и в помине. На том месте, где прежде была яма, расстился ковёр из голубых незабудок и розовых колокольчиков.

– Добрый знак! – сказал Янек, и эхо согласилось с ним.

«Так, так, так!» – услышали все обитатели долины и воспрянули духом. Приятно же думать, что твоё «не так» вдруг превращается в «так».

Горшечник освободил ладони от глины, положив её на плоский камень, и, достав из мешка кувшинчик, направился к ручью. Подойдя к ручью, он послушал журчание воды, перекаत्याющейся с камня на камень. И улыбнулся. Когда Янек наклонился к воде, чтобы наполнить кувшинчик, то не увидел своего отражения в воде.

– За волшебство надо платить, – услышал он за спиной незнакомый голос.

Старик оглянулся, но никого не увидел.

«Наверное, это ветер пробежал по веткам кустарника, а мне и почудилось», – подумал он и медленными шагами пошёл назад, к камню.

Подойдя на расстояние вытянутой руки к кусочкам глины, Янек брызнул водой из кувшинчика сначала на розовую глину, а затем – на голубую.

– Сила воды, напитай землю! – трижды произнёс горшечник, прежде чем стал тщательно разминать глину.

Когда глина стала однородной и податливой, он вылепил из неё двухцветную свистульку, а именно: с одной стороны она была розового цвета, а с другой стороны – голубого.

– Вода и ветер в голубом цвете, а розовый цвет – солнечный свет! – трижды повторил Янек, глядя попеременно то на свистульку, то на небо.

– Чего ты хочешь? – послышался голос, который старик уже слышал у ручья.

– Я хочу, чтобы сирота Бася, для которой я сделал эту свистульку, могла вызывать дождь, подув в свистульку с голубого конца, или солнечный свет, подув в свистульку с другого конца. Ручаюсь, что делать всё это она будет во благо людям, – ответил Янек.

– Хорошо! – послышалось откуда-то сверху. – Пусть будет так, как ты хочешь. Свистулька будет подчиняться Басе и всегда возвращаться к ней, чтобы с ней ни случилось. Девочка заслужила благости. А ты придёшь ко мне через год.

Янек взглянул на небо, но, кроме мелькнувшего в облаках луча света, ничего необычного не увидел. Пока горшечник разговаривал с невидимкой, кто-то высушил свистульку и покрыл её лаком. Янек взял свистульку в руки и с удивлением заметил несколько дырочек на ней.

«Чудеса, да и только!» – подумал он.

– Дедушка Янек! Возьмите меня с собой! – услышал старик детский голос и, повернув голову на звук, увидел бегущую по склону холма Басю.

Когда запыхавшаяся от быстрого бега девочка подошла к плоскому камню, горшечник достал из мешка два сухаря и кружку. Он протянул Басе сухарь и кружку с водой, налитой из кувшинчика. Сам же стал пить воду прямо из кувшинчика и с каждым выпитым глотком чувствовал, как силы возвращаются к нему.

– Дедушка, ты стал такой красивый! – воскликнула Бася.

Янек взглянул на девочку, да так и застыл с открытым ртом. Вместо голенастой девчонки он увидел семнадцатилетнюю красавицу с удивлёнными глазами и открытым ртом.

– Пойдём к ручью, – только и смог вымолвить горшечник и резво вскочил на ноги.

Прибежав к ручью, он долго разглядывал своё отражение в воде и догадался, почему прежде никакого отражения

не видел. Девушке очень нравилось собственное отражение в воде, она крутилась так и этак, разглядывая себя в новом облиции. Вдоволь налюбовавшись на себя, Бася взглянула на Янека, назвать которого дедушкой язык не поворачивался. На вид горшечнику можно было дать не больше сорока лет.

– Янек, а что нам теперь делать? – задала она вопрос горшечнику. – Нас в таком виде никто не узнает.

– Мы не вернёмся в город, – ответил Янек. – В конце долины, у высоких гор, есть селение, где живут добрые люди, мы пойдём к ним.

По дороге горшечник рассказал Басе о свистульке. Он протянул девушке свой подарок. Бася повертела в руках свистульку и, желая проверить её в действии, подула в голубой конец. Небо потемнело, поднялся ветер, и хлынул дождь, вымочив до нитки Басю и Янека.

– Подуй в розовый конец, а то мы простудимся и заболеем, – попросил Янек, и Бася несколько раз дунула в свистульку.

Дождь разом прекратился, и выглянуло солнышко, которое быстро обогрело путников и высушило на них одежду.

– Никогда не дуй в свистульку без необходимости, – сказал горшечник. – Отныне ты и свистулька будете помогать селянам в выращивании урожая, а они тебя будут кормить за это. Вот такой тебе от меня подарок.

– А если будут давать деньги? – поинтересовалась Бася.

– Если хотя бы раз окажешь людям помощь за деньги, волшебная свистулька превратится в обычный свисток. Всё, что даётся свыше, должно служить людям, не требуя платы взамен.

Селяне приняли путников гостеприимно, накормили и предложили временное жильё, пока Янек не построит для Баси дом. Узнав, что девушка обладает даром менять погоду, старейшины селения попросили Басю вызвать дождь.

– Уже три дня палит солнце, растения вянут от жажды, – пояснил главный старейшина.

Бася кивнула, вынула из кармана свистульку и подула в неё три раза. Вдруг налетел ветер, солнце спряталось за

неизвестно откуда появившуюся тучу, из которой хлынул проливной дождь.

– Достаточно! – замахал руками главный старейшина, увидев, как ручейки стали заливать растения.

Девушка подула в розовый конец свистульки, и через несколько минут вновь установилась солнечная погода.

– Сколько мы вам должны за спасение урожая? – спросил главный старейшина, доставая из кармана кошелек с монетами.

– Басе нельзя брать деньги за работу, – ответил Янек. – Дар пропадёт.

– Но мы можем заплатить продуктами, – предложил один из старейшин.

Янек кивнул головой в знак согласия.

Так они и стали жить. Бася делала погоду, а Янек строил дом. Когда строительство дома подошло к концу, девушка заметила, что Янек постарел.

«С чего бы это?» – подумала Бася. Она не знала, что приближается срок платежа за чудо. Да и зачем забивать хорошенькую девичью головку мыслями о грустном? Тем более что она занята думами о молодом Иванко, живущем по соседству.

«Вот и хорошо, – подумал горшечник, заметив, как полыхают румянцем Басины щёчки при встрече с молодым соседом. – Справлю новоселье и свадьбу, тогда и уйду со спокойной душой».

Так и случилось. Спустя неделю после свадьбы Бася не увидела за столом Янека. Впервые он не пришёл завтракать. Бася постучала в дверь комнаты горшечника, но не услышала ответа. Она вошла в комнату и увидела Янека, неподвижно лежащего на кровати. Он был такой, каким она его знала прежде: старый, небритый, и руки со скрюченными пальцами.

Когда хоронили горшечника, была ясная погода, на небе ни облачка, только широкая радуга опоясала небосвод.

– Светлый был человек, – сказал главный старейшина и, указывая рукой на радугу, добавил: – Даже врата райские ему открыты, чтоб душа не заблудилась.

Маленькая белая птичка выпорхнула из гроба и полетела к радуге.

– Смотрите-ка, нашла! – обрадованно воскликнул главный старейшина, когда птичка влетела в радужные ворота.

И всем стало спокойно и радостно на душе, потому что горшечнику был дарован вечный покой.

– Каждому воздаётся по трудам его! – ответил главный старейшина на вопросительный взгляд Баси.

Когда у Баси с Иванко родился сын, селяне предложили назвать его в память о горшечнике Янеком, что и было исполнено с превеликой радостью.

А что же свистулька?

Пока была жива Бася, свистулька служила людям, как говорится, верой и правдой. А потом куда-то пропала. Как знать, может быть, ищет такую же добрую девочку, какой была Бася?

СОЛНЫШКО В ЛАДОШКЕ

Жил в одной деревне старик по имени Прохор. Был он такой древний, что никто не знал, сколько ему лет. Да он и сам уже позабыл, в каком времени родился. Только один старый ворон Каркуша знал про это, но помалкивал. Так бы и ушел старик с тайной о своём долголетьи в царствие небесное, если бы не один случай.

Шел однажды Прохор мимо дома хромой Аглаи и увидел у забора мальчика лет восьми от роду, который держал на руках раненого голубя и горько плакал. Это был сирота Гоша, которого пригрела Аглая, много лет жившая одна. «Ребёнок всегда в радость, а не в тягость», — отвечала обычно женщина на расспросы любопытных соседок: дескать, самая немощная, да ещё чужого ребёнка на шею посадила.

— Чей сын будешь? — спросил Прохор, подойдя к плачущему мальчику.

Мальчик осторожно положил на землю раненого голубя и выпрямился во весь рост.

— Я Гоша, Аглаи сын, — ответил он, глядя в глаза Прохору.

«Откуда у хромой Аглаи сынок взялся? — подумал старик. — Засиделся я в своей землянке. В мир редко выхожу, оттого и не знаю, что, где и почём».

— Сын так сын, — сказал Прохор и погладил плачущего ребёнка по голове. — Плакать-то зачем?

— Голубя жалко, — ответил Гоша. — Умереть может.

Старик взглянул на раненую птицу.

— Бери голубя на руки и следуй за мной! — приказал он мальчику и быстрым шагом направился к своему жилищу.

Подойдя к ветхому домику, наполовину вросшему в землю, старик оглянулся и, увидев мальчика с голубем на руках, улыбнулся и одобрительно покачал головой. Он распахнул дверь в своё скромное жилище и пригласил Гошу войти вовнутрь. Мальчик увидел полупустую комнату, которая служила старику и спальней, и гостиной, и кухней.

– Положи птицу на мою левую ладонь и наблюдай за тем, что произойдёт, – попросил Прохор мальчика, и тот послушно исполнил сказанное.

Голубь лежал с закрытыми глазами на ладони старика, и мальчику вдруг показалось, что птица уже умерла. Он зашмыгал носом и стал вытирать рукавом рубашки слёзы, которые непроизвольно катились по его округлым щекам.

– Возвращайся! – услышал он голос Прохора и увидел, как тот прикрыл голубя ладонью правой руки, из-под которой вырвался яркий луч света и спустя несколько мгновений рассыпался на множество радужных искорок.

– Держи свою птицу, – сказал старик, протягивая Гоше голубя.

Мальчик попытался взять в руки голубя, но тот вырвался и стал летать по комнате.

– Открой ему дверь, – попросил старик. – Пусть летит туда, куда хочет.

Голубь улетел, а мальчик остался. Ему хотелось узнать о том, как Прохор исцелил птицу и откуда взялся необычный свет. Старик внимательно посмотрел на мальчика и, заметив у него за левым ухом похожее на звёздочку родимое пятно, вздохнул.

– Моё время заканчивается, – произнёс он с лёгкой грустью и, усадив мальчика на лежанку, стал рассказывать свою историю.

ИСТОРИЯ ПРОХОРА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ

Когда я был таким же мальчиком, как ты сейчас, то любил играть с ребятами в разные подвижные игры. Но чаще всего мы играли в войну. Сделает каждый себе лук и колчан со стрелами и айда в лес воевать.

Однажды я случайно ранил зайчонка и очень расстроился. Сидя возле умирающего зверька, я стал просить Бога помочь мне исцелить зайчонка. Слёзы текли по моим щекам, а мои громкие всхлипывания можно было услышать далеко от того места, где я поранил зайчонка.

Горе моё было так велико, что ослепило и оглушило меня. Поэтому я не увидел и не услышал, как ко мне со спины подошёл седоволосый старец и положил мне руки на плечи. Почувствовав чужое прикосновение, я поднял голову и оглянулся. Глаза старца излучали добрый свет.

— Не плачь! — сказал он. — Я оживлю зайчонка. Но впредь ты должен быть осторожен, если держишь в руках оружие.

Он подошел к зайчонку, поднял его с земли и положил на свою ладонь, а другой ладонью прикрыл его. И я тогда увидел, как из его ладони, прикрывавшей тельце зайчонка, вырвался луч света и окутал со всех сторон зверька множеством радужных искорок. Тот вдруг встрепенулся и, спрыгнув с ладони старца, задал стрекача.

— Ну вот и всё! — сказал старец и, подойдя ко мне, приказал мне протянуть ему руки ладонями вверх.

Не знаю уж, что он там увидел, но только потом он стал осматривать мою голову.

— А теперь я должен передать тебе свой дар и рассказать о том, как им пользоваться, — произнёс он с улыбкой и крепко сжал мои руки.

Мне было больно, но я терпел. Когда же он положил мне одну ладонь на лоб, а другую на затылок, я почувствовал сильное жжение внутри черепа и уснул.

А когда проснулся, то увидел, что вокруг меня стоят ребята и смотрят на меня с жалостью.

— Он живой! — закричал мой сосед Петька и от радости стал скакать вокруг меня. Вслед за ним и другие ребята стали делать то же самое. Потом мы разошлись по домам.

С тех пор я исцеляю всех живых существ, попавших в беду.

Окончив рассказ, Прохор посмотрел на мальчика. Он заметил, что Гоша переминается с ноги на ногу. Так же и он

поступал в детстве, когда хотел спросить о чём-нибудь, но не мог побороть смущение.

– Спрашивай, о чем хотел бы знать, – сказал Прохор, с ободряющей улыбкой глядя на мальчика.

– А вы всех подряд исцеляли? – задал Гоша мучивший его вопрос. – А если это были плохие люди, то тоже исцеляли?

– Я пытался исцелять всех, а Бог уже решал, кого наполнить живой силой, а кому отказать, – ответил Прохор.

«Кто-то сильно обидел мальчонку, если он такие вопросы задаёт», – подумал старик.

– А теперь я должен передать тебе свой дар и рассказать о том, как им пользоваться, – услышал мальчик голос Прохора и бросил на него удивлённый взгляд.

– Почему мне? – спросил Гоша. – Что я такого сделал?

– Ты избранный, – ответил Прохор. – У тебя знак в виде звёздочки за левым ухом.

– Ну и что? – возразил Гоша. – У многих людей есть родинки.

– Посмотри на мою родинку, – сказал старик и наклонил голову так, чтобы мальчик мог увидеть за левым ухом похожее на звёздочку родимое пятно.

Гоша взглянул на родинку Прохора и узнал её, у него была точно такая же. Его друг Филимон зарисовал её угольком на обрывке бересты и подарил ему на память.

– Протяни мне свои руки ладонями вверх, – сказал старик, и мальчик исполнил его просьбу.

Прохор сжал детские ручонки своими мозолистыми руками так сильно, что Гоша еле вытерпел, чтобы не закричать от боли. Что случилось потом, он уже не помнил.

Очнулся мальчик от плача своей приёмной матери Аглаи.

– Где этот колдун Прохор? – причитала женщина. – Пусть мне скажет, что он сделал с сиротой.

– Матушка, зачем вы так говорите? Какой же я сирота, если вы у меня есть, – произнёс Гоша и открыл глаза. Заметив, что он лежит на лежанке Прохора, мальчик вскочил на ноги и обнял плачущую Аглаю.

– А Прохор ушел туда, откуда не возвращаются, – произнёс мальчик, выйдя с Аглаей из ветхого домика старика Прохора наружу.

– И как это он умудрился уйти так, что даже тела не осталось? – удивилась женщина.

– На то была воля Божия, – ответил ей сын.

Они молча дошли до своего дома. Со временем Аглая стала замечать, что Гоша после того, как побывал в домике у Прохора, переменялся как внешне, так и в суждениях о жизни, ставших совсем несвойственными его возрасту. Ещё она заметила, что он много времени стал проводить в лесу, что находился недалеко от их дома. Обвинить его в пустом времяпрепровождении она не могла, так как мальчик всегда возвращался домой с полной корзиной грибов или лукошком спелых ягод.

«Как бы мне выведать у Гоши, что ему сказал Прохор, уходя на небеса», – часто думала Аглая, слушая взрослые рассуждения сына по тому или иному вопросу. Слух о Гошином уме разнесся по всей деревне, и к мальчику обращались за советом даже умудрённые жизненным опытом люди.

Но однажды Аглая узнала о даре Гоши, как говорится, из первых уст.

Приспичило ей в дождь пойти к колодцу за водой. Поскользнулась она на размокшей глине и упала, сильно ударив о камень покалеченную в детстве ногу. Да так сильно ударила, что получился открытый перелом. Кричит от боли Аглая, а никто её не слышит. Погода ненастная, все по домам сидят.

Вдруг видит она – бежит по улице бездомная собачонка.

– Жучка! – позвала Аглая собачку. – Беги к Гоше и приведи его сюда. Сделаешь доброе дело, будешь жить в моём дворе.

Жучка с громким лаем побежала к дому Аглаи и стала бегать вдоль забора, жалобно скуля и лая.

Гоша, подумав, что собачка нуждается в его помощи, выбежал за ворота. Жучка, ухватив мальчика за штанину, потянула его в сторону колодца.

«Уж не случилось ли с матушкой чего?» – подумал Гоша и побежал вслед за собачонкой.

Когда он увидел Аглаю, сидящую под дождём рядом с колодцем, до которого она не дошла метров пять, и торчащую кость из её ноги, то понял, что это знак свыше.

– Не плачьте, матушка, – сказал Гоша и приложил ладонь правой руки ко лбу Аглаи. – Я вам сейчас помогу.

– Как же ты мне поможешь? – возразила женщина. – Ты такой маленький, а я такая большая. У тебя не хватит сил поднять меня.

– Иногда от маленьких людей помощи больше, чем от больших, – заметил Гоша и, приподняв сломанную ногу матери, подsunул под место перелома левую ладонь, а ладонью правой руки прикрыл торчащую из ноги кость.

Аглая во все глаза наблюдала за действиями сына и удивлялась, что не чувствует боли.

– Ну вот и всё, – сказал Гоша, убирая руки с ноги матери. – Теперь можно встать на ноги.

Он подал Аглае руку и помог подняться. Пока женщина находилась в оцепенении от увиденного чуда, сын её, набрав из колодца два ведра воды, понёс их по направлению к дому.

Аглая поспешила за ним чуть ли не в припрыжку, с удивлением заметив, что перестала хромать. Поэтому она быстро догнала сына.

– Что это было? – услышал Гоша голос приёмной матери.

– Дома расскажу, – бросил он на ходу.

Дом Аглаи находился в пятистах метрах от общего колодца, поэтому не прошло и пяти минут, как сын с матерью уже входили во двор. Гоша посмотрел на Жучку, которая шмыгнула вслед за ними.

– Собачка тоже с нами? – спросил он.

– За доброе дело я обещала приютить её, – ответила Аглая и взглянула на сына, а вдруг не одобрит. Но, заметив улыбку на Гошином лице, тоже улыбнулась.

Когда люди так светло улыбаются, то солнышко не может им не помочь. Поэтому, как по мановению волшебной палочки, дождь прекратился и из-за кудрявого облака выглянул солнечный луч.

– Ну, а теперь рассказывай, о чем с тобой говорил Прохор. Неспроста же ты очутился в его ветхом домике, – об-

ратилась Аглая к сыну, когда они вошли в дом. Жучке в виде исключения было дозволено пожить в доме, пока ей не сделают будку.

Гоша пересказал матери свой разговор с Прохором. Аглая недоверчиво посмотрела на сына.

– Он тебе сказал, что ты избранный и можешь даже оживлять умерших? – спросила она.

– Не совсем так, – заметил Гоша. – Верно то, что я избранный, и не верно, что могу оживлять мертвецов. Я могу лишь передавать жизненную силу тем, кто находится на грани между жизнью и смертью.

– Когда ты лечил мне ногу, я увидела солнышко в твоей ладошке, – сказала Аглая.

– Это и есть жизненная сила, – ответил Гоша. – Только ты никому не рассказывай про мой дар. Рано мне ещё заниматься врачеванием. Прохор предупредил, что прежде надо войти в силу.

Аглая долго держала язык за зубами. На все вопросы любопытных соседок о том, как она исцелилась от хромоты, отвечала, что запнулась о пенёк, в ногу что-то хрустнуло и кость встала на место. Кто-то верил, а кто-то нет, но с расспросами больше не приставали.

В тот день, когда Гоше исполнилось восемнадцать лет, ему явился Прохор и дал ему добро на врачевание.

Гоша так же, как и Прохор, прожил долгую, но одинокую жизнь. Многим людям помог обрести здоровье, а многим и продлил земной срок.

Когда его спрашивали, почему, мол, семьёй не обзавёлся, Гоша улыбался.

– За дар, ниспосланный с небес, каждый платит свою цену. Мне было назначено одиночество, – отвечал он не в меру любопытным людям.

Поговаривают, что Гоша ждёт в гости мальчика, у которого за левым ухом есть похожее на звёздочку родимое пятно.

И верится, что дождётся. Разве может солнышко в ладошке исчезнуть навсегда?

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Когда букашечка Нёма с кузнечиком Баксом пришли пригласить червяка Вихлюна на свадьбу, тот даже не выполз из своего подземелья. Он только высунул голову из отверстия округлой формы, называемого входом.

– Извините, но я не могу принять ваше приглашение, – ответил Вихлюн и скрылся в своём жилище.

– Обиделся на мой отказ выйти за него замуж, – ответила букашечка на вопросительный взгляд кузнечика. – На нет и суда нет!

– Червяки себе на уме, – заметил Бакс. – Зачастую отсутствие света влияет на зрение души. Но не будем по этому поводу расстраиваться.

А Нёма и не думала переживать из-за пустяка. Сидя на спине жениха, она гладила его лапками и смотрела по сторонам. Глаза у букашечки были зоркие. Она заметила, как из-за берёзового листа высунулась голова гусеницы по имени Лохматка.

«Вот оно что!» – подумала Нёма, но кузнечику ничего не сказала. Не всеми женскими секретами нужно делиться с мужчинами, дабы не причинить вреда установившимся отношениям. Иногда безобидное замечание по поводу внешности способно привести к крупной ссоре. Поэтому Нёма стала молча наблюдать за гусеницей.

Оглядевшись по сторонам, гусеница выползла из своего укрытия и начала сползать вниз сначала по ветке, а затем и по стволу берёзы. Когда до земли оставалось совсем немного, она не стала ползти, а просто свернулась колечком и упала в тра . Тут её и заметил Вихлюн, выползая из своего подземелья чтобы прогуляться перед обедом. Он, как и многие представители

фауны, не страдал отсутствием аппетита. Хотя большинство живых существ с радостью бы его поумерило.

– Что вы тут делаете? – задал он вопрос свернувшейся в кольцо гусенице.

– Греюсь на солнышке, – ответила та и вытянулась во всю длину.

Не станешь же признаваться в том, что ждёшь его с нетерпением. Вроде неприлично для первого свидания. А впрочем, приличия – понятие относительное и зависящее от местонахождения и времени.

Червяк, не любивший солнце за то, что жаркие лучи светила обжигают и высушивают его гладкую кожу, сморщился так, что стал похож на гофрированный шланг. Сие зрелище не доставило удовольствия Лохматке, и она даже подумала: к чему это всё? Но так как ей давно уже пришла пора выходить замуж, а желающих лицеизреть с утра до вечера её неприглядную внешность не находилось, то заполучить в женихи подслеповатого червяка стало для гусеницы главной целью. Чтобы обратить на свою особу хотя бы малейшее внимание Вихлюна, Лохматка решила идти напролом.

– А почему вы не женитесь? – спросила она червяка.

Тот даже остановился от такой бестактности незнакомки.

– Вы всех так шокируете своим нездоровым интересом? – вместо ответа услышала гусеница и усмехнулась.

«Зацепило», – подумала она и продолжила атаку.

– Со стороны выглядит подозрительно, – ответила Лохматка, игнорируя вопрос червяка.

Она подползла к Вихлюну и несколько раз прикоснулась к его гладким бокам своей слегка волосатой кожей.

– Прежде чем строить из себя детектива, пойдёшь и побрейся, – резко осадил гусеницу Вихлюн.

– Как же я могу побриться, если я не знаю, как это делается? – растерялась Лохматка.

– А с небритыми гусеницами я не вожусь, – сказал, как отрезал, червяк. – Не хватало ещё, чтобы чья-то щетина царапала мои округлые и гладкие бока. Потому и не женюсь, что с идеально гладкой кожей подругу не нашёл.

– Разве это так важно для совместной жизни? – удивилась гусеница.

– С точки зрения гигиены не только важно, но и жизненно необходимо, – ответил червяк. – Не хватало ещё, чтобы какая-то лохматая особа приносила на своих волосах пыль и грязь в моё стерильное жилище.

С этими словами он прополз мимо погрузневшей гусеницы и скрылся в зарослях лопуха. «И почему к моим круглым гладким бокам вечно липнет не то, что нужно?» – подумал червяк и в расстроенных чувствах вернулся домой.

Обедать ему расхотелось. Какой уж тут аппетит, когда пристают с расспросами незнакомые «леди» и лезут обниматься. То ли дело скромная букашечка, мысли о которой не давали покоя Вихлюну ни днём, ни ночью. Но Нёма сделала свой выбор, и червяку придётся смириться.

Тем временем Лохматка опрашивала всех попадававшихся ей навстречу насекомых и не только:

– Не подскажете ли адрес косметолога, который делает эпиляцию?

В её голосе было столько надежды и грусти, что каждый встречный останавливался и вежливо отвечал отказом. И так продолжалось до тех пор, пока гусеница не повстречала муравья.

– Обратитесь к воробью, – посоветовал тот, – у него острый клюв. Он вам мигом выщиплет лишние волоски.

Лохматка поблагодарила муравья и поползла к кусту красной смородины, откуда раздавалось чириканье воробья.

– Это вы специалист по эпиляции? – обратилась она к воробью.

Тот от неожиданности крепко сжал клюв и взглянул на гусеницу, ползущую по соседней веточке.

«Вот это новости, – подумал он, – первый раз вижу, чтобы еда сама к едоку приходила».

– Вас как пощипать – целиком или местами? – поинтересовался он.

– Целиком, целиком, – проговорила Лохматка, подползая к воробью на расстояние вытянутого клюва.

– Желание клиента – закон для мастера, – сказал воробей и проглотил гусеницу целиком.

Ну что тут скажешь, кроме как: «Ничего не поделаешь! Красота требует жертв! Иногда с летальным исходом...»

ЗАЯЦ И ЗМЕЯ

Лежит на пне змея Анфиса, на солнышке греется и думу думает. От думы той ей так тошнѣхонько, что хоть в петлю лезь. Свернулась змея кольцом, а в центр его голову просунула, ну чем не в петле. Не важно, что не все поймут. Главное ведь в том, что сам ощущаешь.

Бежит мимо заяц Прошка, увидел змею Анфису в необычной позе и остановился в недоумении.

– Здравствуй, змея подколодная! – поздоровался он с ней.

– Теперь уже не подколодная, а бездомная, – прошипела Анфиса и раскрутилась во всю длину. Хотя и пенсионного возраста, но всё же женщина, поэтому негоже ей перед молодым зайцем в таком виде-то возлежать. Похвастаться-то нечем. Кожа уже не первой свежести, да и с зубами проблема: нет уже такой, как раньше, ядовитости, да и по глубине укуса слабоваты стали.

– А куда твоя колода делась? – удивился Прошка, с сочувствием глядя на старую змею. – Век лежала, никому не мешала.

– Медвежьи прихвостни за долги забрали и увезли для пополнения казны, – ответила Анфиса и, если бы умела, то вздохнула бы.

– А своя-то казна куда подевалась? – поинтересовался заяц. – Лесовия такая богатая страна! Неужели слуги зверья всё и вся продали?

– Что продать не сумели, то по своим закромам схоронили, – пояснила змея.

– А ты разве за проживание в своей норе и за её капитальный ремонт не платишь?

– Нет пока, – испуганно ответил Прошка. – А что, все должны платить? Даже если жильё ветхое и без удобств?

– Смешной ты, заяц! – заметила Анфиса. – Разве власть имущих интересует качество? Им количество подавай и побольше.

– Так зачем звери себе таких слуг избрали? – удивился Прошка.

– А их никто и не избирал, они сами себя избирают, – пояснила змея.

– Как это? – от удивления у зайца глаза стали смотреть в разные стороны. – Это же незаконно...

Анфиса даже поперхнулась и долго шипела, словно откашливалась.

– Ты что, Прошка, с луны свалился? Так они себе сами законы пишут.

Заяц, как представил, какую галиматью могут ещё узаконить слуги зверья, так и задрожал от страха.

– Если так и дальше пойдёт, то и за воздух платить придётся, – произнёс он, заикаясь на каждом слове.

– Не переживай так, – посоветовала Анфиса. – Звери поймут, что к чему, и наведут порядок. Жаль только, что моя подруга Глашка не выдержала бремени коммунальных платежей.

– А что с ней случилось?

– Как получила Глаша платёжную квитанцию за своё дупло, сравнимое со стоимостью виллы на Лазурном берегу, то сначала из кожи вылезла, думала, что хватит рассчитаться. А когда поняла, что придётся отдавать своё дупло за долги, то покончила с собой на виду у медвежьих прихвостней, – ответила Анфиса и так пристально взглянула на зайца, что у того мурашки по спине пробежали.

– А прихвостни-то как прореагировали? – поинтересовался заяц.

– Как всегда, потёрли лапу о лапу и подарили Глашино дупло белке Маруське за то, что хвостом хорошо крутит на разных сборищах слуг зверья, – ответила змея и сползла с пня на землю. – У нас так всегда: тот прав, у кого больше прав.

Анфиса взглянула на Прошку, с озадаченным видом переваривавшим её слова, и решила подыскать себе какое-нибудь пристанище.

– Поползаю и поищу, осталось ли у нас в Лесовии хоть что-нибудь, не прихватизированное властью имущими, – прошипела Анфиса, скрываясь в густой траве.

«Сомневаюсь я, однако», – подумал заяц и побежал оповестить своих сородичей о новостях жилищного законодательства страны Лесовии.

Александра ВЛАСОВА

ТАЙНА ХВОСТИКА

– Детки! Бегите в нору! Папа уже принёс ужин! – окликнула звонким голосом мама-лиса.

– Ну ма-а-ам! Ну мы ещё чуть-чуть поигра-а-аем! – жалобным голосом пропищал Лучик. Шерсть лисёнка была воинственно взъерошена, он краем глаза наблюдал за угрожающе шуршащей веткой. Они с Хвостиком решили, что это змея, и Лучику предстояло спасти своего брата от неминуемой гибели. Он уже бежал, он неся, Хвостик, как и положено, «дрожал от страха», действие было в самом разгаре, как тут... мама! Ну почему на самом интересном месте? Всегда так!

– Мы чуть-чуть, ну одну минуточку! – залаял Хвостик прижав ушки. – Ну мамочка!

– Ну хорошо, разбойники! Только одну минуту! – покорно согласилась Лисица и скрылась в норе.

– Змея! Она ползёт на нас! – закричал Хвостик, «в страхе» пятясь назад (эх, спасти Лучика было веселей! Но он уже два раза его «спасал», теперь очередь Лучика). Ветка угрожающе надвигалась под порывами ветра.

– Не бойся, братишка! Я тебя спасу! – отважно прокричал Лучик и ринулся на ветку, заслонив собой Хвостика. Он впился своими остренькими зубками в кору и начал разламывать «гадюку».

– Ты победил! Какой молодец! – в восхищении затыкал Хвостик.

– Моему братику угрожала опасность! Ради тебя я не только змею победу, я весь лес победу! – Лучик прижался к брату. Хвостик почувствовал его тёплый бок. «Как хорошо, что мы есть друг у друга! Лучик лучший брат во всём лесу!» – подумал Хвостик.

Лисица с нежностью смотрела на резвящихся малышей.

– Милый, видишь, как хорошо, что мы взяли Хвостика. Правильно, что не бросили его в лесу умирать от голода.

– Это точно, – промолвил Лис. – Я поначалу сомневался, правильно ли мы поступаем, а теперь уверен. Он стал настоящим братиком для Лучика.

Вдруг какая-то озабоченность появилась на мордочке Лисицы.

– Как ты думаешь, не пора ли ему всё рассказать?

Лис поморщился.

– Нет, не надо. Рано пока. Расскажем... через несколько лун.

Но прошла одна луна, другая, а Лис так и не решился ничего рассказать. Тайна пока так и оставалась тайной. Лис выжидал подходящий момент, но каждый раз что-то его останавливало. Он привязался к Хвостiku, как к родному сыну. Время шло, тёплое лето сменилось тусклой осенью, потом пришла страшная для всех лесных жителей пора – холодная, суровая зима, за зимой пришла голодная весна и вот наконец снова лето! Одно лишь оставалось неизменным – дружба между Лучиком и Хвостиком. Несмотря на все тяготы, которые переносила лисья семья, дружба крепла с каждым днём, проведённым вместе. Они стали неразлучны – вместе ходили на охоту, по-прежнему любили вместе играть, смотрели на звёзды с тайной тоской, делили любые радости и неудачи. Но вот однажды...

– Удачная охота, Хвостик! Как я горжусь своим братиком! – протыкал Лучик и потёрся о нос Хвостика.

– Спасибо! Слушай, ты не донесёшь мою добычу до дома? Я просто хотел сходить к пруду. А с собой таскать неудобно.

– Конечно, – легко согласился Лучик.

Хвостик побежал к пруду. Настроение было лучше некуда. Ещё бы! Лето – благодатное время! Голод, холод позади! Он с наслаждением лакал холодную воду и вдруг... отражение. «Как мы с Лучиком не похожи! Да ладно, всякое бывает! Мы братья, и это главное!»

– Привет, а я такую новость узнала, секрет жуткий, я только пол-лесу рассказала, а тебе ещё не рассказала, хотя он про тебя! – послышался чей-то противный стрекот. Хвостик резко оглянулся. Прямо перед ним, на нижней ветке, сидела наглая толстая сорока-трещотка. Эту чёрно-белую болтушку так и распирало от радости. Чёрные глазки хитро светились. «Плохо дело! Какую-нибудь гадость придумала. От этой сплетницы одни только беды в лесу. Не стоит придавать значение её пустой болтовне!»

– Представляешь, а вы с Лучиком не братья, вот так! Ты вообще не лис! Ты пёсик! И не дикий, ты домашним был! Но каким-то образом оказался в лесу, а лисы тебя подобрали, – не замолкая ни на долю секунды, продолжала болтать она.

– Что ты несёшь? – у Хвостика отвисла челюсть.

– А ты не знал да? Бедняжка! Не бойся, я никому не рассказала твою тайну! Только ежам, зайцам, волкам, енотам, медведям...

– Заткнись! – Хвостик прыгнул на сороку. Та легко взмыла в небо.

– Грубиян! Я тебе такой секрет рассказала, а ты!

– Пшла вон! – грубо залаял Хвостик. «Это всё дурацкие сплетни! Трещотка всё придумала!» – пытался успокоить он себя. Потом сорвался с места и не чувствуя под собой лап понёсся к норе. «Этого не может быть, не может быть!!!» – думал он каждую секунду. У норы умывался папа... то есть Лис.

– Удачный денёк у тебя, Хвостик! Лучик рассказал о твоих успехах на охоте! Мы так тобой гордимся! – ласково промолвил он.

– Говори, это правда?! ЭТО – ПРАВДА?!! – закричал Хвостик. Но встретив недоумевающий взгляд Лиса, уже спокойнее пояснил. – Мне эта болтушка-сорока сказала, что я пёс. Что я не твой сын и не сын Лисицы. И что Лучик

мне не брат. Чушь какая-то. Как я мог поверить в подобную околесицу? Не стоило так заводится. Она всё наврала, да? Просто скажи, ДА?

Лис посмотрел на него долгим внимательным взглядом.

– Хвостик, выслушай меня, пожалуйста, – тщательно подбирая каждое слово, начал Лис.

– Да или нет? – резко перебил Хвостик. – Она наврала?

– Нет, сорока сказала правду, – выдавил из себя Лис, – но это не значит... Знаешь, мы ведь всегда тебя любили... – начал он.

– Вы ввали мне? Всю жизнь я жил во лжи?

– Братик, почему ты кричишь? Что происходит? – из кустов показалась остренькая мордочка Лучика. – Ну и видок у тебя! Как будто бы подрался с медведем! – он окинул взглядом вздыбленную шерсть Хвостика.

– Ты тоже знал? Почему же хоть ты не сказал мне правду? Что в этом сложного? – прохрипел Хвостик. Он впился взглядом в глаза Лучика. – Тебе я всегда верил!

– Что я тебе не сказал, брат? – на мордочке Лучика появилось неподдельное изумление.

– Ты мне не брат, и, наверное, прекрасно знаешь об этом. Все лисы коварны. Я ухожу. К своей настоящей семье. Не желаю больше ни секунды находиться с такими лжецами! – истерично залаял Хвостик и сорвался с места.

– Подожди! Хвостик, я ни разу в жизни тебе не врал! Брат, вернись! – доносились до него истошные крики Лучика.

Найти собачью стаю не составляло особого труда для такого опытного и наученного (спасибо Лису) пса. «Интересно, кто моя настоящая мама? Наверное, она очень-очень ловкая, отважная! Как так случилось, что я оказался один в лесу?» – сотни мыслей пролетали в голове у Хвостика. Вдруг его нос уловил знакомый, очень старый, едва уловимый запах. «Чем так пахнет? Запах почти как у меня! Может, это моя родня? Или... мама?» Почему-то при слове «мама» Хвостик представилась мордочка Лисицы. «Эх, зря я так с ними, – пронеслось в голове, но Хвостик себя одёрнул. – Нечего было врать!»

Он несколько дней шёл по следу. Хвостик забыл голод и усталость, он был одержим целью найти родных. Наконец он набрёл на человеческое логово. Эта огромная страшная неестественная громадина стояла, огороженная странно-ровными палками. «Забор! Сорока как-то трещала, что эти палки называются забор!» Хвостик в недоумении оглядывал дом людей. Рядом с ним стояло логово поменьше. Именно туда и вёл запах. «Вот там и живёт моя родня! – восторженно подумал он. – Сейчас я увижу своих маму и папу!» С трепетом Хвостик заглянул в будку. В ней сидели две собаки. Один пёс чёрный, мускулистый, с огромной мордой, рассечённой шрамами, и умным пронзительным взглядом. Другая собака – рыжая, грациозная, поджарая, с длинной шерстью. Как Хвостик был на неё похож! Родное, знакомое до боли чувство хлынуло в сердце Хвосту.

– Мама, папа! – выдохнул он.

С того момента, как брат ушёл, Лучик места себе не находил. Лис и Лисица ему всё рассказали. «Не стоит Хвостика останавливать. Это его выбор и его судьба!» – говорил Лучику отец. Но сердце Лучика разрывалось от тревоги за названного братца. «Ох, кажется мне, ни к чему хорошему этот поход к родственникам не приведёт! Если они такие замечательные и так его любили, то что он делал – маленький и беззащитный, в лесу, полном опасностей, среди диких зверей? Как бы чего плохого с ним не случилось!»

– Мама, папа! Я хочу идти за братом! – через несколько дней за ужином заявил Лучик.

– Но мальчик мой! Он ушёл к собакам! А собаки – смертельные враги лис! – воскликнула Лисица, обвивая сына хвостом, как маленького. – И потом, мы не знаем, каким стал Хвостик! Вдруг он теперь думает, что мы ему враги, и нападёт на тебя?

Она в страхе зажмурилась.

– Но ма-а-ам! Хвостик никогда на меня не нападёт! Что бы там ни случилось, мы были и остаёмся братьями! Он сгоряча наговорил всякого, когда уходил, но если честно... – Лучик замялся, подбирая слова. – Я думаю, на его месте

любой бы взбесился! Пожелайте мне удачи! Я иду! – выпалил он.

– Милый, мы не можем его отпустить! Пожалуйста, не отпускай нашего сыночка! – взмолилась Лисица, прижимаясь к Лучику.

– Пусть идёт! Иди, сынок. Я верю в тебя. – сухо промолвил Лис. Все с изумлением на него посмотрели. Было видно, как тяжело дались ему эти слова.

– Ну, я пошёл... – промямлил Лучик и выполз из норы. Он спиной чувствовал на себе умоляющий взгляд матери, но ни разу не обернулся. «Я вернусь! Скоро!»

– Как ты мог? Почему ты отпустил его? – в ярости набросилась на мужа Лисица, как только силуэт Лучика скрылся.

– Он бы всё равно нас не послушал. Он бы убежал. Но ты права, мы не можем оставить его одного, без подмоги. Слушай, что я придумал...

«Я правильно поступил! Да, они моя семья! Настоящая!» – в восторге думал Хвостик. Прошло несколько дней с того момента, как он нашёл родных. У него оказалось столько братьев и сестёр в соседних домах! Хвостик узнал, что домик, в котором живут мама с папой, называется странным словом «будка». Так вот, почти во всех домах деревни были такие будки. Сородичей видимо-невидимо! Наконец-то Хвостик чувствовал себя в своей тарелке.

– Как хорошо, что ты нашёлся, как вовремя! – ласковым тоном говорила ему мама. Его настоящая мама, Лайка!

– Да, как раз когда твоя помощь будет просто необходима... – бурчал себе под нос отец (его звали Силач), но Хвостик этого не слышал.

– Мама, папа! Как здорово, что я вас нашёл! Это невероятное везение! Но всё-таки... почему я оказался один в лесу? Как вы так меня потеряли? Что случилось? – однажды вечером спросил он.

Лайка с Силачом неловко переглянулись. На несколько минут повисло напряжённое молчание.

«Хм... не можем же мы сказать, что наши хозяева его, единственного из всех щенков, не смогли пристроить? Они

не хотели третью собаку, тогда выгнали бы кого-нибудь из нас или утопили бы Хвостика. Ни то, ни другое мне не нравилось. Вот Силач и отнёс его в лес... но мы же не можем ему это сказать! Тем более сейчас, когда лишние лапы в войне просто необходимы?» – судорожно думала Лайка. Она заметила, как Силач открывает рот и судорожно щёлкнула его хвостом. «Правду-матушку резать начнёт! Сила есть, а ум...»

– Милый мой сыночек. Тебя украли! – начала она. – Мы тебя искали повсюду, с ног сбились! Ты бы знал, как мы переживали! – в голубых глазах Лайки показались послушные слёзы.

«Стоп! Что-то тут не сходится! Лисы бы никогда меня не стали похищать, зачем им это? Хотя... какая разница? Главное, что мы сейчас с семьёй вместе!» – восторженно подумал Хвостик.

– Ты готов доказать свою верность собакам? – торжественно спросил его Силач.

– Да, да, конечно! В любую секунду! – залаял Хвостик.

– Идём с нами! – грациозно поднялась Лайка. – Тебе пора побывать на собачьем сборе! Мы хотим решить одну малюсенькую проблемку! И тогда наша семья заживёт счастливо!

Хвостик бежал рядом с родителями к какому-то сараю. Когда он на секунду отстал, залюбовавшись бабочкой, Силач сказал, понизив голос:

– Жаль, что он не нравился нашему хозяину.

– Если бы хозяин увидел, каким он стал рослым и сильным, он бы изменил своё мнение, – шёпотом ответила Лайка.

Хвостик догнал своих родителей. Его хвост вилял из стороны в сторону, он преданно заглядывал в глаза то маме, то папе. Наконец они вошли. Собак было видимо-невидимо! Хвостик остолбенел. Никогда он ещё не видел столько сородичей!

– Итак, мы здесь собрались, чтобы нанести последний и окончательный удар! Лисы должны быть уничтожены! – проревел Силач. Его слова утонули в одобрительном лае.

– Они селятся всё ближе и ближе к деревне. Воруют кур и уток!

– Это лгуны! Злейший враг собак! Мы не можем жить рядом! – вопили со всех сторон

– И вообще, если лисы вдруг пропадут... мы сможем охотиться на их территории! Сечёшь, о чём я? – на ухо сыну прошептал Силач. – Мы давние враги и не сможем существовать вместе! Собаки первыми должны нанести удар! Уверен, эти подлецы просто подгадывают удачный момент для нападения!

«Я ничего не смогу сделать! Их слишком много! Думай, думай, как это остановить!» – в страхе подумал Хвостик.

Вдруг среди общего лая послышался знакомый звонкий голосок.

– Хвостик? Как ты тут устроился? Я услышал твой лай отсюда и зашёл! О, ты нашёл новых друзей! Знаешь, я жутко рад тебя видеть!

«Лучик! Только не это!»

Хвостик оглянулся. Любопытные зелёные глазки Лучика без малейшего страха осматривали всё вокруг.

Все мгновенно смолкли. Десятки собачьих глаз враждебно смотрели на Лучика. «Ему конец! Как спасти этот глупый шерстяной комок? Ну зачем, зачем он припёрся?»

– Это вражеский шпион! Растерзать! Фас! – заорал Силач. Ещё секунда, и все бы набросились на Лучика, но Хвостик заслонил собой брата и прокричал:

– Стоп!

Все в изумлении уставились на него. Хвостик чувствовал испуганное дыхание Лучика за своей спиной. «Что делать? Что делать?» – лихорадочно думал он.

– Его нельзя убивать! Он лис, а значит, знает, где живут другие лисы! Мы возьмём его в плен, а завтра он проведёт нас к ним! А вы его убить хотели! – выпалил Хвостик. «Хоть бы кто поверил в эту околесицу!»

– Что ты такое говоришь? – в ужасе отшатнулся от него Лучик.

– А сынишка-то наш соображает! – пропела Лайка. Отовсюду послышался одобрительный лай.

– Я сам буду его сторожить до завтрашнего утра! Мы будем ждать вас у крайнего заброшенного дома завтра утром. Там и заночуем!

– Так держать, сынок! Вот это я понимаю! – кивнул Силач. – Расходимся! До завтра!

Все начали расходиться по своим домам.

– Что ты делаешь, Хвостик? Ты ли это? – воскликнул Лучик. Хвостик поймал внимательный взгляд Лайки. «Она что-то подозревает!»

– Молчи! Пойдём к крайнему заброшенному дому. Сделай вид, что ты пленник, и я тебя веду.

Хвостик напоказ отвесил Лучику оплеуху. Сомнения с мордочки Лайки исчезли. Она кивнула и вышла вслед за Силачом.

Хвостик привёл Лучика к забору назначенного дома.

– Как ты мог? Как ты смел так поступить? Предатель! – закричал Лучик, как только они дошли. Его зелёные глаза метали молнии.

– Тише ты! Это была единственная возможность спасти тебе жизнь, дурачок!

Глаза Лучика потеплели. Он прижался к Хвосту и прошептал:

– Здорово ты придумал! Как хорошо, что этот кошмар закончен! Я шёл к тебе, чтобы сказать, что я ничего не знал! Правда! А ещё... ты тогда не дослушал! Пёс по имени Силач сам отнёс тебя в лес и бросил там! Папа всё видел! Лисица и Лис тебя подобрали, когда ты плакал от голода, – выпалил Лучик. – Я боялся, что пёс, который способен бросить щенка в лесу, причинит тебе зло и сейчас! Поэтому пошёл, чтобы предупредить! Я так волновался за тебя!

Хвостик не верил своим ушам. «Это больше похоже на правду, чем то, что рассказала мне Лайка».

– С чего это я должен верить Лису?

– С того, что он всегда любил тебя, не то, что ЭТИ! – выкрикнул Лучик

– Значит, так! Лучик, сейчас главное – безопасность лисьей семьи. Уходи немедленно! Беги к маме с папой, предупреди их и других лис об опасности. Я попытаюсь их задержать.

– Значит, так! Ничего ты не попытаешься! – раздался резкий голос Лайки

– Что тебе надо? Мой БРАТ мне всё рассказал. Сколько мне было, когда ты велела Силачу вынести меня в лес? Месяц? – прокричал Хвостик

– Какая разница! Хозяин бы утопил тебя. Это была единственная возможность сохранить тебе жизнь, – со вздохом сказала Лайка. – А теперь пошёл к отцу! Живо! С ЭТИМ, – она махнула хвостом в сторону Лучика, – я сама разберусь.

– Нет! Ты не причинишь ему вреда! Я не позволю!

– А ну, живо к отцу! Он тебе задаст! – Лайка взяла Хвостика за шиворот и начала тащить его в сторону будки. Хвостик изо всех сил вырывался, но Лайка была намного сильнее и больше его.

– Пусти! Прекрати сейчас же!

– Отец тебе устроит! Лис решил предупредить, вона чего выдумал! – не разжимая зубов, прошипела она.

– Я тебя спасу! – закричал Лучик и кинулся Лайке прямо под лапы. Она отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Боль пронзила загривок Хвостика. «Она притащит меня в будку, и Лучику конец!» – с ужасом подумал он. Вдруг вдалеке он заметил два рыжих, до боли знакомых силуэта.

Лис и Лисица, словно две стрелы, неслись на подмогу к своим детям. Они окружили Лайку. Её глаза наполнились яростью. Собака выпустила Хвостика и пролаяла:

– Ну, решай, кем тебе быть? Верным служакой или подлым лисом?!

Хвостик замер от неожиданности. Сердце бешено колотилось. Несколько дней назад он думал, что нашёл свой дом и семью, а оказывается, его семья всегда была рядом. Он виновато посмотрел на Лайку. Потом медленно подошёл к Лису и преданно заглянул ему в глаза.

«Они меня никогда не простят! Я участвовал в этом жутком собрании против лис! Это же предательство! Наверное, меня ждёт позорное изгнание из леса!» – думал Хвостик.

– Простите меня! Я вёл себя так глупо! – потупив глаза, признался он. Он со страхом ждал, что скажут его самые близкие. Секунда, другая... ну скажите же что-нибудь!!

– Милый, мы гордимся тобой! – неожиданно прозвучал голос Лисицы. – Это был нелёгкий выбор. Самый трудный за твою жизнь...

– Но ты поступил правильно! Я так горжусь своим сыном! – закончил Лис.

– Братик! Чтобы ты ни сделал, мы всегда будем любить тебя! Мы же семья! – прижался к его боку Лучик. Хвостик стоял и не мог выговорить ни слова. Он был счастлив. По-настоящему.

– Бегите! – сказала Лайка. – Я сейчас позову стаю и вас растерзают. Этого требует долг. Даю вам фору. Хвостик, больше не возвращайся

И лисья семья сорвалась с места. Только Хвостик на секунду обернулся и последний раз посмотрел на Лайку. Она ответила ему холодным взглядом. Больше они не виделись. Никогда.

Да, угроза нападения собак оставалась, пришлось уходить всё глубже и глубже в лес. Но они были очень дружны. Хвостик, Лис – папа, Лисица – мама, и Лучик – самый лучший братик.

Олег КОРНИЕНКО

Сызрань, Самарская область

ШАГИ ЗА ДВЕРЬЮ

Ирине Токмаковой

Стёпка жил в небольшом посёлке и давно мечтал сходить в зоопарк или цирк. Зоопарк был в другом городе. Там жил дядя Коля, ехать к которому на электричке часа три. Стёпку одного не отпускали – мог заблудиться в большом городе.

Всё решил телефонный разговор с дядей. Договорились, что здесь Стёпку посадят на электричку, а там дядя встретит его.

Но дяди на станции не оказалось. Стёпка подождал некоторое время, и когда большая стрелка на вокзальных часах перескочила на другую цифру, подошёл к полицейскому:

– Вы не знаете, где улица Совнаркома, дом 8?

– Совнаркома? Это идёшь прямо и упираешься в кино-театр. А первый дом слева – твой.

Стёпка шел по улице и рассматривал витрины магазинов. В одной из них он увидел чучела и клетки.

– «ЗООмагазин», – прочитал Стёпка и без колебания открыл дверь.

Чего здесь только не было! Прозрачная стена из аквариумов с разными рыбками, хомячки, декоративные кролики, много скрипучих попугайчиков, о которых давно мечтал Стёпка. Одним словом, всё, что угодно, кроме слона. Слон ждал Стёпку в зоопарке, а потому Стёпка поспешил на выход.

Он быстро отыскал дом дяди и его шестую квартиру. На звонок никто не вышел. Стёпка позвонил ещё раз, и ещё...

И вдруг Стёпке послышались шаги. За дверью дяди Колиной квартиры кто-то ходил. Стёпка перестал дышать и прислушался: шаги то удалялись, то снова осторожно приближались.

Он нажал на кнопку звонка.

– Дядя Коля, откройте! Это я, Стёпка!

Нет, ему не почудилось, по коридору кто-то ходил: быстро-быстро, туда-сюда. Стёпка опять требовательно позвонил. Но никто не откликнулся и дверь не открыл.

Он сел на ступеньки, прижал к себе рюкзак и прислонился к стенке...

Его разбудил дядя Коля.

– Ты давно сидишь? Я уже все электрички встретил – нет тебя. Хотел уже звонить родителям – узнавать: в чём дело.

– У вас кто-то за дверью ходит, – сказал Стёпка.

– А это мы сейчас посмотрим, – улыбнулся дядя Коля, открывая дверь.

Навстречу им из кухни выбежала газета.

Когда дядя включил свет, газета развернулась на месте и покосилапила в тёмную комнату.

– Это ёжик. Постель на ночь готовит, – пояснил дядя.

– Ёжик?– удивился Стёпка.

– Ну да, ёжик. Недавно у подъезда в кустах подобрал. Лапу, видно, поранил. Подлечу его маленько, а потом в зоомагазин сдам, а, может, на чучело кому продам. Какие ни есть, а деньги.

Ночью Стёпка несколько раз просыпался и слышал, как шуршит газетами ёжик.

Когда утром он проснулся, в комнате никого уже не было. На столе лежала записка: «Завтрак на плите. В зоопарк пойдем завтра». Рядом лежал ключ, скорее всего, от квартиры.

И тут он вспомнил про ёжика. Ёжика нигде не было. Неужели уже отнёс? – испугался Стёпка.

Он прошел в другую комнату и заглянул под шкаф. Там шевелились обрывки старых газет. Это сонно дышал ёжик. Рядом стояло пустое блюдо.

Стёпка быстро выложил из рюкзака привезенные дяде гостинцы. Одно яблоко он оставил на обратную дорогу. Достал носовой платок и положил в него сонного ёжика.

«Мы с ёжиком паехали дамой. Стёпка», – написал он на обратной стороне записки.

Дорога к станции шла направо. Стёпка повернул налево, в городской парк.

Он прошёл вглубь парка, вырыл под кустиком ямку, выстелил её травой и осторожно положил в неё спящего ёжика.

В животе заурчало от голода. Он вспомнил про яблоко. Наливное, душистое, оно еле помещалось в Стёпкиной ладони.

– Я только немножко... – сам себе сказал Стёпка и, положив надкушенное яблоко рядом с ёжиком, зашагал в сторону железнодорожной станции.

Юрий ПОЛЯКОВ*Симферополь***Зима на юге**

Отчего
У нас в Крыму
Кутерьма?
Завалило
Белым снегом
Дома,
Все дороги
Замело,
Все пути,
Ни проехать,
Ни проплыть,
Ни пройти!

Оттого
У нас в Крыму
Кутерьма,
Что решила
Взбунтоваться
Зима:
– Надоело!
Снег и холод
Вокруг!
Еду в отпуск!
Улетаю
На юг!

Влезла
С торбами Зима

В самолёт.
Прилетела
В тёплый Крым
На курорт
И сказала:
– Отогреюсь
Дней пять –
И на север
Самолётом опять!

Лунатское

Ноча-ночами светлыми,
Печальна и бледна,
Висит, с земли приметная,
На небесах луна.

Луна-луна-лунатики
На той луне живут:
Девчонки любят бантики
И песенки поют,

Мальчи-мальчишки носятся
Ватагой за мячом,
Девчонкам корчат рожицы,
И все им нипочем.

А луно-луно-взрослые
Без усталости бранят
За шалости несносные
Лунатиков-ребят.

В магазине. Зачем лошади корыто?

– Здравствуйте, Лошадь!
Прошу,
Проходите,
Таким покупателям рады всегда.

Вы шляпку
Случайно купить не хотите?
Купите хоть ленточку к шляпке тогда.

Подкова нужна вам?
 А может быть, сито?
 А может быть, чайник?
 А может быть, таз?

– Да что вы!
Мне нужно всего лишь корыто!
Корыто, надеюсь, найдётся у вас?

– Зачем же, скажите,
Вам, Лошадь, корыто?
Возьмите уж лучше уздечку с седлом.
– Зачем мне корыто?
Чтоб мыть в нём копыта!
И Жерри-ребёнка купать перед сном!

Разделенная любовь

Вот так казус приключился,
Я почти лишился сна.
Я позавчера влюбился
В Машу из 6-го «А».

Однокласснику Сереже
По ночам не спится тоже,
Потерял он тоже сон,
Тоже в Машеньку влюблен.

Тоже стал немножко нервный,
Тоже ходит сам не свой...
Только я влюбился первый,
А Сережка – вслед за мной.

За такое я Сергею
Мог бы и намылить шею...

Только мы ведь с ним друзья!
И сидим от всех в сторонке –
Ведь друзьям
Из-за девчонки
Ссориться никак нельзя!

И под Машиным окном
Мы теперь сидим вдвоем.
Я вздыхаю –
Он вздыхает,
Я влюблён –
И он...
Влюблён.

Молитва

Вечер.
Иконка.
Лампадка мерцает.
Бабушка шепчет –
Молитву читает,
Слышу я:
«Господи,
В трудные дни
Нас не покинь
И от бед охрани».
Теплится свет
Под иконкой в лампадке,
Я повторяю
Молитву украдкой
Тихо за бабушкой –
Снова и снова –
С верой в простое
И доброе
Слово.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск двадцать первый

Редактор-издатель *Олег Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Ольга Маркичева*

Подписано к печати 30.08.2016. Выпущено в свет 15.09.2016.

Формат 60×84^{1/16}. Гарнитура «Times New RomanС».

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 26.97.

Тираж 1000 экз.

Издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2. Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии «Растр»
603024, Нижний Новгород, ул. Белинского, 61